

НОВЫЙ Журнал

167

THE NEW
REVIEW

*THE
NEW REVIEW
Новый Журнал*

*Основатели
М. Алданов и М. Цетлин
1942 год*

Сорок шестой год издания

Редакционная коллегия:

Ю. Д. Кашкаров

В. П. Крейд

М. И. Раев

В. М. Сечкарев

И. В. Чиннов

З. О. Юрьева

Секретарь редакции:

В.А. Андреева

Обложка работы Мстислава Добужинского

THE NEW REVIEW, JUNE 1987

© THE NEW REVIEW

Присланные рукописи не возвращаются.

NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly by New Review Inc., 611 Broadway, #842, New York, N.Y. 10012. Second Class postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 611 Broadway, #842, New York, N.Y. 10012.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Яновский</i> — По ту сторону времени. Роман	5
<i>В. Набоков</i> — Исакий. Стихотворение	44
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	45
<i>Г. Песков</i> — Два рассказа. Публикация М. Дальтон	48
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	76
<i>О. Ильинский</i> — Фея Франции. Стихотворение	78
<i>М. Темкина</i> — Семь подстрочников из рыцарских времен. Стихи	80
<i>Н. Терлецкий</i> — Dies caniculares	84
<i>Р. Левинзон</i> — Стихотворение	95
<i>В. Митин</i> — Стихотворение	96
<i>В. Никитин</i> — Стихи	97
<i>О. Бутенко</i> — Мама, девочка моя	99
<i>С. Гозиас</i> — Моль	117
<i>М. Шраер</i> — Стихи	135
<i>И. Муравьева</i> — Стихи	137
<i>П. Флоренский</i> — Об имени Божиим	139
<i>Г. Горчаков</i> — Марина Цветаева-корреспондент-адресат..	151
<i>Н. Берберова</i> — Английские предки Владимира Набокова ..	191
<i>В. Крейд</i> — О поэзии Алексея Цветкова	206

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

<i>Д. Мережковский</i> и <i>З. Гиппиус</i> как авторы сценариев Публикация <i>Т. Пахмусс</i>	215
<i>Л. Домгерр</i> — Советское академическое издание Пушкина	228
<i>Н. Страхова</i> — Наедине с пережитым	253

БИБЛИОГРАФИЯ

- Е. Андреева* — Исторический подход к эмоциональной теме;
М. Раев — Рецензия на три книги; *В. Крейд* — G. Leggett. The Cheka;
В. Крейд — О неудачном издании стихотворений
 Г. Иванова280
В. Перелешин. Т. Фесенко — Двойное зрение300

Василий Яновский

ПО ТУ СТОРОНУ ВРЕМЕНИ

Глава седьмая
в которой едят сотовый мед
и пьют ключевую воду

Бруно, или, как его здесь именовали, Мы, был сыном немецкого миллионера (еврея), которого родители во время Гитлера вынуждены были подкинуть "арийцам". Чете пришлось скитаться много лет с континента на континент. Из Франции в Китай, из Шанхая в Южную Африку и в Малую Азию. По странному совпадению, ступив на берег Священной Земли, родители Бруно сразу скончались от бубонной чумы, оставив все свои текстильные миражи единственному отпрыску, неведомо где обретавшемуся.

Между тем наследник, возвращенный на первых порах шумными баварцами, тоже проходил ряд превращений. Ибо симпатичная немецкая супружеская пара вскоре пострадала от лап гестапо за католический уклон, и ребенка переслали контрабандою в бельгийский монастырь. Среди обширной его родни, однако, нашлись кузены, воинствующие протестанты, укрывшиеся в Голландии; последние, путем подкупа будто бы и обмана, отбили Бруно и бежали с ним в Швейцарию (где след ребенка потерялся). Именно в это время родители мальчика, умирая, завещали ему фантастическое наследство, буде он жив (а в противном случае — государству Израиль).

* См. "Н.Ж." No. 166.

Имущество сохранилось настоящее, огромное: фабрики, производящие по сей день добротные ткани в обеих Германиях и даже в Польше. После гибели тысячелетнего рейха хозяином всего этого богатства в Западной Германии оказался старый бухгалтер, служащий, "ариец". Он отклонил иск Израиля под тем справедливым предлогом, что гибель Бруно еще официально не доказана — к тому же имеется ряд других, даже близких родственников.

Постепенно количество адвокатских контор и учреждений, оспаривающих права на это наследство, возрастало; некоторые располагали персоной соответствующей биографии, претендующей на роль Бруно. Другие же предъявляли неоспоримые доказательства своевременной гибели последнего.

В деле принял участие и Ватикан, имевший основание утверждать, что юноша, которого все ищут, католического вероисповедания, теперь проживает в Канаде и вскоре достигнет совершеннолетия, так что он сам решит вопрос о своем будущем как материальном, так и духовном. Протестанты располагали, в свою очередь, двумя подходящими кандидатами (методисты и английская High Church). Израиль же энергично отстаивал не только денежные интересы, но и веру своих чад, погибших мученической смертью.

Так как спорное имущество находилось и за железным занавесом, то к охоте присоединились также русские или, если угодно, советские стрелки. Появление москвичей на горизонте магическим образом привлекло и американскую контрразведку. Клубок до того запутался, что только несколько дорого оплачиваемых специалистов в штабах и министерствах еще знали, в чем заключается сущность пресловутой "Affaire Bruno": почему, собственно, столько серьезных и сердитых дядей спорят, интригуют, крадут, совершают подлоги и даже убийства в связи с этим делом. Ибо к тому времени в Амстердаме, Нью-Йорке и Иерусалиме уже несколько невинных свидетелей благополучно скончались при загадочных обстоятельствах. Все эти вечерние жертвы приписывались союзными разведками "Bruno Case" (чем они даже, вероятно, злоупотребляли).

Для ясности следует добавить, что поиски Бруно начались лет десять спустя после его бегства из Европы, что, разумеется,

затрудняло работу добросовестных контор. Кстати, в Чикаго существовала многочисленная ветвь родных наследника (по матери); люди со средствами, те, по сентиментальным соображениям, не жалея денег, тоже искали своего племянника или двоюродного племянника.

Постепенно благодаря подвигам федеральных и частных агентов стало доподлинно известно, что Бруно осел в Канаде, на границе США, и является членом одной малочисленной суровой евангельской секты; обнаружилось, что он там играет почетную роль кого-то вроде христианского Далай-ламы и его строго охраняют, тоже питая надежды на законное наследство.

Контора, нанявшая Конрада, помещалась в Чикаго: там его подрядили, туда он должен был сдать товар (живым). Но кого представляли эти люди, оставалось неясным: родственников (добрых или злых, ибо имелось два лагеря), враждующие церкви, красных, Израиль, гангстеров? Впрочем, Конраду и не хотелось знать этого. С присущей ему практической смекалкой он догадывался, что всей ораве акул придется идти на сговор или компромисс и поэтому руководствовался самой разумной моралью, служившей ему верным компасом: кто платит, тот и хозяин.

А деньги Конраду с друзьями обещали большие, авансы выдавали щедрые на содержание и снаряжение экспедиции. Сентиментальные же или теологические соображения Конрада теперь уже совершенно не занимали (то ли дело лет десять тому назад!). Интересуется ли Ватикан имуществом или вечной жизнью Бруно, озабочен ли Бен Гурион приобретением еще одного израильтянина или только мануфактурой последнего, хотят ли родственники обрести племянника или, наоборот, угробить его — все это для Ямба теперь не имело никакого значения. Только ему одному было легко среди многих идейных и азартных игроков сохранять душевное спокойствие.

Трудность предприятия усугублялась еще тем обстоятельством, что колония сектантов, где проживал Бруно, по слухам, не принимала у себя посторонних; все попытки сближения кончались для смельчаков довольно плачевно. Вообще проникнуть в те края представлялось возможным только месяца четыре в году, а провести чужому ночь в селении и уйти без увечий

почиталось чудом. Так, по рассказам, местные изуверы защищали свою апостольскую чистоту, мужественно отгораживаясь от ветхого Адама. К тому же здесь некоторую роль, вероятно, играл и Бруно, или его права на имущество. Несколько храбрецов, подступившихся без приглашения слишком близко к рубежам поселка, пропали без вести или почти без вести; их останки, обглоданные хищниками, обнаружили следующим летом в лесу (иногда вспухшая туша всплывала у далеких пляжей Больших Озер).

Приблизительно все это знал Конрад в ту памятную ночь, когда он, расставшись с верными помощниками, подъезжал темным лесом к спящему поселку, решив сыграть ва-банк. Свершилось чудо. Женщина (Ипата) его встретила на дороге как законного мужа и повела в свой дом. Ямба, по-видимому, приняли за другого, и это временно спасло непрошенного гостя. Несмотря на весьма естественное отвращение к чужой роли, Конрад старался как можно дольше не спорить, но появление мальчика (Фомы) его смутило, испугало: ему казалось, что он попал в сумасшедший дом, и минутами он начинал сомневаться даже в собственном душевном равновесии.

Однако, несмотря на все это, Конрад чувствовал себя необычайно счастливым и вполне здесь на месте! В самом деле, всю жизнь он мечтал о приятном труде и осмысленном подвиге, а тут вдруг, походя, умеренно трудясь на лесопилке и в кузнице, ему случилось даже спасти пьяного Эрика, свалившегося с плотины.

Ипата вместе с горькой страстью всколыхнула со дна его души всю дремавшую там без дела нежность, отвагу, лирику, так что когда гость увидел Янину, эта готовая арматура влюбленности, уже созревшая и организованная, могла быть немедленно использована, без подготовки и трудного роста. Его здесь почему-то звали Ямбом, ему приписывали незнакомые паспортные данные, но зато он впервые ощущал полноту собственной жизни

Теперь Конрад шагает по лесу, обнявшись с молодой, гибкой девушкой; он мнит себя удачным пионером, выступающим против мира косной материи, гадов и ядовитой ткани.

Скоро они с Яниною пересекут экватор, выйдут на жирные пастбища и положат начало новой империи.

— Вот он, — шепнула Янина.

Посередине поляны рос старинный, в три обхвата дуб, и под ним Фома играл с коричневым медвежонком: зверь ревел по-лукапризно-полугневно, катаясь кубарем в густой траве. Вслед за ним, издавая веселый визг, кувыркался хромой мальчик, ловкий и цепкий.

С края чернела бревенчатая стена с подобием навеса (позже Конрад узнал, что к пещере, уводящей под землю, была пристроена терраса с покатой тесовой крышей).

Прислонившись к срубам, на широкой завалинке под мутным квадратным окном, освещенным последними солнечными стрелами, сидел тучный, казалось, с усилием переводивший дыхание человек, по некоторым признакам явно молодой. Глаза вытаращенные, темно-блестящие, воловьи; лицо оливкового цвета, грудь круглая, выпуклая, похожая на бочку. Одет он был в стеганую ватную куртку защитного цвета, на макушке крупной головы держалась старая меховая ушанка, знакомая Конраду с детства.

В роще уже заметно потемнело, над горой вдруг повис молодой месяц и бросил вниз несколько серебряных перьев; воздух кругом дрогнул, ветер зашевелил тяжелые листья дуба, перемещая кружево теней под ним. Оливковое лицо под окном казалось задумчивым и удовлетворенным.

Конрад с Яниной еще не успели пересечь озаренную теперь двумя источниками света поляну, как из-под навеса им навстречу выступила, согнувшись на пороге (и сразу выпрямившись), Ипата: замерла, крупная, с беспомощно и драматически опущенными руками (голыми и выразительными). Простоволосая, в подоткнутой юбке, словно крестьянка, солдатка, только что мывшая полы или ставившая хлеба.

— Так вот, шлюха, где тебя носит, — начала она, причитая на манер вышеупомянутой бабы, вдовы, хозяйки. — Вот где ты шляешься с полюбовником. Жду, жду не дождусь дома, одно воскресенье да и то испортили, паршивцы. Всю неделю гнешь спину то на мужа, то на ребенка, то на скотину, стирать, печь, варить, днем хозяйка, ночью жена... А ты, сука, сестра родная, с

чужим мужем гуляешь. Вот, блажной сидит здесь без огня и еды, скотина стоит некормленная, недоеная. Сука, в кусты с ним лезешь прямо из церкви, а домой приходишь, когда уже темно. И ты хорош, — продолжала она привычным бабьим говором, — вчера со мною, сегодня с ней. Вот обсеменишь и опять сбежишь, как бугай. Небось, ублажили плоть в крапиве, теперь сюда пришли поесть или сидра попить, гады.

— Ты там, потише, — сконфуженно заметил Конрад. — Не очень-то тоже расходишь, не твоего ума дело! Хоть бы Фомы постеснялась, говорить такие слова при младенце, еще мать называется. Лучше, вот, представь меня квартиранту, — он замялся: ему не хотелось больше называть того Бруно, а Мы представлялось фальшивым. — Познакомь нас, как полагается в порядочном обществе.

— Ты, псица, зачем привела сюда чужого? Забыла, что тебе приказали? — продолжала Ипата монотонно, точно играя на сцене в скучной пьесе. — Ты что, шкуры своей не жалеешь? Ведь убьют тебя, пропадешь очень даже ловко.

— Какой же он чужой? — нагло возразила Янина. — Ведь муж, говоришь.

— Чей муж?

— Известно чей, твой, — страдальчески сморщила брови в ответ девушка: ее большие, холодные и влажные глаза казались еще более выразительными в полутьме.

— Думаешь, я сама не могла его привести сюда? — продолжала задумчиво Ипата. — Ты — отступница. Была и останешься ею всегда, запомни. Погубит она тебя, — обратилась она вдруг к мужу порывисто. — Так и знай, погубит.

— Ну, не всех губила, — огрызнулась Янина. Медвежонок и Фома молча стояли рядом, держась за лапки, напряженно прислушиваясь, Бруно как сидел на завалинке, так и остался, прислонясь к толстым бревнам. Серебряное крыло месяца шире раскрылось над поляной: наступил вечер, светлый голубой, точно опутанный тонкой паутиной. — Ну, не всех губила, — повторила Янина и пробежала по траве к завалинке.

— Мы, — торжественно и нежно обратилась она к Бруно, приседая перед ним с такой проникновенной грацией, что у Конрада ревниво сжалось сердце. — Вот наш новый друг, о

котором я рассказывала. Он приехал издалека, чтобы с тобою познакомиться.

Тот послушно приподнялся и медлительно протянул теплую пухлую влажную ладонь. Голос у него был грудной, словно исходящий из глубоких, живых недр:

— Мы рад вас приветствовать. Мы уже слышал о вас... — Конраду вдруг стало весело от этого приветствия; он впервые с чувством собственного достоинства огляделся по сторонам.

Фома опять покатился в объятиях медвежонка с бугра: они проваливались, точно исчезали в пропасти, затем появлялись с другого конца — ползли гуськом, подвижные, мохнатые. И снова пускались кубарем, оглашая окрестность блаженным райским ревом.

Ипата, постояв еще с минуту пригорюнившись, вдруг спохватилась и, что-то бормоча, хозяйственно заспешила с подойником за каменную ограду, тянувшуюся вдоль сплошных кустов ежевики. Оттуда донеслись ее строгие лаконичные окрики, обращенные должно быть к скотине; она то появлялась под навесом, то снова исчезала за оградой, не обращая, по-видимому, больше внимания на усевшихся у сруба собеседников. Месяц уже повис над дубом, становилось прохладно и по-вечернему уютно.

Вот Ипата приблизилась опять к разговаривающим и швырнула на чурбан миску с сотовым медом; послушав немного, о чем речь, она примирительно обратилась к сестре:

— Ты бы хоть воды свежей принесла, тоже хозяйка.

Янина тотчас же поднялась, взяла кувшин и, шумя юбками (Конрад знал, что их две, кроме передника), помчалась уверенно и стремительно по тропинке в лес. Вскоре вернулась с холодной, саднящей зубы ключевой водой. Судя по времени, источник находился ярдах в трехстах от пещеры. "Этот ручей должен соединяться со всей водной системой", — сообразил Конрад, ласково слушая Бруно. (Недаром его избрали начальником экспедиции, и семь отважных юношей дожидались его распоряжений).

Прошлогодний мед оказался пахучим, сладким и горьким одновременно: отдавал ягодами, даже скипидаром немного,

оставляя после себя во рту бесформенную, безвкусную массу воска.

Конрад внимательно следил за разговором, иногда подавал реплику, заставляя себя по привычке отмечать все особенности местности и обстановки; но знакомой радости от этого двойного существования он не испытывал больше. Наоборот, в сердце дергалась какая-то болезненная жилка, толкавшая отдаться, вполне и бесконтрольно, жизни в этот единственный вечер, завершающий великолепный и драгоценный воскресный день.

Теперь Конрад не видел уже ничего искусственного в имени Мы и запросто так величал юношу; кроме того, судьба вселенной, отдельных звездных систем или Млечного Пути его начала действительно беспокоить, так что он даже невольно усмехался, замечая в себе этот внезапно возникший наивный страх за будущее земли или соседних планет.

Вначале Мы охотно и твердо сообщил некоторые данные своей биографии, зная, что они интересуют новых знакомых. Мы не помнит первых пяти лет жизни; надо полагать, что он прозябал в темноте, в душном подвале, потому что врезалось в память (и в кожу) дуновение живого ветерка, когда открывали наверху люк и свежий воздух вместе с каким-то блеском (светом) ударял во все его существо. (Мы теперь не расстается с темными очками: глаза слезятся, словно там осел навеки песок).

— Так, перебравшись на Марс или Венеру, человек должен будет надевать разные предохранительные аппараты, — заметил Конрад.

— Мы и является жителем другого небесного тела. Впрочем, не один Мы, — он солидно качнул огромной головой на короткой тучной шее.

Янина, плывя и приседая по поляне, словно в русском балете, наполняла тяжелые глиняные кружки студеной водой; Ипата доила за перегородкою козу: слышен был прерывистый удар струи о стенку подойника.

— То есть как это разуместь: с другой планеты, что ли? — осведомился Конрад, глядя в упор на темные (лиловые под луною) очки Бруно.

— Ну не планет в теперешнем понимании. Других веков, что ли, приливов, зонов; тогда праматерия еще не поделилась на

знакомые нам образования, — улыбаясь, объяснял Мы. Точно такая же снисходительная улыбка отразилась на сияющем под луною маленьком (с огромными таинственными глазами) личике Янины. Конрад остро почувствовал, что эта пара связана одной вещью мыслью (истиной). А он, любовник, здесь чужой, отщепенец.

Бессознательно, чтобы заявить о себе, он несколько раз грубо хватал девушку за стан и силою усаживал к себе на колени; Янина сопротивлялась, и он опять чувствовал всю силу ее живых стройных стальных ног. Посидев с минуту безучастно, отчужденно, девушка вскакивала при первой возможности и отходила к Мы, продолжавшему свой медлительный рассказ (только голос его еще углублялся, точно темнел или синел на мгновение).

— Что вы подразумеваете под зонами? — настаивал Конрад, словно эти сведения могли ему пригодиться немедленно. — Впрочем, если это секрет...

— Нет, отчего же, — очень серьезно объяснял собеседник. — Можно уточнить. Ведь Мы не имеет начала, значит, Мы существовал еще до этой формы земли. Тогда был другой зон. А все действительное можно восстановить. Надо только вообразить и вспомнить вертикально, вверх, по ту сторону Полярной Звезды. Только начало трудно. А там произойдет цепная реакция, и пленное Я превратится в свободное Мы, на манер отдельных органов и существ, монстров и каракатиц, превращающихся в светлых легендарных драконов.

— Что же Мы рассказывает о том вертикальном времени? — осведомился Конрад, внимательно оглядывая собеседника на завалинке.

— Мы помнит себя белокурым ребенком на берегу трехгранного океана. По одну сторону зыбкая бесконечность все ускользающих (и вечно возникающих) волн; по другую дымится твердь. Там каменеет лес, испаряются болота, полные гнилых огней. Над огромными, тянущимися у самой воды хвощами, похожими на оцепеневших гадов, плывут желтые туманы, и пролетают гигантские птицы с красными глазами. Мы помнит: белокурый ребенок прохаживается по узкой отмели между двумя пожирающими друг друга безднами. По розовой песчаной косе,

кроме Мы, бегают еще юркие, подобные мышам кулички, скачут креветки, сигают раскрашенные, как старинные витражи, рыбки, и, поджав одну ногу, заснула на часах усталая цапля; у болота растут ядовитые огромные пионы, напоминающие яркие зонтики модных пляжей.

— Как же ребенок там жил один? — усомнился Конрад. Янина одобрительно кивнула головой, видимо, гордясь Бруно. Медведь и Фома, подкрепившись медом, давно скрылись в лозьях, откуда доносился смех.

— А очень просто, — откликнулся Мы. — Представьте себе беспризорного или сиротку. То же самое, только немного хуже, вот и все. Ночь страшна. Но ведь тогда не только ребенок слеп и утрачен: не видят также никого и бездны, обступающие Мы с двух сторон. А в темноте еще можно расти. Помните, не забывайте: в темноте надо расти! Кроме того, и это, конечно, главный секрет: Мы не был один!

— Да, я догадываюсь, — вырвалось у Конрада.

— Мы слышит голос как будто другого Мы, но гораздо больше. Голос разлит повсюду и грохочет явственнее подземной лавы, вырывающейся наружу. Борода нового Мы подобна Ниагаре, а кудри, как ледники гор, сползающих в фиорды. Глаза его — два солнца внутри эллипса (очерченного бровями и подглазницами)... Два центра, два фокуса, куда нельзя смотреть; но законы этой геометрической фигуры можно изучать на песке. Эллипс — ключ к разгадке, и дитя с белокурыми волосами решает свою первую и последнюю теорему. Второй Мы склоняется над чертежом и говорит голосом, подобным грому:

— Вот где прячешься! Трудно тебе здесь. Хочешь назад? Приближается новая полночь, драконы с дымящимися глазами поднимаются из смрада, огненный пепел летит из прободенной луны, горы трясутся от жара. Уходи, пока не поздно, отступи опять до поры до времени.

— Но Мы смиренно отвечает: "Не боюсь. На этот раз останусь. Мы не хочет больше уступать. Мы любит играть на золотистом песке, чертить эллипсы над бездной и гнать барашков по пастбищам Млечного Пути. Пот Мы скоро превратится в хлеб и вино.

Другое Мы с огромной голой грудью, покрытой веснушками вроде созвездий, рокотало издалека:

— Образумься! Мы не может еще заняться тобою на этой узкой полосе между двумя безднами. Приближаются громоздкие падения тел и душ. Повремени немного.

Но ребенок смиренно отказался:

— Мы не хочет отступить. Мы решило победить в этом зоне.

И другое Мы заплакало: две звезды отделились из глаз и покатались, образуя туманные пятна. Печальная тень простерлась за Млечным Путем; вселенные закрутились спиралью, образуя лакуны во времени и пространстве. Тот Мы скрылся, и его голос, погружающийся в пучину, походил на шум большого оркестра, когда музыканты перед концертом настраивают свои инструменты.

— А дальше, что дальше? — тормозил Конрад смолкнувшего Бруно.

— А дальше, вот, мед и вода, — предложила Янина, грациозно приседая с деревянным подносом перед мужчинами.

Конрад не стал есть; угрюмо молчал, пока все (в том числе Ипата и медвежонок) закусывали. Бруно невозмутимо насыщался. Только подкрепившись и прополоскав рот, он снова заговорил, обращаясь, впрочем, ко всем, а не исключительно только к Конраду.

Глава восьмая

которая служит дополнением к предыдущей

— Тогда Мы, казалось, остался один на прибрежной полосе, — повествовал дальше Бруно. — Червяки погрузились опять в океан, птицы увязли в хвощах. Наступила предпоследняя ночь, обжигающая то жаром темных газов, то стужей космического полюса. Мы страдал от сонма превратностей, но мучительнее всего было то, что голос другого Мы смолк надолго.

— Мы запомнил только однообразное страдание, безымянное, все нарастающее, словно на ногу одели тесный башмак, а

нога медленно растет. Иногда Мы призывал другого Мы, обращаясь то к горам, то к пескам, то к архаическим кострам или к водам и льдинам, к болотам и маревам. Два солнца в эллипсе больше не показывались. Но раз над океаном всплыло подобие одного: это солнце поднималось, как песня победы, оставляя в море багряную дорожку. Тогда Мы узрел, что он больше не дитя с кудрями девочки, а юноша, победитель, сирота, помнящий могучего Деда, игравшего на песке между двумя безднами. А тем временем из джунглей выползали также освобожденные по-своему боа-констрикторы, аспиды и рогатые кошки; они несли в себе прасемена всех болезней, жадности, ревности, смерти, Каина, Маркса, Фомы Аквинского, Фрейда, Павлова, Дарвина, Гегеля. Но Мы упорно поглощал их, преображая.

Ипата, Фома, медвежонок смиренно выстроились на голубоватой траве и слушали торжественный сказ Бруно, блаженно улыбаясь, как в сказке. Конрад сидел рядом на бревне, а Янина у ног юноши.

— Странно, — произнес Конрад; Янина испуганно оглянулась, точно удивляясь его присутствию. — Даже удивительно. Мы помнит, пожалуй, слишком много, Ипата вспоминает небывшее, я ссылаюсь только на очевидные факты, а Янина никакого прошлого еще не знает, собираясь лишь начать жить. И, тем не менее, все мы, по-видимому, души, рассчитывающие на бессмертие. Стало быть, неповторимость личности, ее бесконечность явно не имеют ничего общего с памятью! — Все на поляне посмотрели на Конрада с недоумением, даже медвежонок в кустах испустил, казалось, иронический взглас. — Значит, память не определяет личности, и то, что позади, не ведет к тому, что впереди, — нерешительно бормотал он, чувствуя вдруг, что повторяет, только на свой манер, слова, сказанные утром проповедником.

— Тайна личности в том, что в ней не остается места для Я, — снисходительно поправил его Бруно. — Разве вы не поняли: личность — это Мы. Мы — это личность. Прошрое же находится впереди человека, а не позади. Иначе он бы не видел своего прошлого, а видел бы будущее: если б оно было перед его глазами! Будущее за плечами, и потому он его не лицезреет. Чтобы продвигаться вперед, в неведомое, человек должен пя-

титься назад; так это выглядит для неземного наблюдателя. Выпьем еще этой целебной воды и отведаем лесного меда, — предложил тихо Мы.

Вода все еще была холодная, с оскоминой. Янина прикорнула на траве, светясь под нарядной голубой луной. Ипата опять где-то хозяйничала: раздавались глухие удары топора.

— Ипата, — позвала счастливая сестра, — ты бы посидела с нами, послушала.

Ипата огрызнулась:

— Нет у меня времени блох считать. За неделю все тут обвалилось, а ты, небось, не поправишь, белоручка.

— Вы утверждаете, — начал Конрад, мучительно стараясь наконец понять, — личность — это Мы, Я — не личность. Но ведь личное противопоставляется общему...

Мы снисходительно махнул рукою; поерзав на бревне и шумно несколько раз вдохнув густой воздух, он, наконец, продолжал своим задушевым низким голосом:

— Личное не есть отрицание общего. В мироздании совсем нет противоположностей. Тезисы и антитезисы — выдумка, ничего общего не имеющая с действительностью. Этими монстрами о двух головах пугают только детей, не хуже драконов и летающих Дарвинов.

— Разве холод противоположен теплу? — изумленно спрашивал Бруно. — Оба эти состояния расположены на той же прямой температуры. А прошлое и будущее? Точка настоящего движется по кривой времени. То же происходит с Я и Мы. Чем является наслаждение? — вопрошал Бруно, почесывая вздутую (представлялось, волосатую) грудь. — Борется ли оно с болью, уничтожает ее? Отнюдь нет. Щекотание вызывает приятное чувство. А если сильнее поскрести, поцарапать, начнется страдание, мука. Точка ощущения движется по одной прямой от радости к агонии, отнюдь не противоборствуя и не враждуя. Аромат, как и смрад, только различные точки на той же линии. Жизнь и смерть, тьма и свет — не противоположности. Что такое черное, и как оно становится белым? Они родственны и соприкасаются, а не поражают друг друга в вечном поединке.

— Вот почему надо без усталости твердить: Я и Мы не враждебны и не противоположны. Точка передвигается по пря-

мой от Я к Мы и тем самым становится личностью, бессмертием, неповторимостью. Личность в постоянном движении, в пути, в устремлении. Только движение реально в мире, движение под определенным углом. В физике это называется вектор. В мире действительности существуют только векторы. Личность, если она реальность, должна тоже представлять из себя нечто вроде вектора.

— Я, кажется, начинаю понимать, — пробормотал Конрад, украдкой глядя затылок Янины, растянувшейся на земле.

— В здешнем космосе все развивается по прямой линии, — печально уверял Бруно. Что-то в его голосе заставило Конрада отстраниться и не давать волю рукам. — Я должно катиться в сторону Мы, если оно дорожит вечностью. Важно направление, все остальное приложится.

”Откуда этот увалень берет все это? — думал между тем Конрад. — И увалень ли он? И тот ли, которого ищут?”.

Луна плыла над дубом, и тени кругом стали овальными, похожими на зонтик. Деревья, травы, цветы, строения резко выделялись, точно вылепленные или высеченные в трехмерном мире. По небу с юга на север растянулся широкий молочный путь, точно запорошенный первым благодатным снегом. Бруно говорил, не поворачивая головы на толстой короткой шее, обращаясь в одинаковой мере и к слушателям, и к залитой воском поляне, и к изнемогающему от собственного совершенства звездному небу. Все трехмерное выпуклое пространство кругом было ощутимо набито дымчатой субстанцией отраженного света.

— Смерть предшествует жизни, — торжественно возвестил Бруно. — Тьма — преддверие дня. Будущее — позади, впереди — прошлое. Мудрое Я пятится по канату в сторону неповторимого Мы, а кругом — свет, свет, свет, распространяющийся, по-видимому, прямыми линиями.

— Волна есть ключ к одной из тайн вселенной. Математика, физика, геометрия необходимы для истолкования Священного Писания. При помощи наших чувств, интуиции, здравого смысла нельзя понять даже доли реального. Да, волна, — восторженно повторил Бруно, — волна образуется благодаря вибрации частиц, без перемещения среды. Морская волна быстро перебегает от Мексиканского залива на север, но воды Гольфстрима медленно

движутся туда же. Бросьте скорлупу в океан: волна через минуту ударит о берег, а скорлупа останется еще долго почти на том же месте. Волна, ты здесь и не здесь, ты там и не там. Неслиянна и нераздельна со средою.

— Действительно, — обрадовался почему-то Конрад, — это верно.

Фома и медвежонок весело загоготали.

— Люди постоянно говорят о круге и центре круга, ставят туда Бога или себя, или даже солнце. Эту ошибку древних, не знавших высшей математики, повторяют до сих пор. А между тем основной геометрической фигурой нашего космоса является эллипс, имеющий два центра. И белокурое дитя на песке нашло уже взаимоотношение этих двух разных центров к окружности. Имеющий уши, да слышит. В мире действительного нет круга с одним центром. Тайна — в эллипсе. И когда вы дойдете до спирали, помните: это тоже система эллипсов. Отрекитесь от круга и одного центра, — наставлял Бруно.

— Очень интересно, — похвалил Конрад, расправляя онемевшие члены, но не решаясь встать. — Я полагаю, что пора ознакомить цивилизованный мир с учением Мы. Грех ограничиться пределами одной общины.

— Да, Мы хотел бы встретиться с образованными и духовно живыми людьми, — кротко согласился Бруно. — Мы должен ;йти отсюда хотя бы на время.

— Вот-вот, — подхватил Конрад, озираясь и понижая голос, — я помогу Мы попасть в большой город. Янина, конечно, поедет с нами. — Янина с ужасом и удивлением взглянула на говорившего: ей казалось одинаково героическим и преступным такое грубое вмешательство. Она вдруг сообразила, что все это время Конрад не только наслаждался беседою, но еще упорно преследовал свою цель. Между тем тот продолжал заговорщицки: "В культурных кругах, или, скажем, эллипсах, постоянно спорят о сущности личности. Там ежевечерне собираются умные люди. Мы сможет выступать в университетах, по радио или телевидению. Люди жаждут откровения теперь больше, чем когда бы то ни было. Учение Мы распространится с молниеносной быстротой на пяти континентах, а, может быть, и дальше; больше: есть слух, что за нашей землей следят межпланетные

посетители, и, кто знает, может, они еще больше нуждаются в новом истолковании действительности. Надо спешить, — уверял Конрад, и голос его (чудилось Янине) был до неприличия вкрадчив, убедителен. Чувствуя себя уже победителем, он вдруг протянул руку и ласково ущипнул девушку в ягодицу и сразу понял, что этого не следовало делать. Мы, с ужасом вытянувшись вперед, словно остолбенел:

— А-ахх! — вырвалось у него, и он сполз на землю, стих. Грузный, вздутый, он лежал под луною, как ночью в зоологическом саду отдыхают носороги, бегемоты или другие, выпирающие из места и времени допотопные существа.

— Что случилось? Что я сделал? — вопрошал испуганный Конрад.

— Ты не должен меня так трогать, — объяснила Янина. — Ты не должен на меня даже так смотреть в его присутствии. — Она заплакала.

— Я больше не буду, — растерянно шептал он и, склонившись к Бруно, с достоинством произнес: — Мне бы хотелось еще слушать Мы.

— Не надо. В другой раз, — грустно ответил Бруно, поднимаясь: — Если Янина согласна, Мы поедет с Вами в город.

Конраду полагалось бы обрадоваться успешному завершению переговоров, однако, он испытывал чувство раздражения, недовольства собою; с досадой взглянул на Ипату, погнавшуюся вдруг за расходившимся Фомой и давшую ему звонкого шлепка.

— Нам пора, — твердо позвала она. — Конрад, нам пора домой.

— Хорошо, — покорно отозвался тот, вставая. — Только как мы теперь будем встречаться? — взмолился он искренне. — Я без Мы не смогу больше жить. Прости меня! — он поклонился в ноги жене. — Я должен их всех видеть.

— Приходите каждое воскресенье после службы, — уверенно произнес Бруно. — Вас пустят.

Ипата утвердительно кивнула большой головой с восковым, нежно светящимся, как во сне, лицом. Конраду хотелось прикоснуться к Янине перед разлукою, но та, словно почувствовав

это, отошла подальше в сени (стукнув на пороге подкованным низким каблучком).

Фома уцепился за руку отца, и тот сразу точно попал в полосу покоя, довольства, счастья. Они шли назад другой дорогой, и Конрад старался отметить и запомнить топографию местности. Луна, уже описав свою кривую, опять опускалась за рошу, и цвет ее из бледно-воскового внезапно принял оттенок фиолетово-медный, обиженный, зловещий; вскоре она совсем исчезла: стало темно, буднично и сыро. Так на следующий день после закрытия Международной выставки прохожий, случайно попавший на опустевшую площадку, где недавно красовался шведский павильон, не может поверить, что еще давеча здесь взвивался яркий фейерверк, шумела блестящая толпа иностранцев, и завязывались веселые знакомства.

Светляки, на редкость крупные, тяжело и медлительно проносились, опускаясь в траву, точно изнемогая от собственного содержания. Можно было догадаться, что они были теперь во власти сложных переживаний. Ночные комары и мелкая гнусь гудели над Конрадом, неистово кусая. Ипату насекомые не тревожили. Она шла быстро, упрямо, впереди, часто спотыкаясь (даже раз упала, после чего выругалась). Конрад следовал за нею, ведя Фому; ручонка мальчика, сухая, жаркая, вероятно, грязная, служила ему опорой в этом непонятном царстве.

Конрад вдруг сообразил... До сих пор он учитывал только рельеф почвы, огнестрельное оружие, психологию противника; теперь, обнаружилась еще одна опасность, быть может, главная: слабые ручонки цепляющегося за него ребенка, которого он будто бы ведет ночью.

Спереди донеслись странные звуки, словно Ипата икала или всхлипывала.

— Мама, ты опять! — закричал и заплакал Фома. — Мама, не надо!

Сразу стало тихо; они бежали домой уже по открытой лужайке (очевидно, огибая центральную поляну с другой стороны). Вдруг опять раздались какие-то громкие голоса, даже взвизгивания, и мелькнули тени, перебегающие близко дорогу.

— Это Ник гонится за Талифой, — объяснил Фома очень

спокойно. — Она не любит мужа, а он требует! — говорил мальчик рассудительно. — Каждое воскресенье так.

Ник (сын Хана), должно быть, вскоре настиг ее, потому что окрестность огласилась торжествующим гневным ревом мужика и каким-то горестным, безнадежным завыванием смазливой учительницы.

Окна изб были тускло освещены; народ уже отужинал и собирался спать. У ворот их встретил Лабрадор, с достоинством зарычал.

Глава девятая в которой дни идут своим чередом

Самым неожиданным и привлекательным в новой жизни Конрада было, пожалуй, разнообразие его деятельности. Ему приходилось регулярно выполнять многочисленные ремесленные и сельскохозяйственные задания; кроме того, несколько часов ежедневно поглощали пресвитерские обязанности, весьма забавлявшие Конрада. Под руководством слепого пастыря молодой пресвитер усердно читал вслух надлежащий текст из Библии; на этих скопищах присутствовало все взрослое население городка (за исключением дежуривших на промыслах или больных). Бруно с Яниною, впрочем, редко являлись.

Конрад равнодушно читал отрывки из Священного Писания, но следовавшие затем комментарии и споры привлекали его необычайно. Впрочем, слепой старец внимательно следил за импровизациями своей паствы и безжалостно пресекал слишком дерзкие вылазки. В частной беседе рыжий неоднократно повторял, обращаясь к зятю: "Подожди, уйду, тогда ты станешь, хозяином". Предполагалось, что, вопреки молодости и неопытности, Конрад обладает подлинной теологической интуицией и подает большие надежды. (Это с гордостью сообщил отцу Фома, повторяя слова своей учительницы Талифы).

Вечернее собрание обычно начиналось с того, что старый патриарх рассказывал анекдот или притчу, имевшие непосредственное отношение к последним событиям в селении (болезнь,

ссора или проступок). Затем Конрад по знаку слепого громовержца читал соответствующий пассаж из Ветхого или Нового Завета (часто апокриф, которые здесь вообще были весьма в фаворе). После этого слушатели должны были постараться установить связь между приведенным текстом и вышеупомянутым происшествием в городке. Тут наступало самое подходящее время для интеллектуальной джигитовки. Грозный пастор предоставлял каждому возможность стрелкнуть раз в цель, никого не прерывая (за исключением слишком уж увлекавшегося Конрада).

Прихожане особой догадливостью не отличались, так что рыжий старец вынужден был давать свои исчерпывающие объяснения. Конрад, однако, нередко пытался оспаривать авторитеты, проявляя несомненные диалектические способности и склонность к ереси. Патриарх, громоздкий и крепкий, как многовековый дуб, скрипел и гудел под ударами метафизического шторма; его тяжелая маститая голова с розовой лысиной посередине и кудрями по краям, багровела и бледнела на короткой вздутой шее. Ему было бы легко прогнать Конрада, заставить его замолчать, но что-то в его разглагольствованиях привлекало старца; так что он до поры до времени терпел, скрипя зубами, кусая клоки рыжей бороды, даже издавая мучительные стоны. Но вдруг, когда чаша его терпения переполнялась, пастырь издавал хищный рев и буквально сметал с трибуны легковесного Конрада. Эти семейные поединки очень развлекали аудиторию, так что публика начала даже аккуратнее собираться и возгласами, выкриками подстрекала противников. Положение Конрада благодаря такого рода словесным вылазкам явно укрепилось, что легко можно было заметить по разным оказываемым ему знакам внимания.

В первое воскресенье каждого месяца на обязанности пресвитера лежало также, после особой молитвы пастора, смешать в медной чаше хлеб и вино и с ложечкой быстро обежать стоящих в испарине прихожан. Эта часть его деятельности особенно нравилась Конраду, наполняя сердце чувством смирения и благодарности (так радуется честный лекарь, впрыскивая бедному ребенку кем-то в больших университетских центрах разработанную сыворотку или вытяжку из желез).

Причастие в этой общине носило только символический характер; такое либеральное толкование Конраду решительно претило, и он упорно стремился влить в дырявые местные меха ушат острой метафизики. Он даже прочитал несколько пособий по этому вопросу (украдкой пользуясь богатой библиотекой старца) и на собраниях в будничные вечера ему часто удавалось отстаивать с честью свою теологию. Но кончалось все довольно комично: рыжий патриарх палкою прогонял зятя с мостков при одобрительном гомене паствы.

Впрочем, случалось, что группа почтенных завсегдатаев (из породы наиболее молчаливых, равнодушных и загадочных) вдруг тоже приходила в волнение и начинала как-то сумрачно спорить; тогда Конрад опять чувствовал знакомое уже дыхание самосуда над самым затылком. Но старец немедленно отдавал себе отчет в назревающей опасности и шуткою, соленым словом или попросту ударом дубинки успокаивал азартных оппонентов.

В частности, опыт показал, что о финансовых возможностях Бруно (вернее, Мы) лучше не упоминать; тут дело легко могло дойти до жестокой драки. Конрад теперь отдавал себе вполне отчет, что в случае неудачи побега никому, вероятно, не удастся уцелеть. Идти с едва передвигающимся верзилой и женщиной через топи и дебри, найти всю партию, потом выбраться к озеру (где ждет яхта) — на это потребуются много мужества и еще больше счастья.

По мере своего знакомства с обитателями городка Конрад начинал находить в них индивидуальные особенности и различия. Некоторые явно тяготели к проповеднику и, как ни странно, почти ненавидели Бруно или даже Ипату; другие, наоборот, предпочитали последнюю, дожидаясь полноты ее власти. Третьи же буквально обожали Мы и готовы были лечь костями за одно его имя. Но это все выражалось в отдельных кружках, дома, за стаканом перебродившего сидра; в присутствии же старших или именитых граждан противоречия магически сглаживались (что иногда даже поражало Конрада).

Кроме уже упомянутой деятельности, пресвитер еще должен был навещать больных, страждущих, дряхлых (духовно и физически), поддерживать связь, оказывать благодеяние советом или пролуктами. К умирающим и вообще безнадежным заха-

живал сам слепой и вел беседу на свой манер, словно вскрывал гнойник, чем вызывал восхищение у Конрада (и недовольство у партии Аптекаря).

Вот там, в частных разговорах за пологом, Конрад многих узнал досконально и окончательно возненавидел. На обязанности пресвитера лежало решить опасный ли это случай и если да, позвать рыжего. Здесь нетрудно было человеку внове совершить непоправимую ошибку. И действительно, конфузы такого порядка имели место, вызывая нарекания и даже ожесточение паствы. Так, к концу лета заболел гриппом (как представлялось Конраду) Аптекарь и неожиданно умер; Талифа (школьная учительница) отказалась наотрез разделять супружеское ложе с Ником (сыном Хана) под тем предлогом, что она его не любит. Ее труп с раскроенным черепом потом нашли в овраге. Проповедник в обоих случаях не был предупрежден, что, разумеется, поставили в вину новому пресвитеру. Но если одни возмущались Конрадом и требовали наказания, то другие почему-то именно за это прониклись к нему доверием и симпатией.

В селении по вечерам мерцали разноцветные, собственного производства свечи: зеленые, красные, синие, желтые. Их отливала чета Гусов. Конрад не мог принимать участия в этой работе из-за седой Матильды, пристававшей к нему самым неприличным образом даже в присутствии своего молодого чахлого мужа.

Летом жирная земля глубоко пропитывалась живительными соками. Из дворов пахло дымом, волами, сеном, рыбою; над рощею стояла голубая мгла, вся пропитанная парами сосен, можжевельника, гнили. В лужах плавали дебелые утки, наивно блеяла овца.

Старинные уборные — навесы, пропахшие сосновой стружкой — протекали; сквозь щели можно было следить изнутри за тем, кто проходит мимо снаружи (и по какому делу).

В постели с холодными, сурового полотна простынями, докучали похоть и мошкара; ночью трижды пели петухи и лениво тявкали огромные, с жирной шерстью лабрадоры. На рассвете где-то в стороне, но близко над головою, мощно гудел самолет, проносясь через горную цепь на своих четырех моторах

(и людям со сна мерещилось что жизнь имеет еще одно измерение).

Однажды Конрад в праздник, один, бродя по опустевшему дому, нашел в темном чулане на полу совершенно новенький черный лакированный телефон с толстым витым шнуром, ведущим в подполье. Он поспешно отпрянул, как школьник, нашедший в ящике отца непристойную картинку; ступая на цыпочках, чтобы не оставлять следов, он вернулся в жилые комнаты.

Из мастерских Конрада больше всего привлекала кузница; играя щипцами, стуча молотком и сыпля по сторонам металлические искры, он мнил себя равным Вулкану (по крайней мере, родственным ему). Однако, характер работы ему вскоре приелся; производство шло по шаблону, даже орнамент был раз навсегда установлен, и настоящей нужды в этих старинных крючках и гвоздях не чувствовалось. Надоедал также Доминик своей бесплодной хитростью и наивной жадой реформ (в виде телевизоров и холодильников).

Труд на лесопилке казался легким и создавал впечатление творческого. Тонкая пила с коротким визгом превращала ствол в доски; от ароматной древесной пыли хотелось кашлять. Конрад, родившийся в лесных областях, был знаком с выделкой фанеры; он предложил оборудовать станок, но его план встретили враждебно. Обычный подход к делу: улучшить качество, производить больше, дешевле — здесь, по-видимому, совершенно не годился.

А по вечерам в молитвенном собрании Конрад поднимался на трибуну и перед огромной Библией возглашал:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа вонмем... (далее следовал текст).

На панихиде по Талифе ему даже удалось произнести целиком собственную проповедь, воспользовавшись рассеянностью удрученного патриарха:

— Жил человек по имени Иаир, и у него была единственная дочь, — рассказывал Конрад. — Дочь по-арамейски значит "талифа". Девушка занемогла и, по-видимому, скончалась. Ее хотели похоронить как можно скорее по обычаю субтропиков. Но опечаленный жених девицы решительно воспротивился, не доверяя собственным очам и суду благочестивых соседей. Не-

которые герои борются за свободу, равенство и братство, они радикалы или революционеры. Но смерть они легко признают узаконенной владычицей. В этом гуманисты и реакционеры, максималисты и консерваторы одинаково сходятся, доказывая однородность своей природы. Смерть есть последнее прибежище негодяев, подравнивающее правых и неправых, героев и ублюдков, вот почему они бессознательно так дорожат этим заповедником.

— Но жених, любивший девицу, к счастью, был сделан из другого теста. Поблизости проходил Христос, и юноша (вместе с отцом девицы) обратился к Нему: "Если Ты — Спаситель, спаси! Если Ты — жизнь, оживи! Если Ты — воскресение, воскреси!". Христос приблизился к ложу, где покоилась мертвая, и сказал: "Талифа, куми... девица, встань!".

И та поднялась. Евангелие не повествует о том, что произошло дальше. Можно только себе представить радость влюбленной пары, их свадебный пир, не уступающий Кане Галилейской, и дальнейшую жизнь супругов, обращавшихся отныне друг с другом по меньшей мере, как с драгоценными сосудами.

Так импровизировал Конрад, чувствуя себя подобно туристу, забредшему в исторический парк с фонтанами и скульптурами. Путнику бы хотелось подольше остаться, но боязно: на каждом повороте красуются дощечки с надписью: "Посторонним вход строго воспрещается".

Между тем рыжий старец уже начинал проявлять признаки нетерпения или беспокойства. Внизу сидят прихожане с тихими, мрачными, хитрыми, тупыми, святыми, красивыми лицами. Одни — толстые, грубые; другие — аскетического, рыцарского склада. И все немного похожи на статистов в старинной оперетте. (Семья Хана собралась в передней ложе, и у Ника щеки лоснятся от жира).

В центре, наверху, квадратом возвышаются перила галереи, похожие на ряд желтых свеч; там скамьи сбегают с трех сторон навстречу друг другу, точно салазки с горы (вот-вот столкнутся). На голых досках сидит молодежь (Янина, Бруно, Эрик), слушают Конрада и жужжание мух; там шепчутся, оглядываются, кивают

знакомым с радостью, презрением или равнодушием (как в любом другом селении).

Конрад молчит с минуту, зажмурив глаза (подражая пастору). Представляет себе, как Талифа сидела годами на хорах, слушала проповедника; потом спустилась вниз, в ложу к Нику (как это Аптекарь допустил). Теперь ее тело с раскроенным черепом надо, условно выражаясь, предать земле. Отказалась жить с Ником. А Конрад то с Яниной, то с Ипатой. И как будто все довольны, временно. А дальше, если побег увенчается успехом? Брак с Яниной? А Бруно? Его убьют в городе, нечего себя обманывать. Он учит, что Я и Мы — точки на одной и той же прямой. То же самое холод и жар, жизнь и смерть. Тут что-то новое, важное. Как это связать с текстом: о, если бы вы были холодные или горячие, но вы теплые... то есть ни мертвые, ни живые.

Четыре окна под высоким бревенчатым сводом; в пропорции стекло музыка или магия, идущая от Египта или, еще раньше, — Атлантиды. "Талифа, куми". Яблоко, восстань: не дерево, а плод, воскресни!

Встряхнувшись, Конрад медленно продолжает:

— Такова повесть второго воскресения из мертвых. На земле не переводится потомство этой четы: у них во сне и в состоянии бодрствования одно и то же выражение лица —восковое, мечтательное, сомнамбулическое. Зато о другом воскресшем, о Лазаре, у нас собрано гораздо больше данных; вся его семья нам хорошо известна. А сам он, как говорится, уже смердел. Найден даже верный апокриф, согласно которому, — здесь Конрад должен был спешить, чтобы успеть закончить свою импровизацию прежде, чем рыжий пастырь его прервет громким криком или ударом дубинки, — согласно которому не Иуда, в действительности, предал Христа, а Лазарь... Подумайте и содрогнитесь, дети земли, насколько это правдоподобнее и убедительнее.

— Споем гимн номер 216, — рычал слепой патриарх и Конрад, пятясь от железной палки старика, легко прыгал с подмостков; собрание шумно выражало свое одобрение (неизвестно чему: его речи, действиям проповедника или совокупности

всего). Потом ехали хоронить тело Талифы, но Конрада на кладбище не взяли.

А утром опять работа в мастерской или в поле; и это чередование пресвитерской деятельности с физическим трудом (преимущественно на открытом воздухе) составляло главную прелесть жизни в селении. У Конрада создавалось впечатление, что не случайно его попеременно использовали у разных станков, точно гнали по кругу: в этом чувствовался вполне продуманный план.

Дома по хозяйству, запущенному долгим отсутствием мужчины, тоже было много хлопот (хотя такого рода занятия ему нравились гораздо меньше). Вообще Конрад, если не считать некоторых ночных часов, боялся оставаться наедине с Ипатою и под разными предлогами избегал ее, рискуя даже откровенным разрывом или очередным болезненным припадком, по-видимому, угрожавшим самому ее существованию. Сущность припадка заключалась в каком-то совершенном, неземном, кататоническом, зачарованном покое, овладевавшим Ипатою. Она лежала неподвижно, с открытыми глазами, не плача и не смеясь, пожалуй, не дыша. Конрад не сразу догадался, что здесь дело, по-видимому, в какой-то ненормальности: в темноте сообразить было совсем трудно. Но Фома (если он присутствовал) визгом и стоном возвещал приближение этого знакомого ему и пугающего состояния матери; так что очень скоро и Конрад научился отличать это состояние (когда Ипата словно проваливалась в таинственную щель).

В постели они все реже и реже сближались: замирали в своих углах, лежа с открытыми глазами и думая о чем-то метафизически враждебном друг другу (взаимно уничтожающем). Конрад вспоминал Янину, ее страстное бледное личико и неприличный носик, поверял план бегства. Однако, после случайных супружеских ласк Ипата на некоторое время менялась, оживала, простила многое и даже сводила с Бруно.

Вообще она не любила, не умела разговаривать и морщилась от лишних слов, которыми Конрад обычно обезболивал противника перед тем, как нанести ему удар. Только глаза ее над тяжелыми нежными скулами от горя или обиды расширялись, увеличивались, даже голубели, становясь вдруг похожими на

торжествующие, праздничные глаза Янины. Это подстрекало мужа, разжигало заведомо неудовлетворяемую страсть. Он, наконец, засыпал под альковым, усталый атлет сорока с лишним лет, агент враждебного стана, пресвитер, любовник, странник, отец, хозяин, точка, свободно и стремительно несущаяся по космической прямой.

Днем ему было легко ускользнуть от жены. В каждой мастерской Конрада встречали радушно: работал он хорошо и как-то смачно (весело). Веселило, разумеется, главным образом, чудесное превращение: из кузнеца в пахаря, из конюха в ткача, затем мельник, дровосек, а в ненастье даже смолокур. Потом сразиться у прилавка *general store* в шахматы, прислушиваясь к заушной речи Шарлотты и осушая кувшин яблочной водки.

После школы Фома находил отца в каком-нибудь углу селения, потного, довольного, сдержанного (внимательного). Они вместе отправлялись купаться, спускаясь все дальше и дальше от дозволенных прудов к путанице каналов, связанных ощутимо с огромным, пульсирующим, излучающим мрак и холод телом Больших Озер. Там они в течение часа сачком доставали сотню упрямых, истерических рыб, поднимающихся сюда, быть может, из недр Сарагасского моря, чтобы метнуть икру и умереть. (Так постаревший эмигрантский поэт мечтает издать в Москве книжку стихов и отдать Богу душу).

глава десятая

в которой принимают тихое участие короли, дамы и
валеты

По-прежнему часто, хотя и с меньшим увлечением Конрад играл в шахматы; проигрывать он не любил, а его выигрыш настраивал обитателей селения на воинственный лад. Играли они в большинстве случаев скверно, а результаты воспринимали даже с какой-то болезненной мнительностью.

Помещение всеобъемлющего *general store* напоминало легендарную лавку, способную удовлетворить потребности самых разнообразных покупателей. В одном отделении на опрокинутом

бочонке восседал Аптекарь, нечто вроде интеллектуального острова в примитивной глуши. Прошлое, о котором он вздыхал, было грубой, неприкрашенной борьбой за существование, но представлялось им всегда подернутым лирической дымкой. И действительно, рассказы этого зеленого рыцаря о пистолетных сражениях и диких погонях за дилижансами умиляли слушателей.

По разным соображениям Конрад почти ежедневно навещался в этот клуб. Там за стаканом яблочной водки можно было выслушать сплетню, собрать ворох сведений как будто всем известных, но для чужого очень полезных.

Изредка ему удавалось проникнуть к Бруно на пасеку или даже в пещеру; там он оставался, пока его не гнали прочь. Обычно они лежали на поляне, лицом к небу (Бруно в дымных очках) и лениво беседовали. Все голоса кругом (собственный, Янины и даже Фомы) звучали одинаково родственно, усвоив глубокие чистые интонации Бруно.

Мы тихо повествовал о начале и конце ряда вселенных: процесс развития, напоминающий арифметическую или геометрическую пропорцию. Медвежонок капризно визжал, требуя внимания или меда. Фома отбегал и затевал игру с мохнатым другом. Вскоре Бруно тоже застывал на полуслове с открытыми (под стеклами) выпуклыми глазами: Янина это называла медитацией.

Тогда Конрад, не теряя времени, ускользал с возлюбленной в кусты. Один взгляд на Янину, в ее большие серо-зеленые влажные лукавые и виноватые глаза на маленьком (муравьином) личике с неприлично вздернутым носиком восхищал его, опустошал, обновлял. Душа изнемогала от сладостной боли, а страх вечной разлуки порождал счастье. Ее маленькая головка была туго стянута косынкою; бледное от страсти строгое личико, требовательное и жертвенное. Конраду чудилось: вселенная становится ценнее и значительнее именно потому, что она его любит, может любить. Да и он сам приобретает от этого вес и форму, начинает щадить, уважать себя. Эта любовь умножала богатство окружающего мира, укрощала его, по-новому утверждала небесный свод.

Обновленный, возвращался Конрад домой, повторяя слова Бруно жене и даже относясь к ней с удвоенным вниманием;

Ипата глядела, слушала, целовала его все с тем же твердо-каменным, нежно-восковым, замороженным лицом.

— Мамочка, не надо! — выкрикивал Фома, если она становилась слишком уже спокойной.

Как общее правило, жители деревни, с которыми Конраду приходилось довольно часто встречаться, производили впечатление людей хитрых, скупых, себе на уме (может быть, благодаря своей неразговорчивости). Практичные, туповатые, внимательные соглядатаи, они все, казалось, были посвящены в некую, тяготившую их тайну. Но секрет этот, как ни ловчился Конрад, не удавалось открыть; так что иногда он приходил к заключению, что никакой загадки, в сущности, нет! Только тишина, замкнутость и внимательной, настороженный, пустой взгляд. За праздничным столом, когда их собиралось побольше, Конрада неоднократно поражала какая-то особенная, густая, вязкая тишина и пустота окружающих его темных, неподвижных, едва очерченных глаз.

Однажды у Аптекаря в подвале играли в карты; случилось так, что у Конрада собрались картинки: дамы, валеты, короли. Пиковый валет представлен в профиль, нос с горбинкою, воинственный повеса, готовый к невеселой дуэли; два короля тоже в профиль, с опухшими от хронического нефрита подглазницами, и в царственных кольчугах. Только все дамы расположены в фас. Конрад впервые обратил внимание на их глаза; ему вдруг представилось, что они все вышли из царства теней и еще несут в зрачках отражение беспредметного ужаса, холода, темноты и, главное, молчания подземного мира. Переведя глаза с карт на лица своих партнеров, Конрад, наконец, понял, кого эти люди всегда ему напоминали: именно игральные карты. Тот же ощутимый непрерывный поток вечной тишины лился из их подглазниц.

Он не мог лучше или подробнее описать этого впечатления; именно тишина в глазах этих людей соответствует немоте игровых карт, стоически продолжающих носить свои пестрые доспехи. А в это время кругом козыряли и слышны были только циничные шутки восьмидесятилетнего Карла (возившего будто бы Конрада на салазках) и трезвые замечания столетней давности

Аптекаря; иногда Шарлотта проносилась, как подстреленная птица, и бросала свою поговорку:

— Ибо в царстве теней нет тени, — повторяла она ожесточенно.

”Ибо в царстве теней нет тени”, — напевали все хором строчку из распространенного здесь ромansa.

Кстати, баллады в селении пользовались успехом; их культивировали, разучивали, повторяли со школьного возраста. Пели на промыслах, дома после еды, за кружкой сидра, в лесу, на плотине; пели угрюмо, но в унисон. Всеобщую любовью пользовался романс о парубке, требовавшем в приданое еще и серого мерина и таким образом упустившего прекрасную невесту:

Young Johnny the miller he courted of late
A farmer's fair daughter called beautiful Kate.

Она была готова идти под венец, но парень потребовал себе лошадку впридачу, а упрямый отец отказал. Так расстроилась свадьба:

About a year later or a little above
He chanced to meet young Katy his love.

И любовь с прежней силой вспыхнула в сердце неразумного жениха: он готов уже забыть про серого мерина. Но гордая дева прошла мимо, не моргнув бровью:

Your sorrow, says Katy, I value it not
There's young men enough in the world to be got.

Хор старух, детей, остававшихся до сих пор на заднем плане, тут дружно и даже, пожалуй, весело, подхватывал:

So fare you well Johnny, so fare you well Johnny
Go mourn for your fate...

Почему именно эти стихи так нравились обитателям поселка, трудно сказать. Здесь, надо полагать, была удачно выражена какая-то заветная и родственная их душе мысль. Впрочем, возможно, что Конрад преувеличивал значение этой баллады в жизни деревни, как и других случайных явлений, что постоянно случается с иностранцами, замечающими вдруг одну мелкую народную черту и раздувающими ее до размеров гигантской лжи. (Так французская женщина будто бы легкомысленна, немецкий бюргер добропорядочен, а русский — бунтарь, хорошо поет и весьма религиозен).

Особенно нравился Конраду другой местный романс, так что он даже научился его напевать под аккомпанемент старинного инструмента (нечто среднее между мандолиной и балалайкой, только с четырьмя струнами). Там речь шла о молодой нежной женщине, по-видимому, рано скончавшейся, но оставившей по себе лирическую память:

Here's the Bower she loved so much
And the tree she planted,
Here's the harp she used to touch'd
Oh! how that touch enchanted.

Но смерть не разбирает добрых и злых, хватается все, что подвернется. Лучшие разумеется, уходят раньше, а старикам остается песня:

Years were days when here she stay'd
Days were moments near her;
Heaven ne'er form'd a brighter maid,
Nor pity wept dearer.

Особенно отличалась на этих интимных вечеринках безумная Шарлотта, степенно танцуя в паре с улыбающимся зелеными зубами Аптекарем.

— Ибо в царстве теней нет тени! — неизменно заканчивали они книксеном, как в придворном менюэте.

Усталого от пляса и сидра Аптекаря приходилось потом уводить домой; жил он все в том же недостроенном доме: мансардная комната под самой жестяной кровлей. Там осенью Конрад его навестил, больного (пожелтевшего), в последний раз: была ночь, и безвыходный дождь барабанил над самой головой.

Никто не знал точного возраста Аптекаря; считалось, что ему под сто. Молодость его протекла в Канзасе, где он снабжал красавиц чудодейственными эликсирами и пластырями. В связи с этим ему приходилось неоднократно бежать, оставив на произвол судьбы запасы сырья; в те годы белых еще линчевали, а с индейцев сдирали скальпы.

Эти дикие нравы претили Аптекарю; он любил вспоминать о своей научной карьере, о смелых и удачных экспериментах, о странных болезнях кожи, исцеляемых малоизвестными декоктами, о тайных травах, действующих положительно на плод. Он

первый восстал против парикмахеров-хирургов, пускавших кровь пациентам при всяком удобном случае.

Аптекарь отлично играл в шахматы, и Конраду было приятно с ним сражаться; одна беда, свидетели принимали поражение своего земляка уж слишком трагически. Так что приходилось даже прибегать к различным уловкам, чтобы скрыть истинное положение дел на доске (по инициативе Аптекаря часто откладывали безнадежную партию и затевали игру в фанты или шашки). Конрада неизменно поражало сочетание черт жестокости и добродушия, вульгарной грубости и детской наивности в его согражданах. Вели они себя с несомненным, даже преувеличенным чувством собственного достоинства, но в гневе совершенно терялись, превращаясь в подобие пещерных предков. Радовались они искренне, наивно, неумеренно, точно дети. И только глаза, глаза сохраняли навеки свою таинственную *тишину* игровых карт...

Аптекарь ведал складом сушеных продуктов, представлявших значительную долю местного экспорта. Целебные корни, травы, грибки, ягоды, листья, стручки. Над полками стояло облако эфирных масел, ромашки, мяты, камфоры: там в углу, словно русская икона, висела цветная гравюра, изображавшая Данте Алигьери, растиравшего в ступе серый порошок. Аптекарь даже у этого древнего нетесаного прилавка выглядел членом ученой корпорации.

— Артисту фармакопеи больше нет места в современном обществе, — желчно замечал он, отпуская товар. — Мастерство умирает, уступая место фабричному производству. Безответственная машина убивает прозрение артиста, — продолжал он, обращаясь преимущественно к Конраду. — Что остается на нашу долю? Заворачивать пакеты в красную бумажку и перевязывать их зеленой тесемкой. Ах, Данте, Данте, где ты...

— Вот жирные мази от секретных болезней, которыми пользовались еще граф Сен-Жермен и Казанова. Вот чудодейственные пластыри, настои, кровососные банки, потогонные... Все это упразднили, как Австро-Венгерскую империю.

Аптекарь отворял шкаф, похожий на несгораемую кассу, где мерцал ряд сосудов разных цветов и форм; в сумерках пахучего

подвала их пурпурные и малиновые стенки пропускали райские лучи.

— Здесь основа всей фармакопеи, — хвастал он. — Хотите кортизон или фолликулин? Пожалуйста, милости просим! Мы не знали почему, но часами отваривали почки телят и давали пить отвар нефритикам. Хотите гормоны? Вот вам гормоны. Я сам их приготавливал.

— Видите эти фигуры, выжженные на этрусской вазе? Здесь хранилась древняя белладона, и рисунок художника объясняет действие последней. А эти ступы... Сперва каменные, пещерные, затем глиняные, бронзовые, медные. Видите, пестик, точно версальская фрейлина, перетянутая корсетом. Неужели безразлично, кто и с какими чувствами растирает ядовитую корицу в порошок? А если нападут недобрые люди, то легко, размахнувшись таким инструментом, и череп проломить злоумышленникам. Случалось, грешным делом, — Аптекарь заливался беззвучным циничным смехом (тогда Конрад начинал верить, что ему действительно сто лет). Аудитория кругом тоже блаженно гоготала, опорожня стаканы.

— А вот наши весы: нехитрая штучка! А попробуйте на тех же весах отвесить и фунт, и гран. Для этого надо быть истинным артистом, с опытом и талантом. А теперь что... На этой дощечке с желобками мы готовили пилюли: надо порошок и жидкость, свесив и отмерив, смешать, как тесто. Растираешь, бывало, часами с молитвою или проклятиями. Потом вытянешь жгутом смесь, наподобие макароны, положишь на желобки и сдавливаешь этой пластинкой: все поделится на двенадцать почти равных частей. Остается только скатать шарики, припудрить, вот и пилюли. Глазомер и чутье, личная ответственность и никакой бумажной волокиты.

— Полубуйтесь моим пластырем от лумбаго или втиранием против перхоти. Лучшего и теперь не найдешь. Этот эликсир может повлиять на пол эмбриона. Хотите девочку или мальчика? Или, быть может, уродца с двумя птичками? Могу... ха-ха-ха...

Народ добродушно смеялся, все любовно чокались, гордясь Аптекарем, так что Конраду ничего другого не оставалось, как тоже приветствовать местного ученого и опорожнять стакан.

Только один Бруно, казалось, не очень-то жаловал фармацевта и редко захаживал в лавку, а зеленый мудрец, в свою очередь, недолго любил юношу в темных очках. Аптекарь, как догадывался Конрад, принадлежал к стану Ипаты и даже позволял себе иногда либерально критиковать слепого пастыря:

— Пляшет под дудку того... — шипел он (то есть, что рыжий старец находится под влиянием Мы). — Не одобряю.

Впрочем, встречая Бруно, Аптекарь, вел себя с примерной почтительностью, как и все в деревне в присутствии старших и влиятельных членов общины. Как ни странно, гибель внучки (Талифы) никак не отозвалась на внешнем поведении Аптекаря, но пережил он ее ненамного.

Обдумывая ход на шахматной доске, Конрад внимательно следил за всем, что происходило в магазине и делал свои выводы. Так, если в подвал забегал школьник, значит, Фома уже тоже дома: Ипата теперь занята, можно пройти к Янине. Или: Эрик приехал с почтой, среди счетов и газет может быть весточка от друзей.

По магазину струились, не смешиваясь, резкие, приятные и отталкивающие запахи (точно по дну озера — холодные и теплые течения). Кожа, мыло, ситец, шафран... все это почему-то напоминало детство, Россию, Испанию, Вогезы, и Конрад содрогался от нетерпения, точно блудный сын, приближающийся к знакомым окраинам.

— Забавно, — шептал он, улыбаясь, Аптекарю. — Я здесь на чужбине, а счастлив, словно возвращаюсь на родину. И шахматы, и запахи, и рассказы — все мне любо.

Скаля свои острые длинные зубы аллигатора, Аптекарь строго поучал:

— У человека несколько родин: в каждом мире, по крайней мере, одна. Поэтому, кстати, не надо искать одного смысла или одной цели существования и одного ответа. Образ наш гораздо сложнее.

— Особенно в постели, — хихикал заиндивевший мельник с запорошенными нежной мукой ресницами и бровями.

Матильда, одетая в яркий не по возрасту сарафан, кричала Конраду на ухо:

— Сказать, что ты был моим мужем на Аляске, ха-ха-ха?

Конрада прошибал горячий пот от ее близости и декоративных корешков во рту (как будто их нарочно такими ей вставили). Тогда мысль о светлой, нарядной, благородной Янине с восторженными глазами и раздражающим носиком придавала ему силы; он продолжал упорно и осторожно шахматную борьбу. Иногда ему чудилось: все эти шутки, споры, намеки и угрозы на самом деле только попытка психологического воздействия со стороны Аптекаря, ведущего игру одновременно в нескольких планах. И Конрад не сдавался, подготавливаясь еще к другой схватке: приближалась осень, скоро начнутся упорные дожди, и побег больше нельзя откладывать! А между тем связи с друзьями, оставленными позади, не удавалось возобновить, и решительную дату приходилось откладывать, сообразуясь с погодой и луной.

На конторке рядом с играющими, между деревянными счетами и бухгалтерскими книгами ин-фолио, лежали разрозненные колоды карт и таро: веер дам, валетов, королей со взглядом тихим, молчаливым... Существа, прошедшие страшное испытание, с честью выполнившие свой последний долг и теперь являющиеся только потусторонними, обескровленными свидетелями бессмысленной, тщетной забавы. Решительно наклонив голову, Конрад передвигает символическую фигуру; в ответ, после мгновенного шопота удивления, раздаются сразу смешки, постукивания, скребки, наглые подстрекания.

— Молчите, хамы, пошла, мужичка! — отмахивался Аптекарь, благородный соперник Конрада в этом подвале. — Прочь! — грозил он кулаком в сторону Матильды. — Это тебе не свечки лить, убирайся! — и давал ей ладонью разá по вислому заду. Та с визгом отскакивала, жалуясь и чертыхаясь. А мельник, весь покрытый сдобным инеем, ронял:

— Двадцать лет тому назад ты бы не гнал ее от себя.

Иногда в лавку заходили проповедник или Ипата, Бруно, ребята из школы за сладостями; тогда завсегдатаи немедленно подтягивались, приводили себя в порядок и начинали обращаться друг к другу с подчеркнутой вежливостью (мистер), не позволяя себе вульгарных оборотов. Вообще у Конрада создалось впечатление, что местная элита даже не представляет себе, в каком

грубом состоянии пребывают еще низшие слои населения.

В присутствии именитых граждан муж Ипаты опять начинал себя чувствовать влиятельной персоной, в чем его никто не осмеливался разубеждать (только Матильда продолжала шипеть из угла, говоря что-то, вероятно, неприличное). А Шарлотта, по обыкновению описывая круги, точно подбитая птица, возвещала во всеуслышание: "Яков пасет чужих яков" или: "У доброй матери всякое чадо впрок".

Часто прибегал Фома с поручением: пресвитера зовут к больному или: Ипата ждет мужа немедленно. Изредка в лавку заглядывал Бруно. Тогда все старались проявлять самые верно-поданнические знаки внимания. Экономически, казалось, будущее этих людей зависело от него.

Аптекарь угрюмо помогал Бруно усесться на порожнем бочонке, что, принимая во внимание корпуленцию последнего, было делом сложным. Его сразу обступали поселяне, почтительные, с придурковато открытыми ртами; только глаза их, тихие, молчаливые, отражали мрак подземелья, что, кажется, удручало Бруно. Отдышавшись, примерившись с минуту к шахматной доске, он неизменно начинал свою речь, словно тараня кремневую стену, не глядя, впрочем, на своих слушателей.

— Наш человек существует только десять-одиннадцать тысяч лет, — рассказывал Бруно. У Конрада быстро-быстро стучало сердце, как у влюбленного: он знал, что теперь сюда скоро придет Янина. — Одиннадцать тысяч лет — это четыре миллиона дней, — грудным, мягким голосом говорил юноша в дымных очках; кругом бородатые, усатые, красивые и уродливые, странно одетые люди блаженно улыбались, поддакивая. — А вселенной уже 20 миллиардов лет. Сравните, души. Двадцать миллиардов лет и четыре миллиона дней. А нашему техническому прогрессу всего только двести или триста лет. То есть меньше 75 тысяч дней. Детский возраст, но как далеко мы ушли.

— Сначала все шло необычайно медленно, человек жил во сне и в полусне. Потребовалось тысячелетие, чтобы приспособить колесо или стержень; потом, набирая скорость, шибче и шибче, в геометрической прогрессии. Вспомните предание о шахматной доске, — Бруно протягивал тучную, волосатую руку в сторону

играющих. Аптекарь, угрожающе скаля зубы, озирался, словно защищая свое право закончить партию. — Если на первый квадрат положить одно зерно, на второй два, на третий четыре, то по расчету древних мудрецов на последний квадрат потребуется столько злаков, что всех житниц Европы, Америки, Азии и Африки не хватит. А ведь наша жизнь от сотворения мира развивается именно путем такой пропорции, к вящему конфузу мудрецов и специалистов. Зерно яблони, племена людей и цветы их творчества разрастаются в геометрической прогрессии и есть даже слух, что 64-ый квадрат не является последним.

На этом месте завсегдатаи обычно начинали одобрительно гоготать; неизвестно почему, но судьба 64-ого квадрата их особенно умиляла.

— Двадцать миллиардов лет тому назад на первый квадрат доски положили чудесный и единственный атом водорода. Теперь мы где-то посередине доски и начали угрожающе расти, стремясь к опасным, критическим рубежам. За последние полвека техника проделала скачок, равный всему нашему предыдущему развитию за истекшие четыре миллиона дней. Ибо последний член геометрической пропорции почти совпадает с суммой всех предыдущих членов ряда. Если развитие будет продолжаться таким образом, то уже в ближайшие десятилетия летающие диски станут нашим привычным способом передвижения.

Конрада этот разговор волновал до такой степени, что он легко мог проморгать фигуру; особенно его бесило, что слушатели (за исключением одного только желчного Аптекаря) никак не были в состоянии оценить мыслей Бруно и все-таки упорно, с застывшими от напряжения лицами прислушивались, точно ожидая разрешения какого-то мучительного личного вопроса.

— Если Мы вам сообщит, что в течение ближайшего столетия человек освоит все планеты солнечной системы, то вы, вероятно, не слишком изумитесь. Отсюда можно легко заключить, что если на тех планетах существуют равные нам разумные существа, то они должны тоже вскоре посетить нас и, разумеется, они бы уже давно подавали сюда разные сигналы! Но этого не случилось; и если это не случится теперь, то можно считать доказанным, что земля наша исключительное по удаче небесное

тело, а мы, земные обитатели, — высшее достояние Творца неба и тверди. Радуйтесь и ликуйте, отныне опять здесь центр священного эллипса.

— Аминь, ура, тыфу-тыфу, слава Отцу и Сыну, кто рано встает тот много жует... — слышалось со всех сторон из подвала; суровые граждане поздравляли друг друга, точно на Пасху. Шарлотта неистовствовала, носясь по кругу с подбитым крылом. Только один Аптекарь (подставив фигуру), сдерживая наипавшую досаду, осведомлялся вкрадчиво:

— А что думает проповедник на этот счет?

— Мы и проповедник учим одному и тому же, — отвечал Бруно, подумав; потом продолжал: — Земля — песчинка в звездной пустыне, волна в космическом океане, и все же она является исключением, избранным островом, первородным атомом среди туманных монстров, пожирающих собственный хвост. Вера древних в свою исключительность, по-видимому, оправдывается. Земля — как бы духовный центр вселенной, хотя нам уже известно, что миров много, а круга нет.

— Мы вам сообщил, что через 36500 дней будет освоена солнечная система. А через тысячу лет или десять тысяч? Ясно, что через миллион лет, если мы просуществуем без финальной, очередной катастрофы, все проблемы, возникшие в нашем быту, все мечты и грезы, замаячившие еще в туманном сознании Адама, будут благополучно разрешены и организованы. Нет границ возможностям при условии геометрической пропорции ряда. Конечно, миллион лет — срок большой, но ведь просуществовала же вселенная биллионы лет. Подумайте, с чем сравнится искусство и величие человека, если ему позволят совершенствоваться еще двадцать тысяч лет...

Здесь простолюдинов опять охватывал наивный восторг, но последующие слова Бруно вызвали разочарованные вздохи и даже стоны.

— Ясно, что нам даже тысячелетия не отпущены на этой земле, — тихо заключал Бруно, не глядя на слушателей. — Катастрофа, описанная во всех духовных пособиях, подстерегает человека где-то близко. Землю ожидает гибель. Об этом толково говорится в Священном Писании. Вообще, конец описан гораздо

полнее и понятнее, чем начало бытия. Можно утверждать, что первая книга утеряна. Смерть вошла в мир вследствие грехопадения, но последнее имело место в космосе задолго до изгнания Адама из рая. Век Адама исчисляется сотнями тысяч лет, а мертвых муравьев мы находим в янтаре: они были залиты этой смолою двести миллионов лет тому назад, когда янтарь еще растекался по берегу Балтийского моря.

— В туманный, раскаленный, душный день сытый муравей выполз по своей надобности на окраину розового леса. Тогда еще не было семьи Адама; кругом высились только утесы и пахучие деревья, похожие на кипарисы, из которых капала на песок янтарная смола, смываемая прибоем темного моря. Судьбе угодно было, чтобы тяжелая капля этого сока попала на избранного муравья и замуровала навеки, сохранив его для музея естественной истории. Адам еще не родился, а смерть уже хозяйничала в мире; спросите у сонма ракообразных и паукообразных, составляющих слой меловых отложений, спросите у них, кто согрешил задолго до Адама. Мы только знает, что Агнец был заклан при основании мира, 20 миллиардов лет тому назад: принесен в жертву до первого реального греха. Здесь тайна: до грехопадения смерть была неотделимой частью жизни.

— Аминь, аминь, — дружно выкрикивали свидетели; Конрад нерешительно передвигал фигуру (пора кончать).

— Итак, великолепной земле, полной аромата и святости, света и чуда, угрожает гибель, — возвещал Бруно. — Надо спасти ее ценности, краски, стихи и молитвы, мысли и фрукты, храмы и детвору. Надо перенестись в другие точки космоса, в другие созвездия и туманности. Уйти, вовремя подготовить переселение. Заразить нашими клетками и лучами другие небесные тела. Кто здесь спрашивает: чего Бог от него хочет? Вот перед нами луна, сухая пустыня, засохшая лава, без воздуха, воды и жизни. Там надо разбить сады и цветники, оплодотворить почву, огласить музыкой и смехом, любовью, игрой и творческой мыслью согреть камни. Это ли не Божье дело? И человеческое. Пасти антилоп на Марсе и кенгуру на Нептуне; повсюду цветы, злаки, добро и любящий взгляд разумных детей.

— Чей это голос вопит: "Так что же мне делать?"... Мы

(продолжение следует)

Редакционная коллегия "Нового Журнала" сердечно поздравляет глубокоуважаемую Зинаиду Алексеевну Шаховскую с присуждением ей французским правительством звания Командора изящных искусств.

Владимир Набоков

ИСАКИЙ

С девочками Ликой и Липой
В сиреневый утренний час
Мы вырыли в пляже пустынном
Большой и широкий баркас.

Мы влезли в корабль наш пузатый.
Я взял капитанскую власть.
Купальный костюм полосатый
На мачте зареял, как снасть.

Так много чудес есть на свете!
Земля — неизведанный сад.
Поедем на Яву? — Но дети
Шепнули, склонясь: — В Ленинград.

Волна набегавшего вала
Дрожала, как синий опал.
Команда сурово молчала,
А ветер косички трепал.

По гребням запрыгали баки.
Вблизи над пустыней седой
Сияющей шапкой Исакий
Миражем стоял над водой.

Горели прибрежные мели.
И кланялся низко камыш.
Мы долго в тревоге смотрели
На пятна темнеющих крыш.

И младшая робко сказала:
"Причалим? Иль нет, капитан?"
Склонившись над кругом штурвала,
Назад повернул я, в туман.

* Из архива А. Ровнера

Игорь Чиннов

По аллее мы с Вами идем,
По аллее Летнего сада.
Ничего мне другого не надо:
Дом Искусств. Литераторов Дом...

Ирина Одоевцева

* * *

А поэты взяли да и вымерли,
Парижане русские, давно.
Только трое ждут Звезды-Погибели,
Смотрят в оснеженное окно.

За окном погода петербургская.
Не совсем, но можно пометчать.
А мечта поэта — самодурская:
Пушкин на мосту стоит опять!

Гумилев идет по снегу белому,
Ищет заблудившийся трамвай,
Тихо-тихо Блоку поседелому
Говорит: живи, не умирай.

Силуэт Георгия Иванова
На мосту парижском одинок.
Жаль поэта, мертвого, *не* пьяного.
Ночь долга, он смотрит на восток.

Ну и шутку выдумала душечка!
(Позавидовать? Не презирать?)
Женушка, Ириночка, кукушечка,
В Петербург вернулась умирать.

* * *

К раззолоченным храмам Бангкока
Мне вернуться уже не придется
И на ярких базарах Марокко
Не удастся опять торговаться.

Не придется опять любоваться
В Тонанцингле веселым барокко
И уже не вернуться проститься
С черным камнем, с пятаю Пророка.

Не вернуться к нему величью
Сероватых камней Мачу Пичу,
Не вернуться к Рамзесу Второму,
К рыжевато-песчаному храму.

Огонек мой совсем на исходе,
И пора успокоиться, вроде.

Отдыхая у берега Леты
(Дать Харону две медных монеты!)
Иногда вспоминаю, отчасти,
О былом незаслуженном счастье.

* * *

Мы уйдем, не давая отчета
Никому, не спросясь никого.
Превратятся тоска и забота
В своеволие и торжество.

Станет музыкой тусклая скука,
Даже злоба прославит Творца!
От высокого, чистого звука
Ледяные смягчатся сердца.

И в пятнистой игре светотени
Под каштанами старых аллей
Эмигрантской толпой привидений
Доберемся до русских людей.

Две вороны да иней на крыше,
Воздух осени в роще горчит,
И на кладбище пение тише
Под сереющей тучей звучит.

* * *

Перестань дурачиться,
Богу помолись,
Райского землячества
Крылышком коснись.

Нет у Вани крылышек?
Быстро отрасти!
Из последних силушек
К Богу возлети!

Господу пожалуйста
На житье-бытье:
Допусти, пожалуйста,
В царствие Твое!

Ну, а вдруг захочется
В карты поиграть?
Погулять с молочницей,
С девкой переспать?

Осушить чудесинку,
Спеть — и смех и грех
Прогорланить песенку
Озорнее всех?

Нет, небесным силам ты
Подойдешь навряд,
Зря с кувшинным рылом ты
Лез в калашный ряд!

ДВА РАССКАЗА ГЕОРГИЯ ПЕСКОВА

Публикация М. Дальтон

22-го декабря 1987 года исполняется десятая годовщина со дня смерти Георгия Пескова. Георгий Песков (псевдоним Елены Альбертовны Дейша) принадлежит к "младшему" поколению прозаиков первой русской эмиграции, т.е. писателей, родившихся в дореволюционной России, но начавших писать в эмиграции. Началом долголетней и плодотворной творческой деятельности Пескова послужил конкурс парижского журнала "Звено" в 1925 году, на который она послала рассказ "Гонец". Впоследствии более 200 рассказов Пескова было напечатано в парижских журналах ("Современные записки", "Звено", "Иллюстрированная Россия") и газетах ("Последние новости"), а также в сборниках Г. Пескова "Памяти твоей" (Париж, 1930) и "В рассеянии сущие" (Париж, 1959).

Жанр Пескова — короткий рассказ, миниатюра. Автор создает нужную атмосферу с помощью сжатого повествования, намеков, использования малых, но важных деталей. Иногда она пользуется приемом "сказа" — рассказ ведется от имени представителя определенной общественной среды. Мастерство формы совмещается с объективным, трезвым тоном, который преобладает даже в фантастической тематике.

Глеб Струве в книге "Русская литература в изгнании" назвал Пескова самым типичным среди эмигрантских писателей представителем "магического реализма" — термин, взятый у французского критика Эдмонда Жалу. Жалу определил магический реализм как "отыскание в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического, тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной поэтическим, сюрреалистическим и даже сим-

волистским преображениям". Песков часто совмещает описание реального быта (дореволюционного в России, эмигрантского во Франции) с целым рядом странных, необъяснимых явлений, вторгающихся в этот быт — галлюцинациями, телепатическими видениями, магией. Конечно, далеко не все рассказы Пескова окрашены сверхъестественным. Во многих "французских" рассказах преобладают психологические проблемы, связанные с эмигрантской жизнью: конфликт двух культур, "отцов и детей", духовного с материальным. Почти во всех как "магических", так и "психологических" рассказах Пескова — присутствует ощущение реальности метафизического зла и как противовес этому — осознание необходимости добра, веры, Бога. Эта этическая установка автора выделяет рассказы Пескова и придает им специфический оттенок — оттенок "вечности"

Маргарита Дальтон

Рассказ старого священника

Что касается существования ведьм, то напрасно изволите выражать сомнение. Удивлю вас, быть может, но действительно и неложно могу свидетельствовать: лично знал одну особу, которую, ежели вам о ней рассказать, вы и сами не затруднитесь к разряду таковых отнести.

Имеемый мною в виду случай произошел очень давно, еще при царском режиме, в России. Однако, поверьте, что в настоящее время такое и тому подобное, пожалуй, в большем масштабе, чем прежде, творится. И не то что в диких странах, а вот здесь, у нас, в просвещенной Европе. Адвокат один здешний, французский, солидной репутации, не так давно в газете о современных договорах с дьяволом писал. Не припомните? Как же! Самолично читал. Только не все, разумеется, имеют на это глаз. В слепоте своей, доложу вам, современный человек совершенно подобен кроту.

Ежели интересуетесь, расскажу об упомянутой мною особе. На что, полагаю, имею теперь и право, ибо хотя и узнал я многое, сюда относящееся, через одну исповедь, но того человека в живых уже нет. Что же касается до самой особы, то секреты ее

хранить обещания не давал. Даже, напротив того, считаю в некотором роде долгом таковые дела разоблачать. Надо вам знать, что я в очень молодых годах овдовел: супруга от родов первого ребенка скончалась, ребеночек тут же помер. Остался я бобылем, один, как перст, в селе, где священствовал. Да даже и села-то, впрочем, не было, а лишь погост при барской усадьбе. Но приход обширный. Летом, кроме того, дачников много съезжалось.

Усадьба сначала принадлежала господам Быковым. А затем купил ее статский генерал один. Весной, в мае месяце, приехал он к нам с молодой супругой. Знакомства я с ними не имел: в церковь они не ходили, икону, даже в большие праздники, у себя не принимали. Видеть же обоих доводилось, разумеется, часто, ну и раскланивался. Он такой, знаете, высокий, плотный, осанистый был, в баках. Не слишком еще старый. Видный мужчина, барин. Она — совершенно напротив: небольшого роста, жимолостная. Как вам сказать? Находили ее красивой. И почему-то все, между дачниками, Клеопатрой египетской ее называли, хотя имя ее было Зоя Сергеевна. Но на мои глаза ровно ничего в ней не было: чрезмерно худа, а с лица — темноватая, вроде цыганки. Пела тоже на цыганский манер. Вечно, помню, в шаль такую пеструю куталась; на дворе жара, а она — точно зябнет. И курила еще при этом. Терпеть не могу. Мужчине — нехорошо, а уж женщине, особенно даме, генеральше — совершенно неприлично. Ну, да на генеральшу-то она ни в чем не походила: довольно-таки свободного обращения была особа.

Жили они, не считая прислуги, вдвоем. Но почти все лето гостил у них один господин. Господин этот и в церковь иной раз заглядывал. У обедни редко бывал, а вот у всенощной почему-то. Ни к кресту, ни под благословение не подходил. А чтобы свечку поставить — так это никогда. Стоит себе, вроде истукана, в притворе. Лицо — белое, как мукой посыпано, борода черная, словно накладная, и глаза тоже черные, провалившиеся. А впрочем, ничего: показывался даже симпатичным. Человек, видать, смиренный, только неживой будто. Доктор наш земский его все морфинистом звал. Морфинист да морфинист. "Разве, — спрашивал, — Вам что-нибудь о таковой его слабости известно?". "Нет, — говорит, — я его и знать не знаю, да по глазам вижу".

Дорога со станции ко мне на погост аккурат мимо барского дома шла. Раз возвращаюсь я к себе на бричке, гляжу, бежит от террасы морфинист-то ихний, машет мне: погодите, мол, батюшка. Я кобылку свою придержал. Подходит, рекомендуется. (Звали, помню, Константином Кирилловичем, фамилию запомывал). От имени генерала просит, чтобы мне к нему на минуту зайти: дело, мол, есть. Направились вместе к террасе. Генерал на парусиновом стуле, ноги протянув, лежит. Генеральша стоит у балюстрады: одной рукой подбоченилась, в другой — папироса. Дым сквозь зубы пускает, сама на меня этак шурится. Под благословение, разумеется, ни тот, ни другой. Звал меня генерал, как оказалось, затем, что меду у меня купить желал. Обошелся, впрочем, весьма вежливо, просил садиться и ноги, кряхтя, спустил. Генеральша на мой поклон кивком отвечала.

Пока у нас о деле разговор шел, она с Константином Кирилловичем пересмеивалась и болтала. Очень мне не понравилось, как она с ним на наших глазах обходилась. А генерал — ничего: привык, видно. Потом вдруг обращается она ко мне довольно развязно:

— Хотите чаю?

Я хоть и молод был, однако, себя не уронил.

— Нет, Ваше превосходительство, благодарствую, — ответил с достоинством.

Только смутить-то ее нелегко было.

— Почему же? — спрашивает и глупо так посмеивается. Потом вовсе даже не к делу. — Вы с мужем про мед, а мы с Константином Кирилловичем про спиритизм толкуем: это наше с ним любимое занятие. Вы нас, верно, не одобряете?

Я-таки строго на нее посмотрел:

— Не я, Ваше превосходительство, а святые отцы этого не одобряют. И не только что не одобряют, но даже безусловно запрещают.

— В самом деле? — опять смеется, и папироска в зубах. — А я вот, — говорит, — святых отцов этих и не читала вовсе.

Не находя приличным такой разговор поддерживать, обратился я опять к генералу. Константин Кириллович тоже к нашему разговору о пасеке присоединился. Генеральша же сошла в

цветник, папиросу бросила и, бродя между клумбами, вполголоса что-то напевает. В это время поблизости петух заорал.

— Константин Кириллович, слышите? — окликнула она. — Опять этот проклятый петух горло дерет. Ничего из нашего с Вами опыта не выходит.

А он ей:

— Вы о чем? — И неохотно так.

Она какой-то стебелек сорвала, покусывает, смотрит на Константина Кирилловича как-то по-особенному.

— Будто, говорит, Вы забыли?

Генерал тоже заинтересовался, какой там, дескать, опыт.

— А это, — она говорит, — мы с Константином Кирилловичем договорились попробовать силу внушения. Петух наш старый надоел: на заре будит. Да и днем то и дело орет. Мы и условились, концентрируя волю, внушить ему, чтобы издох.

Генерал, посмотрев на меня, плечами пожал: баба, дескать, глупая, извините.

А Константин Кириллович на пустую ее болтовню словно бы обиделся, оправдываться начал:

— Помилуйте, Зоя Сергеевна, я, — говорит, — знать не знаю ни про какого петуха. А она ни с того ни с сего хохотать принялась.

Больше я у них во все лето не был ни разу. В церковь Константин Кириллович ходить перестал, так что я, только проезжая мимо, иной раз кого из них и видел. А слышать про ихнее житье слышал.

Нанялась было к ним в кухарки девка одна деревенская. Но прожила недолго и, хотя жалование ей положили хорошее, скоро к себе на деревню вернулась.

— Почему? — спрашивал я ее.

— Боюсь, — говорит, — генеральшу очень.

— Ругается?

— Нет, ругаться не ругается. И коли разобьешь что, не вычитает.

— Так чего же ты, глупая, боишься?

— Да рояль у них, говорит, сам собою играет. А то простыня по комнатам ходить пойдет.

Девка же эта, скажу вам, у господ раньше не служила и выдумать это от себя — ума бы у нее никогда не хватило.

Однако же, вскорости другая к ним нанялась. Вдова одна, степенная и в летах. От той разговору никакого не было.

В конце Успенского поста узнал я, что с генералом плохо: кондрашка, доктор сказал, егохватила.

Потом, через день, через два является ко мне Константин Кириллович.

— Панихиду, — говорит, — заказать пришел, и относительно похорон.

— Нешто помер генерал?

— Помер.

— Когда же?

— Этой ночью.

— Та-ак! Причастить вам его, — говорю, — перед смертью-то следовало бы.

Он глаза в сторону отвел. Кривится весь как-то.

— Я, — говорит, — здесь, в общем, не распоряжаюсь. Зоя же Сергеевна касательно этих вопросов взглядов придерживается собственных. Но теперь я уже решил взять инициативу на себя.

Ну, сговорились. Часу этак в восьмом иду к ним. Встречает меня все тот же Константин Кириллович. Смущен совершенно, мнетя, говорит вполголоса.

— Али започивали? — спрашиваю.

— Нет, она не спит: ей нехорошо.

— Что такое "нехорошо?" — думаю.

— Убиваются очень?

В это время из соседней комнаты крик послышался: "Кто это? Зачем?" Константин Кириллович спешно дверь притворил.

— Это, — бормочет, — ничего, ничего. Вы, батюшка, сделайте милость, не обращайтесь внимания, служите.

— Где же он у вас?

Ведет меня с псаломщиком через большую комнату. Беспорядок, я вам скажу, невиданный. Под обеденным столом туфли дамские ночные валяются. Посуда, кушанье — не прибраны. А уж накурено — не продохнешь.

Входим в соседнюю комнату. Что же вижу? Покойник — в

чем смерть застала — на кровати, руки раскидавши, лежит. Седые волосы дыбом. Глаза пялит. Глядеть страшно. Отродясь такого покойника не видал.

— Что же вы его не прибрали? — сказал я довольно-таки строго. — Священника на такое безобразие звать не стесняетесь.

— Извините, — он мне говорит совершенно смиренно. — Не мог, — говорит, — заставить себя войти. Вот только с Вами сейчас и решился.

— Ну, а ее превосходительство?

— Ах, — говорит, — если бы Вы знали, что с нею делается: целые почти сутки я с нею вожусь.

— Наконец-таки, полагаю, прислуга у вас имеется.

— Горничная, — говорит, — как только это случилось, с первым поездом в город уехала. А кухарка, деревенская, здешняя, та еще раньше на деревню к себе убежала.

Посмотрел я на него. "Ой, лжешь, — думаю, — чего бы им обоим вдруг удрать". Да вспомнил, как девка про рояль и про простыню рассказывала... Ну и дела у вас тут, господа мои, творятся!

Сбегал псаломщик на погост за свояченицей. Вдвоем они кое-как убрали беднягу.

Начали панихиду петь. Вот как повернулся это я, чтобы кадить, лицом-то, стало быть, к предстоящим, коих, как сказал, всего двое при начале панихиды было, Константин Кириллович и псаломщикова свояченица, вдруг, гляжу, стоит возле двери генеральша. Совершенно, знаете, черная она мне с лица показалась. Стоит плечом к косяку, шаль на ней пестрая (это на панихиду по мужу-то!) и, представьте себе, усмехается. Зубы даже видны. Оскалилась. Как я эту панихиду дослужил, уж и сам не знаю. А кончил, посмотрел — нет ее. Вышли в столовую — и там никого.

— Что ж, генеральша-то, — говорю ему, Константину-то Кирилловичу, — видать ничего, в добром здоровье? Даже удивила меня, признаться.

— Ах, — он мне с сокрушением таким, — прошу Вас, не обращайтесь внимания, она несчастная, совершенно больная женщина.

— Та-ак!

Вышли мы с ним на террасу, постояли.

— А Вы, верно, близки с генералом были? — спрашиваю.

— Нет, его лично я знал мало. А почему Вы спросили? — И опять волнуется весь.

— Так. Смотрю, расстроены уж очень.

Помолчал он. Потом с запинкой, неохотно как бы:

— Да... Эта смерть меня чрезвычайно поразила.

— Что же, — говорю, — лета ихние. К тому же и предел, так сказать, человеку положен...

— Да, да! — Руки он этак потирает, точно озяб. — Лета, конечно... И предел... Я с Вами согласен.

Вижу, совершенно человек не в себе.

— Не хотите ли, — говорю ему, — пройтись, до погоста меня проводили бы. Вечерним воздухом подышали. А при генеральше псаломщикова свояченица посидеть может.

Он опасливо в комнаты оглянулся. Там все тихо, как вымерло.

— Что ж, — говорит, — я, пожалуй. Посмотрю вот только, как она там.

Пошел. А я стою, ожидаю.

— Спит, — говорит, — большую дозу снотворного я ей давеча дал. А женщину, что псаломщик привел, я попросил на ночь у нас остаться.

Пошли мы лесом. Уж темно становилось. Узкими полосками краснел на сосновых стволах закат.

Сначала шли молча. Я, признаться, не знал, с которой стороны мне его взять-то. Вдруг сам он заговорил и, знаете, задушевно так.

— Я, — говорит, — батюшка, Вам бесконечно обязан за Вашу доброту и снисходительность ко мне. В особенности же за то, что увели Вы меня от нее. Я... я.., — заикается даже, — я, —говорит, — эту женщину боюсь.

И так он это сказал, что и на меня страх нашел. Идем лесом. Песчаная дорога то вправо, то влево поворотит. На сосновых стволах последние полоски догорают. Молчим. Только песок под ногами хрустит.

— Как, — спрашиваю, наконец, — должно мне Вас понять? И чего, собственно, Вы опасаетесь?

А он точно спохватился:

— Нет, — говорит, — я вздор это Вам сказал. Простите, пожалуйста, батюшка, и без внимания оставьте. Я, кажется, болен: нервы не в порядке.

Чувствую, мрак какой-то от него на меня ползет.

Опять пошли молча. Вышли на луг, что перед церковью. Тихо в тот вечер было чрезвычайно. Луг от заката весь румяный. Экая благодать! А от благодати Божьего мира мрак вокруг моего спутника точно гуще кажется.

— Исповедаться Вам нужно, — сказал я тут и в самой, знаете, категорической форме. Словно приказываю ему.

Он ничего на это. Молчит, не слышал будто. Сейчас, думаю, повернет, и — назад, тем же шагом, не торопясь. Что мне тогда? Не ловить же его по лесу, не силком в церковь тащить.

Однако, того, чего опасался, не последовало. Прошли луг, поднялись косогором. А тут дорога надвое делится: направо — к церкви, налево — ко мне. Я и говорю, и в прежнем повелительном тоне.

— Извольте, — говорю, — в церковь идти, на паперти обождите. А я сейчас ключ только у сторожа возьму.

Вижу, пошел, калитка железная за ним звякнула. А я чуть ли не бегом к сторожу, взял ключ, спешу, запыхался даже. Он на паперти сидит, подпер голову рукою и ждет.

— Идемте, — говорю. А сам все сомнение имею: не допустит его враг, так или иначе, а беспрерывно помешает. Отпер церковь, вошел. Кошусь на него — идет. Вынес Евангелие, крест. Как начал молитвы читать, полегчало: вижу, наша берет.

Он головой к аналою приник, чуточку помолчал да и говорит мне вдруг. И, притом, заметьте, таким совершенно простым, ни к месту ни ко времени не подходящим тоном:

— Знаете, — говорит, — батюшка, ведь это я генерала-то убил.

Я так и остолбенел на месте.

— Помилуйте, — говорю, — от апоплексического скончались.

— Нет, — говорит, — не от апоплексического, Вы ошибаетесь. То есть ежели, — говорит, — в плане естественном на это дело взглянуть, так оно точно, что он от апоплексического; в сем

плане я, всеконечно, к смерти его непричастен. И, скажем, ежели судить меня уголовным судом, то по всем статьям выйду невиновен. Но событие, о котором Вам сообщаю, произошло, — говорит, — в ином плане. И в этом плане оказываюсь я убийцей. А судить меня будут на Страшном Христовом суде.

Мне, знаете, такого рода дела в диковину тогда были, опыта еще не имел никакого. Все же почел за благое выпросить его основательно.

— Расскажите, — говорю, — ежели можете, поподробнее. В каком, то есть, смысле Вы себя к кончине его превосходительства причастным почитаете?

— А в том, — говорит, — смысле, что я его смерти желал.

— Желать ближнему зла, особливо кончины преждевременной, разумеется, грешно, — говорю, — однако, с одного Вашего желания не стало бы.

Он посмотрел на меня взглядом, который я о сию пору не забыл.

— Напрасно, — говорит, — так полагаете. Я и сам недавно еще даже представления не имел, какая в человеческой воле страшная сила заключена. Это понять, — говорит, — только тогда возможно, как сам попробуешь. Притом же здесь, с генералом, не одна моя воля действовала. И было между нами в этом соглашение.

Вспомнил я тут петуха, о котором генеральша тогда говорила. С нами крестная сила! Да поскорее кающегося епитрахилью и накрыл.

— В усадьбу Вас, извините, не пушу, — сказал я ему, выходя из церкви. — Оставляйтесь у меня ночевать, завтра причаститесь и прямо на машину Вас доставлю. Да чтобы ноги Вашей у генеральши потом не было. Не то и в сей, и в будущей жизни пропадете.

— Это, — говорит, — я и сам хорошо понимаю.

Ну, вручил я ему молитвослов, указал предпричастные молитвы да у себя же за перегородкой на диване спать устроил.

Крепко я с ним, должно быть, замучился: как голову на подушку опустил, так и заснул крепким сном. Проснулся, однако, чуть свет, и первая мысль — о нем. Наспех оделся, бужу его. Не откликается. Заглянул за перегородку, а его нет. Постель не

смята. На подушке записка: "Простите меня, батюшка, к чаше подойти не дерзаю. Правильно Вы сказали, пропадать мне и в этой жизни, и в будущей". Не могу вам передать, в какое расстройство я через это пришел. Не допустил окаанный! Сильны-таки бесы, до того сильны, что руки у нас, немощных, иной раз опускаются.

Константина Кирилловича я больше не видел: в тот же день после обедни узнал от свояченицы псаломщика, что оба они, он и генеральша, с ранним поездом в город укатили. Покойника в брошенном доме оставили. Где ж их было отыскивать? По слухам, сейчас же за границу отправились. Ну, схоронили мы генерала; ставни, двери в опустелом доме заперли, заколотили. Прочим господин урядник занялся.

Жутко даже проезжать усадьбой, признаться, было. Особливо осенью, в ненастье. Деревенские в лес по грибы постоянно ходили. Божились потом: рояль в пустом доме играет.

Про Константина Кирилловича наводил я, спустя время, справки. Плохо бедняга кончил: застрелился в Монте-Карло, где вместе с генеральшей пребывание тогда имел. Видно и на нем она, ведьма, волю свою сконцентрировала.

Церковь о самоубийцах не молится. В частном порядке, однако, не возбраняет. До сей поры каждодневно раба Божия Константина поминаю. Равным образом и генерала. Имени-то не помню. "Упокой, Господи, душу того генерала, имя же его Ты веши". Что касается генеральши, то, представьте, поминать ее спервоначала не мог. Пробовал, неоднократно пробовал. "Нет, думаю, праведнику за такое дело браться, а мне — куда уж!" Только к старости смирил меня Господь: коли грешникам за грешников не молиться, как миру-то тогда устоять?

*(Опубликован под названием "Ведьма"
в газете "Последние новости" 11.9.1932 г.
Переработан автором в 60-70 гг.)*

Товарищ Мурин

Последнее время профессор чувствовал себя неважно. Посторонние пока не замечали. Для них он прежний: бодрый сухонький старик с умным, несколько насмешливым взглядом. Всегда занятый, всегда думающий о чем-то своем, наверное, очень ученом.

Но самого беспокоило. Появились скверные признаки: по временам — сонливость, апатия; полное равнодушие ко всему, кроме собственного состояния. А то вдруг ребяческая раздражительность из-за пустяков.

Приходилось заниматься делами домкома: ордера, десятипроцентная норма, устав жилтоварищества... "Где тут работать в этих условиях?" — утешал он себя иной раз, как ребенок соской. Но сейчас же с кислой гримасой соску выплевывал: "Дело глубже: сдавать начал, опускаюсь".

Не стоило и разговора, в сущности. Исчерпывалось точным термином "артериосклероз". Другое дело, что не совсем приятно было применять его к себе. Из предосторожности курить бросил и попросил жену председателя домкома, у которой столовался, давать ему по утрам вместо кофе — простоквашу.

От занятий с рабфаковцами, однако, не отказался, хотя и раздражали они иной раз. По крайней мере время занято: избавляло от неприятного tête à tête с самим собой.

Познакомился он с ними у председателя после заседания жилтоварищества. Слышал, впрочем, о них и раньше: недавно по ордеру вселились Цигэ и Мурин. Оба стипендиаты рабфак-овские.

Старик рылся в протоколах, когда они подошли к нему.

— Мы, товарищ профессор, имеем до Вас дело, — внушительно объявил Цигэ. Профессор посмотрел на них поверх очков. Мигом обоих оглядел, как оглядывал ископаемых в своих коллекциях. И этикетками снабдил. Цигэ — высокий, тонкий. Лицо птичье. Выражение ироническое и наглое. Из интеллигентов, и дегенерат к тому же. Мурин — приземистый, широко-костный. Лет сорока дядя. Надбровные дуги сильно развиты.

Глаза сидят глубоко, как у обезьяны. На руках, слишком длинных, больше костлявые кисти висят. Номо primigenius.

Определив, лаконически сказал:

— Слушаю.

— Мы просим разрешить явиться к Вам за необходимыми разъяснениями, — сказал Цигэ.

Хотя он и говорил "просим разрешить", но на просьбу совсем непохоже было.

Старик немного удивился. Спросил, какого рода разъяснения. Оказалось, что они просят его заняться с ними по физике. "А я думал, в подвал меня тащить собирались", — сказал он себе с усмешкой.

— Да, но дело-то в том, что я не физик.

— Это нам известно, — возразил Цигэ, — однако, я полагаю, что каждый профессор, — он для важности двоил "с", — что каждый профессор обязательно знает такую основную науку, как физика. Мы с товарищем настоятельно просим Вас уделить нам хотя бы полчаса.

— Но ведь не сегодня же? — профессор вынул часы и показал им.

— Это от Вас зависит, — снисходительно согласился Цигэ.

Сговорились на завтрашний вечер, к семи. Профессор только попросил быть точными.

— Понятно, — одобрил Цигэ, — время — деньги.

Пока говорили, Мурин все молчал. Обезьяньи глаза его, маленькие и тоскливые, шарили по лицу профессора.

Когда рабфаковцы отошли, председатель, смеясь, поздравил старика с новым знакомством.

Тот протирал очки и клал их в футляр.

— Жуткие ребята, — сказал, подмигнув.

Товарищи пришли без минуты опоздания. Потом являлись уже регулярно два раза в неделю. Они входили в единственную, шкафом и ширмами надвое разгороженную комнату профессора и усаживались, не снимая пальто и фуражек. Мурин вынимал из кармана затрепанную тетрадь и с величайшим трудом начинал разбираться в им же записанном. Похожее на морду большой обезьяны лицо его выражало сильное напряжение.

Цигэ тетрадки никогда не приносил; сидел, развальясь, закинув ногу на ногу и курил вонючую сигарку.

Видя тщетные усилия Мурина разобраться в бестолковых записках, профессор посоветовал бросить их и взять учебник.

— Обождите, товарищ профессор, — сказал Мурин и сильнее напрягся. — Свет, — прочел он, наконец, — распространяется прямолинейно. Это чем доказывается?

Он всегда требовал доказательств. На веру ничего, даже вполне очевидного, не принимал. Называлось это у него "привычкой критически мыслить".

— Да Вы видали, небось, как луч солнца в темную церковь падает, — привел профессор классический пример.

— Я в церковь не хожу, — сказал Мурин. — И почему обязательно "в церковь"? Законы физики, надо полагать, одни что для церкви, что для конюшни.

Профессор, смеясь, согласился, что, действительно, одни. Мурин остался очень доволен своей победой.

Когда приходилось слишком долго его товарищу что-нибудь растолковывать, Цигэ со скучающим видом говорил:

— Да ну ясно!

Мурин огрызался:

— Ну и молчи, коли тебе ясно! Ты, известно, в гимназии учился.

— Ничего подобного! — с возмущением опровергал Цигэ возводимое на него обвинение.

Потом в тетрадке Мурина оказывалось что-то о гальваническом токе. К гальванизму он отнесся еще более критически, чем к прямолинейному распространению света.

— Пустяки это, в общем и целом!

— Как "пустяки"? — начал раздражаться профессор.

— Позвольте. Это по учебнику Краевича, для гимназистов. А пролетарию, допустим, на что лягушачьи лапы? Какое они имеют практическое применение? Объясняли бы лучше, как звонки проводить. Физика — наука необходимая, да у товарища преподавателя производственного подхода нет.

У Цигэ мысли принимали иногда совершенно неожиданное направление. Так, слушая о вольтах и амперах, он вдруг спросил:

— А что, правда, что теперь уже придумали способ омолаживаться?

Профессор посмотрел на него поверх очков и ничего не ответил.

Цигэ скоро ходить бросил. Мурин продолжал с прежним усердием. Профессор старался растолковывать ему, горячился, но часто с сочувствием думал: "Бедняга, верно и у него склероз".

С течением времени оба как-то привыкли друг к другу. Иногда, окончив занятия, Мурин просил разрешения "посидеть маленько". Получив его, брал с полки какую-нибудь книгу потолка и начинал листать.

Иногда разговаривали. "На разные темы", — как говорил Мурин. Хотя он больше все про рабфак рассказывал. Слушать его было невесело: наука давалась тяжело. Он именно "грыз ее гранит", как, цитируя Троцкого, и сам любил говорить. А для чего она ему "сдалась" — не понимал. Чувствовалось, что все это вместе: и рабфак, и политграмота, и преподаватели, и ребята — давно ему осточертело. Только признаться, даже себе, не смел.

А то вдруг среди разговора спрашивал:

— Это кто такой — Ярус Герцинский?

— Откуда Вы взяли? — удивлялся профессор.

— Вон из той книги. Еврей что ли какой? Ученый?

Профессор смеялся:

— Нет, отложения такие.

— Это про что? Про геологию? А у нас не проходят ее. В общем и целом, программы на рабочем факультете в полной мере неудовлетворительные. Вот сегодня про антилопов товарищ преподаватель рассказывал. В Африке это. Вроде диких козлов. Целый час про них. А на какого лешего?

— Ну почему же, — вступился профессор за антилоп. — Это дает общее развитие.

Мурин обиделся:

— Чего нас развивать? Не мальчишки, небось. У станка развитие получили. Про суть дела говори: промышленность там какая, торговля. А климаты разбирать да животных — это для гимназистов.

Профессор чувствовал в нем глухое, нарастающее недовольство. Гораздо более глубокое, чем тот высказывал. Даже, может быть, чем понимал. Глядя на тесную черепную коробку Мурина, старик думал, что от разбухающих в ней смутных, неоформленных мыслей она непременно должна расползтись по швам, как расползается глиняный горшок, наполненный мокрым прорастающим горохом.

Никогда раньше профессор не имел дела с таким существом: точно и не homo sapiens вовсе. Чем он живет? Что его интересует? Вспоминая разговор о лягушачьих лапах и электрических звонках, профессор заговорил как-то на темы прикладные, "полезные". Полагал, что это-то Мурина и нужно. Но тот вдруг опять обиделся.

— Что ж, коли я мастеровым был, стало быть, мне настоящая наука не по зубам, что ли? На прежнее выходит: для господ?

Вообще он все время находился в каком-то непрерывном раздражении. И чем дальше, тем больше.

Профессор наблюдал за этим процессом с необъяснимой для себя тревогой. Иногда казалось, что происходящее в Мурине имеет какое-то отношение и к нему самому, что чем-то, очень мучительным, оба они друг с другом связаны.

Раз, придя к нему, Мурин сказал:

— Письмо из деревни получил.

— Ну, что же Вам пишут? — спросил профессор.

— Да что пишут? Жрать нечего, вот что пишут.

Профессор стал расспрашивать и узнал, что у Мурина в деревне (где-то в среднем Поволжье) отец с матерью да невестка с ребятами.

— К Пасхе дело идет, — начал Мурин, очевидно о чем-то вспоминая, — а жрать нечего. Бывало, к Пасхе на побывку приедешь, мать куличей напекет. Предрассудок, разумеется, в полной мере... Яйца тоже, бывало, красили. Луковыми перьями. Вроде как мраморные выходили. А то — лоскутьями пестрыми.

Он замолчал. Взяв со стола профессора перочинный нож, обрезал им себе ногти. Вдруг спросил:

— А что, товарищ профессор, как по-Вашему: существует Бог или же нет?

Профессор ответил не сразу. Не неожиданность вопроса его поразила, к этому привык. Показалось, напротив, что вопрос свой Мурин задает ему уже не в первый раз. Надоел с этим. Который день лезет. Но сейчас же опомнился: никогда Мурин об этом не говорил. Шевельнулось неприятное чувство. Ответил, однако, просто, как о давно решенном:

— Конечно, нет.

— Абсолютно нет! — согласился Мурин, как бы даже со злорадством на кого-то, утверждавшего противное. — И толковать не о чем. Где же ему быть, когда сначала атмосфера, а после того — межпланетный эфир и мороз в несколько сот градусов ниже нуля. Так что там ртуть замерзает и микробы не выдерживают. И притом закон постоянства материи...

Посидел и опять:

— Душа тоже, понятно, не существует: анатомия человеческого организма это в полной мере доказывает.

Профессор молчал. Прорастание гороха в этом живом горшке его пугало. И было тут еще что-то личное. Очень тяжелое.

— Для нас, — убеждая не столько профессора, сколько себя, продолжал Мурин, — марксизм в самую точку: просто, и понять даже который необразованный совершенно может. А об этом обо всем если думать, с ума, безусловно, спятишь.

— Так Вы и не думайте, — посоветовал профессор.

— Само лезет, — мрачно отозвался Мурин и глаза отвел. — Что ж, видно, идти пора, — прибавил.

Профессор не удерживал. Разговор раздражал его. И, странно, все время казалось, что уже много раз бесплодно и утомительно рассуждали они об этом.

Разговаривать "на разные темы" Мурин скоро перестал; кончив занятия, спешил каждый раз уходить, к занятиям прежнего рвения уже не обнаруживал.

Зоркий глаз старика видел, что "прорастание гороха" продолжается. Да и новое что-то у Мурина появилось. Но на осторожные вопросы профессора он мрачно отвечал: "Плевать!" или: "Вздор все это!"

— Больше к Вам не приду! — наконец, объявил.

— Что так?

— Да что, все равно попрут меня с факультета. Цигэ говорит: "В ячейке про тебя разговор был. Политически ты безграмотный, и идеология у тебя неправильная".

— Ну, может быть, еще и не исключат, — утешал профессор.

— Нет уж, раз в ячейке разговор был, значит крышка. Кабы по наукам, так ничего: могут на другой год оставить. А за идеологию обязательно попрут. Наплевать. Плакать не стану.

Так и исчез Мурин. Неделю не показывался. Профессор, вспоминая о нем, чувствовал беспокойство. Встретив на лестнице Цигэ, спросил, что с его товарищем.

Тот презрительно усмехнулся:

— В деревню его понесло. А Вам что? Отвязался — и радуйтесь. Что Вы с ним возитесь? У него вместо башки тыква пустая.

Но дело для профессора было именно в том, что Мурин от него вовсе не отвязался, напротив: никогда связь между ними не мучила его так, как теперь.

Недели через три тот же Цигэ сообщил ему, что Мурин из деревни вернулся, но на рабфак не ходит, а лежит у себя на кровати и молчит. Говоря это, Цигэ постучал себя по лбу:

— На чердаке неладно. И раньше не все дома были, а теперь, как вернулся, и вовсе.

Профессор решил, что надо пойти провести Мурина. Однако, в этот день не пошел. Очень мучительно было ему теперь думать о Мурине. То, что происходило с Муриным, имело, ведь, прямое отношение к его собственному беспокойству, к тупой боли в затылке, к мыслям о смерти.

На другой день, встав по обыкновению в 6 часов, он почувствовал внезапное головокружение. Это встревожило. При его регулярном образе жизни недомогание нельзя было объяснить "погрешностями режима". "Дело дрянь", — подумал. Все же отправился в университет, прочел двухчасовую лекцию и домой пошел пешком. Недомогание не возвращалось. Но он о нем все время думал. И опять в его голове оно связывалось с Муриным.

Неожиданно поймал себя на вздорной мысли: что, если бы оба они, он и Мурин, теперь умерли, то была ли бы их судьба в

дальнейшем совершенно одинакова? Он именно поймал себя на этом "в дальнейшем". Со школьной скамьи знал, что "дальнейшее" состоит в процессах распада белка и в развитии гнилостных бактерий. А теперь ему показалось вдруг обидным, что обладающий, конечно, множеством извилин мозг его подвергнется одной участи с "пустой тыквой" Мурина.

Со странным отвращением вспомнил он свою комнату, кровать. Кровать — особенно. За обедом почти ничего не ел. После обеда, не заходя к себе, поехал к знакомому в Петровское-Разумовское. Знакомого не застал, часа два пробродил по пустому, голому в этот хмурый мартовский день парку.

К нему опять пристал его всегдашний собеседник Мурин. Мурин, залезший в него и обязательно желавший "разговаривать на разные темы". Он задавал поражавшие своею неожиданностью вопросы, сами по себе значительные, но в его трактовке нелепые и смешные. Профессор возражал как-то неудачно. Бестолковый этот разговор вконец его измучил.

Начинало темнеть. Не ночевать же в парке; он сел опять в трамвай. Поднимаясь к себе, вспомнил, что нужно зайти к Мурину. "Нет, не пойду". Мурина и всего с ним связанного он боялся даже больше своей комнаты, больше кровати.

У себя он пробыл всего несколько минут: здесь было хуже всего, прямо невыносимо. Спустился к председателю. Его ждали с ужином. Аппетита не было, ел, однако, торопливо. Эту болезненную торопливость производила в нем все нарастающая тревога. От чая отказался; продолжая почему-то спешить, опять поднялся к себе. Тут заметил, что, уходя к председателю, забыл запереть свою дверь. "Рассеянность, симптом". Вошел, повернул выключатель. За его письменным столом сидел Мурин.

Ничего не было особенного в том, что он, Мурин, не зажигая света, сидел здесь. Но профессор вздрогнул.

— Думал, Вы ненадолго куда, вот и дожидаясь, — сказал Мурин. Лицо его показалось профессору странно изменившимся. Сходство с обезьяной исчезло. Он исхудал. Угловатые кости челюсти и скул выдались сильнее. Белки пожелтели, а лицо стало бурым, "землею тронулось". И было теперь в этом лице что-то, напоминающее мрачные лики старинных икон.

— Где Вы пропадали? — стараясь казаться спокойным, спросил профессор.

— В деревню ездил.

— А рабфак-то как?

— Что "рабфак"? Рабфак — ничего, на своем месте.

Мурин говорил не грубо, а как-то раздумчиво, с остановками.

— Вычистили меня, — прибавил, — но это, в полной мере, несущественно.

Замолчал. Старик тоже молчал; спросить о деревне боялся.

— Я Вас вот для чего, собственно, ждал, — с усилием заговорил опять Мурин. Глядел в сторону.

— В чем дело, голубчик? — мягко спросил профессор. Страх сменился в нем болезненной жалостью. Он подсел к Муруну и положил на его плечо руку.

— Это вот именно относительно зоологии, — избегая его взгляда, начал Мурин. — Хотя не по Вашей части, однако, наверно, знаете. Я до сих пор полагал, что медведь относится к разряду хищников.

Профессор снял руку с плеча Мурина.

— Ну да, хищник, — ответил, оторопев.

— Вот. И я это самое. А Цигэ говорит: "Ничего подобного. Медведи ягодами и медом питаются".

— Может быть, они и ягоды едят. Да на что Вам это теперь вдруг?

— Позвольте. Я еще не кончил. Вы говорите — "и ягодами". А я желаю знать, может ли медведь питаться исключительно растительной пищей. Притом — не причиняя вреда. А кормить, заметьте, из рук.

"Не все дома", — вспомнил профессор.

— Это зависит... — начал он.

— От чего зависит? — с вызовом прервал Мурин. — Нет, Вы прямо скажите, без всяких. Вопрос в полной мере ясен.

Профессор начал раздражаться.

— На это нельзя ответить прямо. Надо знать обстоятельства. Во-первых, где это было? Вы, верно, в "Известиях" прочли?

— Нет, не в "Известиях". Да это дела не меняет, где бы ни прочел.

— Ну, хорошо. Что же, это в зоологическом саду, что ли, было или у Дурова?

— Нет, не в зоологическом и не у Дурова. Где было — факт тоже в полной мере несущественный. В лесу было. Просто-напросто — в лесу. Нет, позвольте! Допустим, примерно, так: иду я или хоть Вы, все равно кто, по лесу и встречаю медведя. Весной ранней, заметьте. Медведь голодный. Оружия при Вас нет. И вот Вы вынули из кармана кусок нарочно для того случая припасенного хлеба да и подаете его косолапому. Точно это не медведь, а собака. Что в таком случае должно произойти, логически рассуждая?

Профессор глядел на него молча и опасливо. Во время рассказа о медведе он все время думал, что Мурин действительно, должно быть, сходит с ума.

— Для меня лично дело решается очень просто, — в прежнем тоне продолжал тот. — Если учесть все привходящие обстоятельства — медведь голодный, Вы без оружия, людей кругом нет, — то и получается как логическое следствие: медведь навалится на Вас и задерет. *Тот* к тому же дряхлый старик был, мускульной силой не обладал. Так что другого следствия данных предпосылок произойти не могло.

”Логичен, как все сумасшедшие”, — пронеслось в голове профессора.

Оба довольно долго молчали.

— Вижу, товарищ профессор, что возразить Вам нечего, — с горьким упреком сказал, наконец, Мурин.

Профессор пожал плечами.

— Ну вот. Я это, собственно, и хотел вполне уяснить.

Мурин тяжело поднялся.

— Неужели Вы дожидались меня здесь только затем, чтобы про этого медведя спросить? — вырвалось у профессора.

— Да, за этим.

— И больше Вам от меня ничего не нужно?

— Больше ничего, — машинально подтвердил Мурин.

У двери он, однако, остановился. Сосредоточенно во что-то вникая, сказал:

— И заметьте, товарищ профессор, что это не единственный случай. Имеются факты еще более невероятные.

Он взялся, было, за ручку двери, но, подумав, опять отпустил.

— Цигэ, тот тоже, вот как и Вы, по теории Дарвина возражает.

Профессор хотел сказать, что он о Дарвине ничего не говорил. Но Мурин перебил его:

— Дарвин, Цигэ говорит, так сказать, Маркс животного царства, отыскал его закон. Потому что и там борьба и взаимное истребление. А эти рассказы про стариков с медведями — прекраснодушие, больше ничего. Противоречие научным фактам.

На этот раз он уже решительно отворил дверь. Профессор опять почувствовал острую, совершенно нестерпимую жалость.

— Да постойте, — пробормотал он, — куда же Вы, Мурин, у Вас, верно, неладно там, в деревне.

В лице Мурина что-то сдвинулось.

— Никого не застал, — глядя в пол, ответил. — Невестка, жена брата, та еще раньше с ребятами уехала.

Профессор взял его за локоть и опять подвел к стулу.

Тот машинально сел.

— Главная вещь, что я письма не получил, — начал, как бы в чем-то оправдываясь. — Прихожу, изба заперта. Соседка — пухлая вся, точно водой ее накачали — "Ключ у председателя", — говорит. Вот, значит, что! Как обухом меня, в общем и целом. Пошел к председателю. Подает мне ключ. — "Иван Семенович, ну как они ... отец, мать, а?" — "Чего, — говорит, — спрашиваешь? Известно, как другие, так и они. На той неделе снесли". Только и разговору. Прихожу в избу опять. Отпер. Дух в ней тяжелый. Не прибрано. Тряпье по скамьям, сор. В котле на печи кислятина какая-то. Ели они это, видно. Лег на лавку под образами. К вечеру есть захотел. Попробовал той кислятины, с души прет. Лег опять. Так — до ночи.

Мурин говорил медленно, почти без выражения. Не так, как рассказывают, а как говорит сам с собою человек, крепко задумавшийся.

— Прележал бы так и дольше, да баба помешала. — Он усмехнулся.

— Какая баба? — осторожно спросил профессор.

— Пахомиха, — ответил Мурин таким тоном, будто напоминал профессору эту хорошо ему известную женщину. —

— "Здравствуй, — говорит, — сынок. Насчет, — говорит, — родителей покойных, то ты без сумления будь: все как надоть быть исделано. И за упокой вписаны". — "Нужно мне!" — Покрестилась на икону, пошептала чего-то. — "Пойдем, — говорит, — сынок, отсюда, нехорошо тебе тут быть". — "Убирайся! Разве не видишь, больной я".

Посмотрела на меня. У родной матери не упомяну таких жалостливых глаз. — "Никакой, — говорит, — в тебе болести нету. А только встосковался ты. Да и как, — говорит, — не встосковаться такому, как ты, на смерть-то гляючи: больно уж много вы худого натворили. Страшно, поди, умирать-то?"

Мурин помолчал. Губы его кривила презрительная усмешка: — Знахарка она, баба-то эта. Заместо доктора у них. По покойникам тоже читает. До революции по монастырям все шлялась, богомолкой была. Несознательная, понятно, старый режим защищает. И за Бога своего горой. Ну и пошла, значит, про это. Про Бога, то есть, да про загробную жизнь. Плела, плела. Надоела мне. — "Коли желаешь знать, — говорю, — то и Бога не существует вовсе. Ничего, — говорю, — не поделаешь. Я, может, и сам не рад. Мне, может, и самому это тошно. А только против науки не попрешь: доказано". "Да что, думаю, — с душой толковать", — обозлила она меня. "Пойди ты, — говорю, — пожалуйста, к чертовой матери! Авось, и без тебя издохну как-нибудь". "Ничего, — говорит, — сынок, Бог милостив". "Что-то не видал я Его милостей. Когда и верил в Него, так не видал. А теперь и вовсе отношусь к этому пред-рассудку в полной мере отрицательно". Ну, словом, калил ее, как не надо лучше. Так ведь, что думаете, не уходит! Упрямая баба. Образок на меня навесить хотела. Да я его — в окошко. Прямо в крапиву. Пошла, достала, обтирает своего угодника об юбку. "За что, — говорит, — ты преподобного обидел? Он, — говорит, — праведник. А ты кто? Ты, говорит, кроме пакостей всю жисть, может, ничего не делал: водку глушил, сквернословил, ругался. Одних девок, небось, сколько перепортил. Бесстыдники вы все!" — "Перепортил", — экая дура. — "Чисто силком я их: сами лезут". "А это, — говорит, — веры не стало, оттого и девки нынче такие гулящие. Была вера, то и люди как надоть, по Божьему жили. И святые были. А теперь, по вашим делам, и

святых Бог посылать гнушается". "Ладно, — говорю, — ври больше, "гнушается". Никто их, — говорю, — никогда не видал, святых-то твоих". Вот тут она мне про этого самого преподобного, что медведя из рук кормил, и начала. Любопытно! Но, безусловно, слишком много несообразного. С марксизмом ни в какой мере не идет. И смерть-то он, будто, людям предрекал, и больных исцелял, и в затворе 15 лет высидел на воде да на просфорах. Не знаю, как на Ваш взгляд: возможно это для организма или же нет? А главная вещь вот еще что: когда этот старец ее молился, то будто бы от земли поднимался. На аршин и больше. А уж это закону всемирного тяготения вовсе вразрез. Это я теперь так рассуждаю, тогда же критически мыслить не мог. А ну, думаю, как правда? Кто его знает? Тут, безусловно, причина в расстройстве, которое со мною тогда было. А она и рада, что слушаю. Ведь до чего, наконец, довралась. "Однажды, — говорит, — Богородица ему сухариков принесла. Бе-лые сухарики, чисто тебе снег. И до того сладкие, что никакой мед не сравняется". Ну не вздор разве последний?

— Разумеется, вздор! — с сердцем сказал профессор.

Мурин насупился. Маленькие глаза его ушли глубже, стали подозрительными и злыми.

— А Вы почему знаете, что вздор? — спросил он глухо. — Небось, не пишут про это в геологии-то вашей. То-то! — Он встал. — А что, облегчает она, геология то есть?

— Как "облегчает"? — в полной растерянности спросил профессор. Мурин не ответил и пошел вон.

Когда он вышел, профессор почувствовал себя совершенно разбитым. Однако не лег. Из вороха книг и бумаг вытащил недочитанную брошюру, сел к столу, попробовал читать. Но не мог. Мурин опять не давал ему покоя. "Нельзя было отпускать его, — подумал. — Ведь очевидно, что с ума человек сходит... Да мне-то что? Чем я с ним, наконец, связан? Никакого мне дела нет ни до него, ни до преподобного, ни до сухариков. — Он раздраженно усмехнулся. — Какой вздор, какая невероятная чепуха!" Посидел с минуту, глядя в брошюру. Потом бросил ее, встал. "Нет, так оставить нельзя".

Вышел в коридор. Коридором в переднюю, оттуда по

лестнице в верхнюю квартиру. Она, по обыкновению, была не заперта. Перед дверью рабфаковцев остановился.

— Можно к вам? — спросил.

Никто не ответил. Он отворил дверь.

Одинокая электрическая лампочка без абажура слабо освещала неопрятную тесную комнату, в которой, друг против друга, стояли две железные койки. На одной из них лицом к стене лежал Мурин. Цигэ в комнате не было.

— Вы не спите, Мурин? — вполголоса спросил профессор.

Тот не ответил, даже не шевельнулся.

Старик подошел к его койке и сел в ногах.

— Слушайте, Мурин, — начал он, помолчав. Старался говорить спокойно, но часто, задыхаясь, останавливался. — Мне хочется все-таки продолжить наш разговор. Вы сейчас в таком состоянии...

— Кто к нему ни приди, все у него "радость моя". Всех так и звал. А наши ребята больше матом кроют. — Мурин произнес это, не поворачиваясь к профессору, вовсе даже к нему не обращаясь.

— Нет, подождите, давайте говорить спокойно, — начал старик.

— "Радость!" — продолжая игнорировать его присутствие, с горечью произнес Мурин. — Да за что? Вот главная вещь, за что? Ведь сволочи все, в полной мере!

— Я не знаю, почему рассказы этой женщины так Вас поразили, — стараясь втиснуться в разговор, сказал профессор. — Ведь тут ничего нового для Вас нет. Все эти... Ну, хоть Евангелие, например, взять: там то же самое.

— Для чего пустое? Сами не верите! — заметив, наконец, профессора, пренебрежительно перебил Мурин. — Евангелие! Вот Цигэ говорит, доказано, что это больше ничего, как миф солнца. Даже Богородица и та заимствована у египтян. Богиня ихняя какая-то, оказывается.

— Почему же Вы не хотите допустить, что и этот чудотворец тоже миф и у египтян заимствован?

Почувствовав иронию, Мурин повернулся к профессору, посмотрел враждебно:

— У каких египтян, когда бабка этой женщины его своими глазами видела?

— Эпоха не меняет дела, — заметил профессор. — Тяга к мифотворчеству в народе всегда сильна. Вот Вы говорите "исцелял". Но надо представить себе обстановку. К нему, к этому старцу, как ко всякому знахарю, приводили, конечно, множество больных. Он благословлял их или, я уж не знаю как там, прикасался, что ли, читал молитвы. Кругом толпа, всем хочется чуда. Все ждут, что вот-вот оно совершится. Прежде всех ждет этого, конечно, сам больной. Ему начинает казаться, что он меньше страдает, что ему лучше. Он плачет от радости, женщины голосят. Вот Вам и чудо. Потом все говорят, что "своими глазами видели". Наконец, у параличных и у других на нервной почве, под влиянием сильного потрясения и действительно может наступить исцеление. Тут самовнушение, массовый гипноз.

Мурин нахмурился. Объяснение профессора его, казалось, поразило.

— А что на аршин от земли поднимался? — спросил он нетвердо.

— Ну это-то уж, разумеется, простая галлюцинация! Мало ли что может показаться людям впечатлительным, нервным, особенно истеричным женщинам, так называемым кликушам, которые таких старцев обычно окружают. — Почувствовав, что тот сдается, профессор опять вполне овладел мыслями. — Вы поймите, истеричка или визионер не лгут, они действительно видят. Но уравновешенный человек, тут же присутствующий, ровно ничего сверхестественного не увидит.

— Сумасшедшие, стало быть, напридумывали? — с каким-то вымученным злорадством спросил Мурин.

— Ну, не сумасшедшие, но... Явления эти — религиозного экстаза там и прочее — несомненно патологические.

— Как? — глухо переспросил Мурин.

— Патологические, то есть ненормальные, болезненные.

Мурин, опустив глаза, довольно долго молчал. Потом вдруг поднял их и уставился на профессора с дикой, совершенно нескрываемой ненавистью.

— Это по науке? — спросил сдавленным шепотом. — Ну, и... провались со своей наукой! — Он прибавил отвратительное,

грубое ругательство. Произнес его совершенно отдельно и внятно, будто клеймил им профессора. Потом повернулся к нему спиной и лег в прежнее положение.

Первые секунды старик, пораженный оскорблением, продолжал сидеть на краю койки. Опомившись, вскочил и бросился из комнаты.

Войдя к себе, он в тупом недоумении остановился перед письменным столом. Трясущимися руками бессознательно начал переставлять на нем предметы, переключивать бумаги. Мысли, то появляясь в сознании, то из него выпадая, мешались. "За что он меня? Я... я хотел помочь. Сам же он все поддакивал, а потом вдруг: "Камень вместо хлеба даешь!". Я согласен, я совсем не собираюсь спорить: да, камень... Затылок нестерпимо болит... Про камень — вздор... Головная боль — от склероза. Надо опять йод принимать... Мурин про загробную жизнь, а я ему: "Йод принимай!"

Продолжая рыться в производимом им на столе беспорядке, профессор, торопясь и раздражаясь, сам не знал, что в нем разыскивал. "Мучительная неразбериха!" Под руку попалась брошюра, которую он читал прежде, чем пошел к Мурину. Он ухватился за нее, как за спасательный круг. Все по-прежнему бестолково торопясь, придвинул кресло, сел, открыл на заложенной странице.

"Горообразующие процессы третичного периода сказываются здесь, главным образом..."

Он держал брошюру, вцепившись в нее обеими руками; бормотал слова вполголоса, точно наизусть твердил, делал невероятные усилия понять; перестать не смел, хотя и было уже очевидно, что ученые слова-заклинания, которыми он привык ограждать себя от *того, муринского*, на этот раз оказывались бессильными.

Минутами, не выпуская из рук брошюры, он, предельно измученный, задремывал. Просыпался. Задремывал опять. В этом непрерывном чередовании неполного сна и неполного бодрствования была особая, нестерпимая пытка.

Внезапный сильный стук заставил его вздрогнуть. Прислу-

шался: в коридоре голоса, шум. Отчаянный стук в дверь повторился. Он оцепенел и ждал.

— Профессор, отворите! — прокричал возбужденный голос председателя. — Мурин повесился!

*(Опубликован в газете
"Последние новости" 18.5.1929 г.
Переработан автором в 60-70 гг.)*

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе.

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250

Валерий Перелешин

Еще скажу

Еще скажу о колдуне-поэте:
Разливы рек, чуму, войну миров
Он распалит в горниле жестких слов
И охладит в расчетливом сонете.

Сам ни при чем, а все-таки в ответе
За каждого, утратившего кров,
За боль, за стон, хотя таких даров
Не значилось в первоначальной смете.

В одну строку все мировое зло,
В десяток цифр — гнетущее число
Умученных вместит, найдет причину

Гнев ангелов и фурий-озорниц? —
И в зеркале сведет наполовину
Разгульный блеск рифмованных зарниц.

Бессонница ветра

У ветра сегодня бессонница,
У ливня нынче поминки,
И пальма в отчаяньи клонится,
Измятая на поединке.

Не спится. Давно перелистаны
Записки беглого сна:
Наскоками бури освистаны
Камин, журнал и луна.

Седина в бороду?

Зачем-то я лечился у врачей
По трижды в год от легочных болезней
И не умел молиться горячей,
Чтоб лекарь был как можно бесполезней.

Страшил меня призыв Господень: вдруг
Протиснуться в заветные ворота,
И уступал спасительный недуг
Дегтярному обстрелу креозота.

Излеченный, я в старости нелеп:
Давно душа полеты разлюбила,
А тлен вокруг — такой роскошный склеп,
Что, кажется — Версаль, а не могила,

И я, хотя на празднествах зевал,
Купил билет на пестрый карнавал!

Олег Ильинский

Фея Франции

Подруга ласточек и мастерица сказок,
О, фея Франции, художница чудес,
Ты вновь являешься в негданных проказах
Алмазной выходкой и с логикой вразрез.
В полетах замковых я эхо позову
И получу в ответ орбиту золотую,
Веселый голос твой, звучащий, как "ау!",
И острый колпачок, и легкий трен из тюля.
Поля луарские оконным хрусталем
Тебя через века блаженно узнавали
В лицо, прозрачное, как стрелчатый полет,
Как сон предутренний, как радуга живая.
Умела ворожить под звук веретена,
Предстать то девочкой, то сгорбленной старушкой
И берегла стрижей высокого окна
И невидимкою бывала на пирушках.
Чтоб засух не было, чтоб град не бил хлебов
Умела доглядеть, мешая жизнь с игрою,
Блюсти с улыбкою гостеприимный кров,
Соткать приданое и две судьбы устроить.
Ты кормишь лебедей на солнечном пруде
Вечерний облик твой любого счастья краше,
И мы купаемся, как в солнечной воде,
В цветных фантазиях занятнее витражей.
Ты знала, как растут и созревают вина
Зато и твой народ тебя не забывал,
Но вот кудесница амбара и овина
Пришла инкогнито на королевский бал.
И там, как водится, в простом своем наряде
Была жемчужиной на пестром маскараде.

А в ночь июньскую, в час света и свободы,
Когда падет роса и луч зари остер,
Ты будешь танцевать, вмешавшись в хороводы,
И легче быстрых нимф скакать через костер.
Следов не оставлять на утренней траве.
Перро мне сказывал — ведь мне Перро — приятель
Что феи Бельгии завидуют тебе —
Но этот ваш домашний спор — понятен,

1985 г.

Марина Темкина

*Семь подстрочников из рыцарских времен**

Солнце выходит, как выводок цыплячий,
копошится в траве, клюет росу,
под дерево, где ты спал эту ночь со служанкой
с медовыми волосами, проникает утро,
стряхнув с небосвода остатки вчерашнего пира:
звездные крошки, лунный след от копыта.
Досады ночной как не бывало. Кто, как не ты,
искушен в ремесле отлова лакомой дичи,
чем поживиться, чем и развлечься.
Больше похожи служанки одна на другую,
чем два восхода любые. Этим и держится
верхняя балка миропорядка, Божий птичник;
только вздорное сердце квохчет.

II

Из того, что мы говорили с тобой друг другу,
сокровенных мыслей никто не узнает;
то даровано было судьбой мгновенье
на то надежды, что не сбывается никогда,
его и растянем на весь остаток пути земного;
странно нами она распорядилась.
Тот один лишь любовью владеет, кто сам и любит,
каждый своею, единственный мой, не одною и той же;
и у каждого есть свои собственные обеты;

* Этим циклом как посильным дополнением к сборнику статей коллег и учеников проф. Матвея Александровича Гуковского, посвященному его — также и моего учителя — памяти ("Культура эпохи Возрождения", АН СССР, "Наука", Ленинград, 1986), хотелось бы принять участие автору.

ты не можешь нарушить свои, чего ж от меня ожидаешь?
Грустна моя жизнь, но и твоя обошлась с тобою нещадно.
Раз искать ее отправляешься, на славу благословляю,
а сама я на женскую половину теперь отправлюсь.

III

Как она раскричалась, когда ты стал собираться!
— "Чтоб ты, обманщик поганый, лишился мужеской силы...
чтоб твой ослиный доспех с причиндалами
ржавчиною покрывался с коростою вместе...
чтобы при виде женщин трясушка тебя разбирала
с волдырями... чтоб ты мои проклятия слышал,
удесятеренные эхом, и обдeldывался от страха...
чтобы глотком вина захлебывался, косточкой
от маслины давился, чтоб не пилось, не елось
тебе, трусливый, от подавиться боязни...
чтоб попадал ты в капкан для зверя,
что сам расставляешь, как я попалась, дурища...
чтоб обо всем плохом, что с тобой случится,
молва доносила, а я упиваться буду злорадно..."

IV

Так истошно она сопровождала прощанье, пока ты
облачался невозмутимо с помощью оруженосца,
расторопного не слишком. Вот уж кто наслаждался!
он да еще ваганты за животы держались:
"Вот так деваха, Santa Maria, amara mea,
вот перец!" — "Мед... пасечнику тому, кого до сот
допускает", — осадил их умница-карлик,
дурик придворный в колпаке с бубенцом дурацким.
Видно, жалеет беднягу, как бы она не рехнулась.
Тут школяры, изнемогши от воображенья:
"Ты, огрызок, все равно не достанешь, если б
пустила!" — вот с кем и мне веселее: те да этот,
с ними перезимуем, лишь по весне удалятся.
Вести раньше Пасхальной ярмарки не доходят.

V

Лес зимой, словно в кузне подмастерье-
чеканщик, испещряя бездумно пустоты,
зачеркивает деревьев рисунок,
чтоб зачернилось плотно, осатанев
от белым окоченевшего поля.

Но если смотреть с дороги, ели
приседают одна за другой, крупноруки,
как матроны на рождественском празднике в замке;
хвойный их ворс промерзший пахнет
снежком, имбирным пряником, свечкой.
Ближе подъедешь: у башенного моста
топчется сторож в овечьей рябой мерлушке,
при нем под снегом фураж; пережидает,
пока проедет охотничий выезд княжий.

VI

Рукодельничала, нарисовав твой знак с моим
знаком Зодиака на лазоревом атласе из Лукки
и, чтоб незаметно было, с другими знаками тоже.
Бралась за лютню. Вечером для гостей
князя-супруга, с охоты вернувшихся,
буду петь новую песню и старые песни тоже.
Потом выходила смотреть, как снег уж в который раз
твои следы засыпает и как недавняя наша крикуша
под редкие хлопья свой опять опухший нос
подставляет, и карлик тут же, за юбку
ее держась, дрожит и мерзнет, но не уходит;
а мне так нечего вспоминать, нечего вспомнить.
Наверху посреди двора на коньке колодца
химера, она смеется, не то что мы трое.

VII

Из того, что не сбудется,
хотелось не так уж и много:
возвращаться с тобою откуда-то
в темноте, открывающей заповедник
обездоленности всего земного,
вместе с жалостью смертельной
нежности край непочатый
расходуя друг на друга
на траве, сиротливо качающей
нас, не оставивших за собою
ни прав на что-либо, ни стен,
чтоб на них оглянуться,
ни тех, кто бы спетые нашими голосами
песнопения помнил.

DIES CANICULARES

Было лето. Были dies caniculares, и солнце стояло под знаком Большого Пса. Я сидел на площади в Мюнхене и думал о том, как я сидел на площади Пуэрта де ля Паз в Барселоне. Колумб стоял на колонне, как святой Симеон, и показывал рукой... Нет, святой Симеон бы показывал вверх или вниз, где тогда были рай и ад. Высота и глубина Колумба не интересовали, его интересовали длина и ширина, и поэтому он показывал по направлению к морю.

Я был очень старый, и жить мне не было никакой необходимости. Собственно, жить не было никому никакой необходимости, но раз уж человек жил, ему нужно было что-нибудь делать. Над входом в барселонский морской музей было ясно написано: "Navegar es necesario. Vivir no es necesario". Но я все-таки жил, хотя жить мне не было никакой необходимости, и чтобы что-нибудь делать, я путешествовал, сидел на скамейках в Испании, во Франции, в Италии, всюду, где были скамейки и где можно было увидеть что-нибудь интересное. Странно, но в Германии я никогда не думал о Германии, во Франции — о Франции, в Испании — об Испании. Я думал всегда только о том, что я уже видел. Это были, вероятно, запоздалые рефлексy, но они были очень приятные и удобные по сравнению с преждевременными рефлексами пророков, которые видят то, чего еще нет и поэтому должны возмущаться.

Рядом со мной сел пожилой человек в темных очках и соломенной шляпе. Он посмотрел на меня задумчиво и сказал:

— Запоздалые рефлексy — это отговорка, милостивый государь. Вы любите пить вино и не любите виноградный сок.

Было жарко, и солнце стояло под знаком Большого Пса.

— Не говорите глупости, — сказал я раздраженно, — причем здесь какой-то виноградный сок?

— Ваши впечатления в Германии, во Франции и так далее — сырые, как виноградный сок. Он должен созреть, чтобы стать настоящим вином.

Было жарко. Было лето. Я сидел в Германии и думал о том, как я сидел на площади Пуэрта де ля Паз в Барселоне. Это было очень приятно. Мне не хотелось думать о Германии.

— Мне очень жарко, — сказал я. — Солнце стоит под знаком Большого Пса, и мне не хочется разговаривать. Не можете ли Вы немножко помолчать?

— Пожалуйста, я помолчу, если это Вам доставляет удовольствие, — сказал человек в соломенной шляпе. — Но я должен Вас все-таки предупредить, что укладывать визуальные впечатления в подсознание не всегда практично. Я, например, вижу все, и я вижу все чертовски хорошо. Посмотрите, вон там едет поливочная машина, и она нас непременно польет, если мы здесь останемся.

Это была действительно поливочная машина. Она ехала медленно и поливала площадь. Мы встали, отошли за дерево и стали ждать. Площадь была маленькая, с красивым фонтаном в стиле барокко, с развесистой липой и со скамейкой, на которой мы только что сидели. Кругом стояли старые почтенные приземистые дома. Собственно, не все дома были старые и почтенные. Один, на углу, был совершенно новый, пятиэтажный, с широкими окнами и со стеклянным входом, над которым было написано изящными золотыми буквами: "Дом для престарелых".

Поливочная машина уехала. Мы вытерли носовыми платками мокрую скамейку и сели. Человек в соломенной шляпе спросил:

— Вы действительно не видели эту поливочную машину?

— Я ее увижу в Цюрихе, в Кембридже или в Риме, — сказал я сердито, потому что было жарко, и мне не хотелось разговаривать.

Человек в соломенной шляпе вынул из бокового кармана немецкую газету и стал ее читать. Колумб стоял на площади Пуэрта де ля Паз и показывал рукой в открытое море. Перед

входом в морской музей толпились иностранцы и не-иностранцы, и все они читали с большим уважением надпись: "Navegar es necesario. Vivir no es necesario". Впрочем, Бог тоже сказал когда-то людям, что они будут властелинами земли. Разве же они могли быть властелинами земли, если бы сидели все время в своих ветхозаветных и новозаветных, в немецких, французских, русских, испанских и остальных деревнях и городах и не знали, что делается в мире?

— Тут пишут, что люди должны путешествовать, чтобы видеть мировые достопримечательности, — сказал человек в соломенной шляпе.

— Люди должны путешествовать, чтобы видеть остальных людей, — сказал я строго. — Мировые достопримечательности Вы можете увидеть по телевизору и гораздо лучше, потому что те, кто снимает эти достопримечательности, не сидят все время на французских, немецких, итальянских и остальных скамейках.

— Я люблю смотреть на все собственными глазами, сударь. Это вернее. Я не люблю смотреть на то, что мне показывают.

— Вы — немец?

— Я — иностранец, — сказал человек в соломенной шляпе.

Я усмехнулся. Ну вот, пожалуйста, иностранец и хочет все видеть собственными глазами. Разве же он не видит собственными глазами, что мне хочется молчать и думать о том, что было? Впрочем, летом — все иностранцы. Все путешествуют, потому что лето, и сидеть во время каникул дома могут только заядлые националисты или граждане некоторых государств, которым путешествовать не рекомендуется.

— Судя по тому, что Вы любите поговорить, Вы, наверное, русский, — сказал я более приветливо, чтобы этот иностранец не думал, что я не люблю иностранцев. — Вы, случайно, не из Москвы?

— Нет не из Москвы, — сказал человек в соломенной шляпе. — Я — сириец. Я тоже люблю путешествовать, ведь Вы же знаете, *navegar es necesario*. Но я вижу все сейчас же и не укладываю виденное в подсознание. Вы уже, кажется, убедились.

Верно, я убедился: ту дурацкую поливочную машину он видел действительно и не уложил ее в подсознание. Ну что ж,

восточный человек. Но не выглядит, как восточный. Впрочем, теперь все как-то перепутано. Все живут не там, где бы им следовало жить, вероятно, из политических соображений. Сирия, в общем, прекрасная страна, я был однажды в Дамаске, но теперь там, наверное, очень жарко.

— Да, наверное, очень жарко, — сказал человек в соломенной шляпе. — Но я не из Сирии а из Сирия. Это самая яркая звезда в созвездии Большого Пса. Вы обратили внимание, как она сияет в июне и в июле?

Я кивнул утвердительно головой. Все было ясно. Было лето, было жарко, и солнце стояло под знаком Большого Пса. Площадь была пуста. Город был пуст. Все были за границей, а те, которые остались дома, сидели теперь где-нибудь в тени, пили пиво и ждали, пока не настанут сумерки и не посвежеет. Смотреть было не на что, разве что только на ту дурацкую поливочную машину.

— Вы прилетели к нам посмотреть на нашу поливочную машину? — спросил я язвительно.

— Я прилетел посмотреть, как вы уничтожите вашу планету, — сказал человек в соломенной шляпе.

Я снял шляпу и вытер носовым платком вспотевший лоб. Ну вот, пожалуйста, это уже разнеслось. Все теперь знают, что у нас столько атомных бомб, что мы можем уничтожить землю даже не один раз, а несколько.

— Ерунда, — сказал я, — земля не будет уничтожена. Вы прилетели к нам совершенно напрасно, милостивый государь.

— И совсем не напрасно. Она будет уничтожена, не беспокойтесь. Это только вопрос времени, а времени у меня много.

Было жарко, и мне не хотелось спорить. Мне хотелось думать о том, как я сидел на скамейке в Барселоне. Чудак человек! Лететь к нам с Сирия несколько миллионов световых лет только для того, чтобы посмотреть... Какая чушь!

— Верно, — сказал я, — у нас столько атомных бомб, что мы можем уничтожить землю несколько раз. Но, с другой стороны, у нас этих бомб как раз столько, чтобы настало равновесие сил.

На третьем этаже пятиэтажного дома открылось окно, и из

него высунулась совершенно лысая голова. Она сверкнула на солнце и оглянулась по сторонам. Видимо, ей что-то не понравилось. Вероятно, солнце, стоящее под знаком Большого Пса. Она исчезла, и окно закрылось опять.

— Равновесие сил — это теория, — сказал человек в соломенной шляпе.

— Самое лучшее, что у нас есть — это теории, — сказал я. — Без теории у нас не было бы Организации объединенных наций, и нациям бы не пришлось в голову сесть в Женеве за один стол.

— А что они делают за одним столом? Только спорят. А когда не спорят, они говорят о равновесии сил.

— Они делают историю, милостивый государь.

— Может быть, — сказал человек в соломенной шляпе.

Но начала и концы истории делают не нации, а генералы.

Голуби прилетели к нам и стали смотреть на нас вопросительно. Вероятно, они ждали, что мы им будем бросать что-нибудь съедобное. Мы им ничего не бросали. Во-первых, потому что у нас не было ничего съедобного, а во-вторых, потому что нам было не до голубей.

— Черт побери, — сказал я, — не говорите, пожалуйста, о конце истории, об этом теперь не принято говорить.

— Не принято, но это вполне логично, — сказал человек в соломенной шляпе. — Еще перед тем, как вы изобрели атомную бомбу, ваш Станиславский сказал, что если вы в первом действии пьесы повесите на стену ружье, оно непременно должно выстрелить в последнем действии. И это вполне логично.

— А откуда Вы знаете, что у нас последнее действие? Откуда Вы знаете, что у нас логично, а что нет? Лететь к нам в Вашей летающей тарелке и думать, что мы уничтожим землю из-за каких-то устаревших театральных правил? Какая наивность! И откуда Вы знаете, что у нас был Станиславский?

Голуби топтались на месте и разочарованно ворковали. Из фонтана в стиле барокко текла тоненькая струйка воды в почти высохший водоем. Липа, под которой мы сидели, одурманивающе благоухала.

— Мы знаем все, — сказал человек в соломенной шляпе.

— Мы — самая прогрессивная звезда во всей вселенной. Относительно же летающих тарелок я должен Вам сказать, что на них теперь летают только жители недоразвитых планет. Мы применяем волю, когда нам нужно преодолеть пространство или время. Чтобы попасть к вам, я должен был только скинуть дома материальную часть себя, а потом у вас составить себя из ваших ста трех химических элементов. Естественно, только для того, чтоб я мог разговаривать с Вами как равный с равным. Чтобы видеть, что происходит у вас на земле, мне было совсем не нужно материализоваться.

Я люблю разговаривать с людьми на скамейках в Риме, в Лондоне, в Гранаде и в других городах, но я не люблю, когда кто-нибудь хвастается тем, что у него есть, было или будет. Я надвинул шляпу на лоб и закрыл глаза. Дурак! Воля не может быть средством передвижения. Волю можно применить только для того, чтоб сидеть на скамейке в Мюнхене и видеть памятник Колумбу на площади Пуэрта де ля Паз в Барселоне. Но разлагаться на составные элементы и потом их составлять опять где-нибудь в другом месте... Мы еще до этого не додумались, а если когда-нибудь и додумаемся, ничего хорошего из этого, вероятно, не выйдет. Во всяком случае, в некоторых государствах гражданам наверняка запретят разлагаться. Но если этот сириец знает...

Я открыл глаза и сказал:

— Раз уж Вы все о нас знаете, Вы бы должны были знать, что в последнем действии у нас решают не генералы, а председатели политических партий. А те как раз не любят кончать историю.

— Но вы изготовили употребительные атомные бомбы и должны их употребить, — сказал человек в соломенной шляпе. — Ведь это же вполне логично, Вам не кажется?

Я ничего не ответил. Не было никакой надобности отвечать на такие дурацкие вопросы. Ну конечно же это вполне логично, но только для производителей товаров широкого потребления и для жителей более прогрессивных планет, которые не производят ничего лишнего. Но для нас это не обязано быть логичным. У каждой порядочной нации на земле есть своя национальная

логика, которая никогда не совпадает с логикой интернациональной. Если бы совпадала, в мире была бы невероятная путаница и, может быть, кому-нибудь пришло в голову, что нации возникли только для того, чтоб говорить на разных языках и вести войны оборонительные и освободительные.

— Не могу понять, — сказал человек в соломенной шляпе, — Вы — человек, видимо, интеллигентный, но по каким-то соображениям не хотите признаться, что вы сделали большую ошибку. Атомную бомбу вам не следовало изобретать. Вы — единственная планета в мире, созданная для того, чтоб не знать покоя и не давать никому покоя. Господи! Быть коммунистами, демократами, фашистами, анархистами, монархистами, протестантами, католиками, православными, евреями, магометанами, буддистами, носить черную, белую, желтую и красную кожу и сидеть за одним столом в Организации объединенных наций? Совершеннейшая чепуха! Никто во всей вселенной не верит, что вы хотите договориться.

— Мы должны договориться, и не имеет никакого значения, хотим мы этого или нет, — сказал я. — У нас теперь равновесие сил, и мы должны сохранить мир любой ценой.

Из дверей старого почтенного дома вышла маленькая девочка с большим пряником в форме сердца. Голуби вспорхнули и перелетели к ней. Девочка смотрела на пряник, но начать его есть не решалась. Может быть, потому, что сердце было красивое, или же потому, что было очень жарко.

— Ерунда, — сказал человек в соломенной шляпе, — мир соблюдается на планетах, на которых был заведен порядок с самого начала. У вас три миллиарда жителей, и каждый из них представляет себе порядок по-своему. Следовательно, порядка у вас быть не может. Если бы не атомная бомба, вы могли бы по крайней мере держать в узде все эти коммунистические, демократические, монархические, протестантские, католические, православные, еврейские, магометанские и остальные порядки, но не очень долго. Но атомная бомба...

— Правильно, — сказал я. — Из-за атомной бомбы мы должны будем держать в узде все порядки все время.

На третьем этаже пятиэтажного дома открылось опять окно,

и лысая голова опять сверкнула на солнце. Девочка посмотрела на голову, немножко подумала и, отломив кусок пряничного сердца, бросила его на мостовую. Голуби захлопали крыльями и засуетились.

— Это — теория, — сказал человек в соломенной шляпе.

— Это — действительность, — сказал я.

— Теоретическая. Вы верите в теоретическое равновесие сил, сударь. Верите ли Вы, что осел Буридана сдохнет с голоду между двумя совершенно одинаковыми охапками сена?

— Верю, — сказал я. — Мы этому должны верить.

— Уверю Вас, что настоящему ослу искренне наплевать на то, что о нем думаете Вы и Ваш Буридан. Настоящий осел плюнет на все теории и сожрет совершенно ненаучно обе охапки сена, одну за другой. Буридан был схоласт, математик, философ и, конечно, теоретик, и это было правильно, потому что в средние века теория была более существенна, чем практика. О практике имели кое-какие представления только низшие классы. Тем бы никогда не пришлось в голову ставить своих ослов между двумя совершенно одинаковыми охапками сена.

— Не верю, — сказал я. — Не верю, что настоящий осел может плюнуть на теорию. Не хочу этому верить. Я не верю в настоящих ослов, я верю только в теоретических.

Человеку в соломенной шляпе было, конечно, совершенно безразлично, во что я верю, а во что — нет. Он был, наверное, убежден, что его Сирий — самая совершенная звезда и что на ней заведен идеальный порядок. Но ведь это же бессмыслица! Идеальный порядок не может быть даже на Сирии, иначе он должен бы быть населен только кристаллами, которые не едят, не пьют, не спорят и не засоряют окрестности. Только этот сириец совсем не кристалл, у него нормальные дурацкие взгляды, как у каждого нормального жителя нормальной планеты.

— В астрономии Вы не очень-то разбираетесь, — сказал человек в соломенной шляпе. — Нет в мире другой такой планеты, у которой бы было все, как у вас. Каждая нормальная звезда населена или только кристаллами, или растениями, или животными, или только людьми.

— А едят-то они что? — спросил я иронически.

— Ничего они не едят. Они нормально питаются космическими лучами, и у них нет никакой надобности вести оборонительные и освободительные войны. Но ваша земля — не настоящая, она была создана только как эксперимент. Она была населена одновременно химическими элементами, растениями, животными и людьми, и предполагалось, что они будут пожирать друг друга разумно. Однако, люди стали убивать не только животных, но и людей, и без всякой надобности, потому что они убитых, так называемых врагов, не пожирали. Но, с другой стороны, это было как будто правильно. Вы научились понижать смертность детей и продлевать жизнь взрослых и если бы вы не убивали один другого, вас на земле было бы слишком много. Но атомную бомбу вам изобретать не следовало. Она неминуемо ведет к концу эксперимента, иными словами, к уничтожению вашей планеты.

Лысая голова плюнула из окна и закурила папиросу. Слетелись новые голуби. Девочка ломала сердце и бросала его куски на мостовую. Начать его есть ей все еще не приходило в голову, было еще очень жарко.

— Вы намекаете на Станиславского и на его ружье на стене? — спросил я.

— Да, — сказал человек в соломенной шляпе.

— Но ведь это же только теория.

— Конечно. Но это правильная теория.

— Я люблю теории почти так же, как доктор Буридан, — сказал я. — Но это неправильная теория. То есть она бы была правильной, если бы у нас было последнее действие. Но я должен Вас предупредить, что последнего действия у нас не будет, потому что мы эту историю с ружьем на стене сняли с репертуара.

Из дома вышла молодая женщина и увела девочку с остатком пряничного сердца. Голуби прилетели к нам и стали ждать, что мы им что-нибудь бросим. Лысая голова курила папиросу и смотрела на голубей.

— Как так сняли с репертуара? — спросил человек в соломенной шляпе.

— Я Вам уже сказал, что у нас равновесие сил, — сказал я.

— Зачем нам доигрывать такую глупую пьесу с ружьем на стене?

— А я Вам уже сказал, что равновесие сил — только теория.

— А я Вам уже сказал, что единственно, что мы делаем хорошо, это теории. Все религии были в теории совершенны. Все государственные системы были в теории совершенны. "Каждому по его потребностям, от каждого по его способностям", — было, в теории, гениально. Но на практике — нет, потому что оказалось, что у каждого свои представления о потребностях и способностях его ближних. Нет, сударь, мы пришли теперь на перекресток двух дорог с указателями: "Быть" и "Не быть". Если мы выберем дорогу к "Не быть", мы должны восстановить последнее действие с ружьем на стене, и нас не будет. Если же мы захотим "Быть", тогда мы должны жить только в теории и запретить применять на практике какую бы то ни было теорию. Осел Буридана сдохнет тогда с голоду между двумя одинаковыми охапками сена, и Объединенным нациям не останется ничего другого, как договориться, что историю нужно будет теперь делать по-старому, звуками лир, когда будет молчать конвенциональное оружие, и конвенциональным оружием, когда будут молчать лиры.

Было жарко. Во рту у меня было сухо, вероятно, потому, что я говорил слишком долго. Лысая голова исчезла, и окно на третьем этаже пятиэтажного дома опять закрылось. Мне захотелось пить. Мне бы следовало встать и пойти за кружкой пива в кабачок, который был за углом. Но мне не хотелось вставать.

Человек в соломенной шляпе встал и сказал:

— Я разочарован, сударь. Я думал, что Вы — интеллигентный человек и знаете, что ружье на стене нельзя просто так снять с репертуара.

— Мне безразлично, что Вы думаете, — сказал я. — У нас лето, у нас жарко, и солнце стоит под знаком Большого Пса. Я хочу молчать и думать о том, как я сидел на площади Пуэрта де ля Паз в Барселоне. Но я Вам все же скажу, что мы нашу землю определенно не уничтожим, и Вы здесь только теряете понапрасну время. Вам бы следовало распасться опять на составные элементы и вернуться к себе домой.

Где-то совсем близко зазвонили колокола. Голуби вспорхнули, облетели площадь и опять прилетели. Из старого почтенного дома вышла сначала молодая женщина, а потом маленькая девочка, но уже без пряника; на ней было теперь белое праздничное платье. Вероятно, они шли в костел.

— Я подожду, — сказал человек в соломенной шляпе и посмотрел на часы. — Времени у меня много.

Я закрыл глаза и был опять на площади Пуэрта де ля Паз в Барселоне. Колумб стоял на колонне и показывал рукой в открытое море. Люди толпились перед входом в морской музей, и я видел ясно надпись под сводчатым потолком:

“Navegar es necesario. Vivir no es necesario”.

Не открывая глаз, я сказал:

— Жить нет никакой надобности, это верно. Но, с другой стороны, нет никакой надобности создавать условия, при которых люди бы не могли жить. У нас теперь равновесие сил, и осел доктора Буридана должен будет сдохнуть с голоду.

Я открыл глаза. Площадь была пуста, и где-то совсем близко все еще звонили колокола. Были здесь только я и голуби. Человек в соломенной шляпе исчез. По всей вероятности, он распался на составные элементы и возвратился на Сирий, самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. Или же он просто прошел через стеклянные двери в дом для престарелых. Может быть. Но сказать наверняка я ничего не могу, я ничего не видел, у меня были закрыты глаза.

Н. Терлецкий

Рина Левинзон

* * *

Да разве я о чем-нибудь просила?
Туманы ночи, перепады дня,
над озером застывшая осина
вот ангелы, хранившие меня.

Да разве я вздыхала по дорогам,
где лед крошился, где вздымалась пыль.
Я лишь смиренно говорила с Богом,
как с вольным ветром говорит ковыль.

Да разве я чего-нибудь хотела
сверх всех, уже отпущенных даров:
движения души в пределах тела,
биенья крови, складыванья слов.

Владимир Митин

* * *

Я упаду в траву лицом, глаза закрою.
И я забуду, что я есть и кто я был.
И мне покажется, что рядом, за рекою
чудесный мир, который кто-то сотворил.

Ах, это просто как! Вон, рядом, за рекою,
там, где темнеет лес, где светит даль берез,
за озером, за полем, за горою...
есть мир любви, очарования и грез.

Чудесный мир, в котором юны и богаты.
И, словно боги, все красивы и умны.
Где равнодушны к умножению зарплат
и невнимательны к возможностям войны.

Где много музыки, поэзии и братства,
где воздух равенства и ветер чудаков...
Хоть бы на день туда пробраться
из заколдованных кругов.

...Но я встаю с травы, раскрыв ресницы,
меня разбудит та, что пела на лугу.
И может за рекой кому-то снится
прекрасный мир... на этом берегу.

*Стихотворение получено из СССР. Печатается без ведома и разрешения автора.

Валентин Никитин

* * *

Напев старинной флейты
Прорезал тишину —
Как будто плачут феи,
Припомнив старину.

Как будто Парки пряжу
Старинную прядут...
И зачарован сразу
Наш нищенский уют.

Такие сантименты
Пронзительны без слов!
Напев старинной флейты
Привлек к нам духов снов.

Лучи луны от страха
Смешались второпях...
Ужели третья стража
Уснула при дверях?

Не бойся, третью стражу
Скликают петухи!
Мы от напасти вражьей
Крестом ограждены.

Откроет светлый вестник:
Искуплена вина;
Пусть не узнан Генрих,
Но Гретхен спасена.

* Стихи получены из СССР. Печатаются без ведома и разрешения автора.

DANSE MACABRE: ЧЕРНОБЫЛЬ

Боль наважденья сводит с ума
Ящик Пандоры разверзся внезапно:
Дым от лучины, странный туман
Хлынул на север, метнулся на запад;
Бриз радиации — рев канонады,
Эха не слышно, прибой без границ...
Над горизонтом в преддверии ада
Воздух, потрескивая, стоит.
Как чешуя, опадают поспешно,
Тихо отслаиваясь облака...
Атомный шабаш зажегся над бездной,
Мертвая пыль над землей поплыла.
Время угрюмое, как дешифровщик,
Тайнопись смерти тшится познать,
Но колдовство ее вездесущее
Мир превращает в лунный ландшафт.
Магией техники татуированы
Цивилизации дикари,
В счетчиках Гейгера пляшут нейтроны
И лейкоциты бушуют в крови.
В небо земля опрокинет могилы
Здесь до безумия тесно живым!
И ни к чему притворяться живыми,
Танец безумия непостижим!
Те, кто преставятся без покаянья,
Будут в астрале, как тени, витать
Целую вечность до воскресенья,
Чтобы в огне очистительном встать!
Пик радиации! — как зазнобило!
Крестик на крест — роковая звезда!
В памяти черная былъ Чернобыля
У человечества навсегда.

МАМА, ДЕВОЧКА МОЯ

Я лежу на траве у края Озера. За Озером горы, дальше — небо. Все синее. Расстояние отмерено интенсивностью цвета. Передняя гора сине-сизая, как черничная ягода, а те, что дальше, все голубее, пока последняя не растворяется в поблекшем от вечности небе.

Вода отливает небом. Уже не узнать, кто из них старше. На понтоне качаются мальчик и девочка. Он уговаривает ее прыгнуть. Руки их касаются и тут же разъединяются. Тонкие руки от запястья до плеча. Мальчик и девочка, не знающие, что их ждет. Словно их ждет счастье.

Возможно, я все это выдумала. Закрою глаза, они исчезнут... Открыла. Понтон пуст.

Когда-то я тоже ждала на понтоне счастья. Я помню, как это было, но та моя память открылась от горя. (Систематическая, удержавшая пусть приближенную, но все же последовательность событий). А до того — лишь эпизоды, как солнечные пятна сквозь листву.

Открытая терраса. Мы пьем компот. Наверное, закончили обедать. Приехал папа. В сумки лезть нельзя. "Воспитанные девочки не лезут". Нужно ждать, пока покажут. В прошлый раз он привез мыло и уговаривал его съесть, потому что оно было, как морковка. А в этот раз, может, и вовсе ничего. Воспитанные девочки не спрашивают даже. А он отвернулся и нарочно так долго копается. Наклонился с головой, из-за спины ничего не видно. Вдруг, что это?! Что это?! Мама! Где мама? Нет мамы. Надо самой потихоньку, потихоньку. Главное, с лестницы не упасть, а там уже трава и жуки.

— Оленька, Оленька, — вот и мама, — ты чего испугалась? Это же папа. Смотри, он снял противогаз.

Наверное, уже объявили войну. А может, и за год до того. Войну объявляли по радио, а радио стояло на диване, а диван был в Москве. И радио сразу стало самым главным. Как заговорит, все тут же должны молчать. Даже шопотом нельзя, чтобы папе ни слова не пропустить.

Дальше не помню. Ни как уезжали, ни как прощались, ни как ехали. Память моя открылась, когда я сидела на столе. Меня искупали, вытерли, и теперь одевают трусики в голубые колокольчики. Но это не мои трусики. Они говорят, что на них вышита моя фамилия. Но это Томины.

Они не понимают. Кто-то говорит:

— У нее сестра в старшей группе. Это ее, наверное.

Они даже не знают Тома. Не знают, какая Тома красивая. Что у нее черные волосы и голубые глаза. Что в праздники на Тому одевают платье и трусики в голубые колокольчики, а волосы завязывают голубым бантом.

— Томочке всегда будет идти голубое. И красное тоже. А Оленьке...

Мне совсем не обидно, что мама не знает сразу. Раз Томе идет голубое, значит, что-то идет и мне. А потом, если б Тома не была самая красивая, как бы я ее любила?

У меня платье в розовые и желтые солнышки, а трусики белые. Томе покупают голубой шар, а мне розовый. Тома хочет такой же, как у меня, и мы меняемся. Ей снова хочется голубой. Мы снова меняемся. И вдруг один шар улетел совсем. Тома сказала, что это был мой шар.

— Как тебе не стыдно? — говорит мама, но не мне, а Томе.

Они говорят:

— Вы — сестры, у вас все должно быть общим, — и одевают на меня трусики в голубые колокольчики.

Мама никогда не разрешала няне одевать на меня Томино. Нет больше мамы, нет праздников, нет дома. Меня больше никто не любит.

Я сижу одна за длинным-длинным столом. Они говорят:

— Сколько же ты будешь сидеть? Дети уже второй сон видят, а ты все суп не можешь доесть. Пока не съешь, из-за стола не выйдешь, так и знай.

Зачем тогда спрашивать: "Сколько еще будешь сидеть?" Я не верю, что они это по правде. Няня такой суп никогда не готовила. Он густой и пахнет. Я даже ложку в руки не беру.

Их дети все делают лучше меня.

— Смотри, как остальные играют. И ты с ними играй.

— Смотри, как дети поют. И ты так.

Я не знаю, как зовут этих детей, и не умею отличать их друг от друга. Может, они раньше были знакомы? Где они жили раньше? Почему они играют? Почему едят гороховый суп? Где Тома? Я могу играть совсем одна, только пусть отведут меня к Томе.

Всю неделю дети играют, поют про солнышко, гуляют, спят, а в воскресенье ко мне приходит няня. Она мне оставляет гостинцы, паспорт и карточки, я отпускаю ее отнести гостинцы Томе. Она вернется: без паспорта и карточек нельзя жить, она сама сказала.

Потом она снова даст их, чтобы я шла с детьми обедать и спать. Я кладу ее паспорт и карточки под подушку и не сплю. Чтобы они не вытащили их и не прогнали няню.

Почему-то вдруг няню впускают в столовую. Она садится рядом на стульчик и кормит меня. Они ходят вокруг и стыдят:

— Четвертый год, а все няня с ложки кормит. Дальше-то как жить будешь? Так и будет няня всю жизнь с ложки кормить? Дети-то, посмотри, все сами едят.

Мы не отвечаем. Дети смотрят. Но это моя няня. Я не виновата, что они не кормят своих детей. Они уходят на кухню.

— Ешь, мой ангел, — шепчет няня, — ешь чиво они наготовили. Другого-то чичас нет.

Меня и спать не заставляют. Мы сидим с няней в комнате, где дети играют, но их увели спать, и мы одни. Няня принесла письмо от мамы, а читать мы обе не умеем. Она говорит, что мама придет. Правда или нет? Она говорит, что это в письме

написано, что хозяин читал. Раньше "хозяин" был папа, а теперь кто?

— А когда мы спим, нам руки велят держать на одеяле.

— Пошто эдак?

— Не говорят.

Я у нее хотела спросить, а она сама не знает.

— Ну дак и держи.

— А холодно рукам.

— Да ты спрячь, как отвернутся-то.

Они не отворачиваются. Ходят и смотрят. Даже если нечаянно спрячешь одну только руку, уже велят вынуть. Мама бы им не разрешила, а няню кто послушает? Она и сказать побоялся.

— А ну-т-ко заснешь, неужто будуют? Дак закрой глаза и лежи, они и будут думать, что спишь.

А вчера что случилось! Мне Клава сказала, что я Тому увижу на прогулке. Она меня в кусты отвела и оттуда Тому показывала. Только там много детей было, и я Тому не разглядела, а подходить было нельзя. Клава сказала, что если я плакать не буду и никому не расскажу, она мне снова покажет Тому, когда одна пойдет с нами гулять.

— Слава те, Господи, — говорит няня и крестится, — послал человека.

Если б няня могла взять меня к себе! Я знаю, что она "сама у людей живет". А я бы людям не мешала, и спала бы с ней вместе. Все равно нельзя — карточек на меня нет, есть будет нечего. А главное:

— Рази мать разрешит нам в одной постеле спать?

А как она узнает? Значит, она и, правда, придет?

Проснулись дети, няне велят уходить. Я отдаю паспорт и карточки, как обещала. Чем теперь ее удержать? Что делается! Крик, ужас! Меня тянут в одну сторону, няню в другую. Рвут мои руки, рвут ее юбку. Няня плачет, я плачу. Потом меня сажают на лавку и не разрешают вставать. А куда идти? Я не хочу играть, я не хочу есть. Няня сказала, что завтра придет. Это чтоб я юбку отпустила. Она и в тот раз так сказала, а

пришла через неделю. А что мама приедет, зачем сказала? Может, мама все-таки приедет?

Наверное, я заболела. Все ушли гулять, и я играю на полу одна. Вдруг к самым моим ногам пришла тень, и сразу кто-то отпрянул от окна. Только платок успела увидеть. Я бегу к окну и вдоль окна. Няня! Няня! Неужели она меня не заметила? Никого. Двор пуст.

Я и, правда, заболела. Вот, ведь, счастье — Тома заболела тоже. Мы лежим в изоляторе даже не через стенку, а через маленькую перегородочку. Только не видим друг друга, а так все, как в одной комнате.

— Тома! Тома! Ты заболела?

— И я заболела! Тома! Я приду к тебе!

Тома говорит счастливые слова. Они гудят во мне, как в колоколе:

— Нельзя. Мама не разрешает по полу босиком, когда больны.

“Мама не разрешает!” “Мама не разрешает!”

— Тома, где мама?

“В Москве”, “на работе”. Тома правду говорит. Я все вспомнила: мы жили в Москве, и мама уходила на работу. Мама приедет и заберет нас. Мама обещала это Томе на вокзале. Мама никогда не обманывает.

— Тома, давай играть!

— А как?

— Ты будешь говорить, а я буду отвечать.

— Дай отдохнуть своей Томе. Она больна, ей спать нужно.

Когда человек хочет спать, нужно говорить шопотом:

— Тома, ты хочешь спать?

Она не хочет спать, ей холодно. Я принесу ей свое одеяло.

— Не смей, — говорит Тома счастливые слова, — не смей ходить по полу босиком. Мама не разрешает.

Только бы нам не поправиться! Только бы нам никогда не поправиться!

Какое счастье! Я их не послушала, не перестала ждать — к нам приехала мама.

Мы сидим за круглым столом, на котором вместо скатерти — простыня, а посередине — круглая картонная коробочка. Мама снимает крышку, потом бумажный кружок, и там настоящие конфеты. Те, которые были положены в магазине. Желтые мармеладки, как лепестки. Если их съесть, под ними будет другой кружок, а под ним оранжевые мармеладки. Раньше нам давали по одной после обеда: Томе желтую и мне желтую, Томе оранжевую и мне оранжевую. А теперь — всю коробку.

— Ты не ешь, Оленька? Ты не веришь, что я завтра вернусь?

Мама всегда знает, что мы думаем.

Завтра она заберет нас насовсем, а сейчас ей нужно уходить. Я не хочу конфет. Пускай она останется до завтра здесь с нами.

— Завтра я приеду после завтрака и заберу вас, а сегодня вы должны хорошо поесть и спать после обеда. Вы мне верите? — говорит мама и ждет.

Я отпускаю ее юбку.

— Не бойся, — говорит Тома, — мама никогда не обманывает.

На другой день она забрала нас в Сим, куда был эвакуирован ее завод. Вообще-то, правильно "Симск". Это няня говорила "Сим". Маму мы почти не видели. Военные заводы тогда работали без выходных. Но там уже знали, что двое детей среди эвакуированных умирают — мы с Томой. И как только завод переехал, ее к нам сразу отпустили.

У Тома оказалась малярия, а у меня и вовсе ничего, просто тоска. Но если от разлуки умирают, то как совсем оставить эту землю, где был гамак, качели и могилы? Где солнце запуталось в траве. Неужели одного желания путешествовать хватило б? И если желанья могут довлеть над жизнью, то для чего и кем они даны нам? И в праве ли мы ими пренебречь?

Еще в детстве, когда мы провожали маму в командировки, мне тоже так хотелось поехать, что запах поезда сжимал мне сердце. Но мама только смеялась и не хотела спрятать меня ни в

ящик для багажа, ни на верхней полке за чемоданами. Все, что у нее оставалось в жизни — это я и Тома. И я не знаю, поехали бы мы вообще когда-нибудь одни да еще так далеко, если бы не случай.

Сначала папа должен был придти домой. Но, может, Тома что-нибудь не так поняла? Потому что когда они позвонили, мамы не было. Она вернулась из командировки только через три дня. А Тома сказала, что она — дочь и ей семнадцать лет. И они велели ей придти. Я была в школе. Они пошли с няней и ничего мне не сказали. Как и мама, когда ее вызвали в первый раз.

Когда маму вызвали в первый раз, она и не догадывалась зачем. Вернее, догадывалась, но совсем неправильно. Она предупредила бабушку, чтоб не оставили нас с няней, если не вернется, а ей дали свидание.

Я училась во вторую смену, и, когда я пришла из школы, мама была дома. Я удивилась, что и бабушка у нас, а мама сказала:

— Оленька, сегодня я видела папу.

Они велели Томе придти, и Тома боялась послушаться. А няня боялась отпускать Тому одну, хотя и идти тоже боялась. Но мамы не было, а больше ни с кем нельзя было об этом говорить, и они пошли вдвоем.

Им там дали прочесть бумагу, что дело пересмотрено и срок сокращен до шести лет. Так поняла Тома, а няня не умела читать. И выходило, что папа вернется через полгода.

Раньше я думала, что когда он вернется, все снова начнется с того места, где оборвалось, как в кино. Однажды я проснусь, а он опять в кровати рядом с мамой (потому что он ушел с ними ночью, и меня даже не разбудили. Я только утром увидела ужасный беспорядок на полу, а как его устроили, совсем не слышала), и на столе игрушки и подарки за все то время, что его не было. Накануне той ночи он повел нас с Томой в магазин кустарных промыслов и там купил нам по пеналу. Томе — коричневый, блестящий, а мне — как великаний, красный карандаш, заточенный где крышка.

Теперь-то я уже знала, что все будет не так. Я выросла. Мы

с Томой спим валетом на большой кровати. А мама — на Томиной. По радио исполняют "Хабанеру" Бизе, а мама поет грустную песню. И мне тоже весна не в радость. Праздников больше нет. Не потому, что нам не покупают игрушек, а просто праздников нету вообще. Одно ожидание.

И чтобы так же не получилось с папиным возвращением, я стала заранее все представлять себе совсем обыкновенно. Вернется, как мама со свидания. Няня испечет пирог. В гости приедет бабушка. И станем жить, как жили. И пусть опять я все узнаю последней. Но такого, что он просто не придет, даже я представить себе не могла.

Я была уверена, что он вернется и предупредила своих девчонок, что 11 октября не приду в школу. Только, конечно, не сказала почему, и за каникулы они, к счастью, забыли.

Утром мама собралась на работу и нам велела идти в школу. Мне снова было хуже всех: я училась во вторую смену и возвращалась последней.

Я сразу посмотрела на вешалку в коридоре — нет ли мужского пальто. Я раньше каждый день смотрела, пока совсем почти не перестала ждать. И вдруг — висит. Я открываю дверь, а это — дядя Митя. Папин друг. И у мамы лицо и голос, как в праздник, чтобы нас обмануть:

— Папу освободили. Он едет в Новосибирск. Мы сможем туда к нему поехать и снова будем жить все вместе. Это замечательный город.

Этого я уже не выдержала. Они забрали его из дома и пусть вернут домой.

Мне стыдно было плакать при всех. Я легла лицом в подушку и оттуда им говорила:

— Пусть он придет домой. Я не поеду ни в какой город. Я останусь в Москве. Здесь у меня девчонки и школа. И я привыкла. Раз они ошиблись, пусть извинятся, а не посылают в Новосибирск. Мы там не можем жить. Мы там никого не знаем. Они все время ошибаются. Сколько мы можем терпеть?

Этого не нужно было говорить, потому что за стеной все слышно, но дядя Митя сказал совсем другое:

— Посмотри на маму. Ей хуже всех, а ты еще добавляешь.

Я обернулась и увидела, что она совсем белая. И я сказала, что поеду в Новосибирск. А что еще я могла сделать для нее?

Я подавала ей пальто каждое утро, и мне уже не нужно было становиться для этого на стул. Я в дождь ждала ее с зонтом на остановке. В прошлом году я получила для нее пятерки по всем предметам, что шли в аттестат. Но ей нужно было, чтобы папа вернулся, а его все не отпускали, и я больше не могла этого выносить.

Потом все как-то утихло. О переезде больше не говорили. Опять о дисциплине в школе, об отметках; на кухне и по радио — о преступлении врачей. И вдруг событие: мама едет в Новосибирск!

Последняя командировка. Вернется и будет уволена. Уже известно. И казалось сначала, что — обычная командировка, только папу увидит. Что так он и войдет к нам в жизнь, как если б ничего не изменилось, не выросло, не запеклось ожиданием и страхом.

Но даже сборы отличались. Отдали в ремонт часы. В тюрьме носить часы запрещено. Они лежали на буфете. Теперь пошли и заблестели, как новые. Няня чинила папино белье. Из дивана достали костюмы: рабочий и выходной — искать работу. Шапку, шарф, пальто. Запахло нафталином, как весной. Все уложили в дверную занавеску, обернули клеенкой, стянули ремнями.

Для мамы несли, у кого что было: валенки, платок. Даже Ф.ху принес один огромный родственник, про которого я и не знала, что он — полярный летчик. Доху надо было опоясывать ремнем, а рукава завертывать до локтя. Мама не хотела брать, но ей сказали:

— Вы не знаете, что Вас там ждет.

Никто не знал. Но если б и знали, она бы все равно поехала. Только взяла бы вещей поменьше.

В Новосибирске выяснилось, что папа сослан не в город, а в село, на север области. Мама отправилась поездом в Барабинск, потом кукушкой до райцентра. Дальше шел только грузовик. Страшные мужики объясняли ей дорогу и иногда даже за так

носили ее баул с вокзала на вокзал и в заготконтору, откуда шел грузовик в село.

Ехать надо было в кузове, и хотя она была в дохе, шофер сказал, что без овчинного тулупа не возьмет. Мама объяснила, что едет к мужу, что очень нужно. Главный мужик усмехнулся:

— Ссылный, что ли?

Но уступил ей место в кабине. Баул забросили наверх. От мороза клеенка потрескалась и развалилась, но было уже все равно, что станет с баулом. Доехать бы самой. Она не очень поняла, отчего усмехнулся главный мужик, и на всякий случай не вышла из кабины, когда остановились у чайной погреться. Чтобы чего не сделали и не оставили на дороге. Хотя ее и звали с собой.

Когда папу позвали на свидание, он думал, что ошибка, что у него в тюрьме однофамилец. Потом увидел маму, а она увидела его слезу.

До сих пор в нашей жизни не было ничего более замечательного, чем это путешествие. Расстояние, мороз и снег, страшные мужики и в конце — живой человек, про которого мы одни знали, что он есть, но никогда и никому об этом не говорили, потому что ничем нельзя было доказать его существование и невозможно было ответить на вопросы, которые задают о живых: кем он работает и где, и почему не живет с нами. Папа оставался в несбыточном мире, с которым не было связи. И вдруг мама садится в поезд и едет к нему.

Я слушала рассказ об этом путешествии столько раз, сколько он повторялся, дополняя сама деталями: дощатый перрон, замерзшее в небе солнце, пар изо рта, белизна, слепящая глаза, низкие крыши в снегу, гадкая комната без мебели, без абажура, с решеткой посередине. Мама, закутанная, как деревенская баба, в валенках, в платке. И по другую сторону — он, непохожий ни на одну из своих фотографий, потому что ни к одной из них не подходила слеза. Она мешала, сбивала с привычного представления. Но мама любила вспоминать эту слезу.

Я до сих пор не понимаю, как она решилась послать нас? Даже еще не зная об амнистии? До всех этих ужасных слухов,

что станут пересказывать ей на кухне всякий раз, как выйдет покурить? Ведь до сих пор она не отпускала нас одних даже на дачу. Из-за хулиганов в электричках.

Я думала, мы летом снова будем на даче, а мама вдруг спросила:

— Не побойтесь к папе одни поехать?

Господи, я вообще ничего не боялась — ни пьяных, ни проходных дворов. Да и что могло случиться с нами, если уж она сама нас посылала? Не пустила же она Тому зимой ночью занимать очередь в Колонный зал. "Как член партии комсомолке" запретила устраивать зрелище из смерти вождя. А на самом деле, просто, чтобы Тому в толпе не задавили.

И наступило лето. Самое длинное и трудное из всех предшествовавших. Мы с Томой уезжали так далеко, что расстоянием не измерить. Ей было грустно провожать нас, и я три дня не отрывалась от окна, чтобы после все рассказать: какие были небо, солнце, дождь, Европа и Азия. На четвертый день мы вышли в Барабинске.

Папа не встречал нас. Не имел права выезжать за пределы своего села. Зато прислал нам подробный план (наверное, кто-то из вольных для него специально составил). Мы легко нашли кукушку, и вещи донесли сами, меняясь через сто шагов: от рюкзака болела шея, а от чемодана — руки.

Было тепло, спокойно и непохоже ни на Москву, ни на деревни под Москвой. И люди вокруг — не москвичи, не деревенские. Но и не страшные. Кукушку я не запомнила. Потом мы ехали открытым грузовиком по солнцу и по ветру. Грузовик остановился, как было сказано в плане, через два дома после больницы. Нам подали вещи, но шофер не уезжал, пока мы не узнаем, правильно ли сошли. Тома пошла к мужчине, который вез на лошади доски. И сказала: "Папа".

Но еще раньше, чем она сказала, я увидела на его руке часы, которые всегда лежали на буфете. А он нас не узнал.

Он снимал угол в избе. В другом углу из досок, что привез, папа сколотил для нас с Томой топчан. Как свой, только пошире. В тот вечер мы набивали сеном мешок, который мама нам дала с собой, делали постель, покупали продукты. Не в магазине, а по

домам: в одном — яички, в другом — сало, картошку — в третьем.

В то лето папе не полагался отпуск. Мы виделись в обед, по вечерам и воскресеньям. Быть может, это было даже лучше. Он не походил на фотографии, на тот портрет над этажеркой, на который нам всегда указывали:

— Папа не любит, когда разговаривают с полным ртом.

Как ты можешь ходить с такими ногтями? Видел бы папа!

Если еще раз на тебя пожалуются в школе, мне все придется рассказать папе на следующем свидании.

Я не знала, нравимся мы ему или он больше любит тех маленьких девочек, которым он читал семь лет тому назад по вечерам "Каштанку" и "Старосветских помещиков". Я спросила Тома, хочется ли ей домой. Тома сказала:

— Как тебе не стыдно! Это же наш папа.

А я скучала. Утром не очень, но вечерами так сильно, что даже заболела, и Тома водила меня ночью на уколы в больницу напротив, сбивать температуру.

По воскресеньям мы ходили на речку и в гости. Папа показал, как плавать на боку, и я стала заплывать на глубокое. Папины знакомые были все из ссыльных и одиноких. Только у Финкельберга были жена и сын. По возрасту и даже по росту, как я, только очень стеснительный.

В то лето арестовали Берия.

— Смотри, какой я умный, — смеялся учитель-украинец, — во все инстанции писал, а этому ни разу. Сейчас бы новый срок дали за связь с врагом народа.

И папа тоже засмеялся. Они, вообще, боялись и стеснялись себя гораздо меньше, чем мы их в Москве. Здесь даже совсем простые крестьяне и те были из ссыльных. Как папин хозяин. Я раньше думала, сажают только интеллигентных. Колхозники-то — народ. Их за что? Папин хозяин и сам толком не знал. Пospорил с председателем, а что говорил — не помнит, сильно пьян был. Он, вообще, говорил мало. Возможно, с тех пор.

Я не заметила, когда начала привыкать. А когда мы про-

щались, влезли на грузовик, тронулись, и папа нам замахал рукой, мне стало так горько, что я легла на мешки и всю дорогу не открывала глаз.

Женщина рядом сказала Томе:

— Девочка-то уснула. Не напекло бы. Она тебе сестра?

Тома не ответила.

В Барабинск мы попали к ночи. Работало всего одно окошко, и мы встали в очередь. Но как только объявляли места на проходящий поезд, мужики у окошка устраивали такую свалку, что нечего было и думать протиснуться. Тома сказала:

— Так мы не уедем. Попробуй договориться с проводником. Скажи, что мы ему заплатим.

Проводник в темноте, возможно, принял меня за взрослую и спросил мерзость. Мне надоело это безобразие, я взяла наши ученические справки и пошла искать начальника.

Если б мы ехали не в первый раз, я бы догадалась, что это не обычный беспорядок: все заперто, на всех дверях железные засовы, амбарные замки. Я все-таки отыскала одну незапертую, из-под которой пробивался свет. За столом, пустым, как и вся комната, сидел небритый человек с красными глазами. Может быть, я разбудила его? На всякий случай я не подошла, а прямо от двери спросила начальника. Это он и был. Но отвечал так медленно, как будто не я его, а он меня боялся. Или просто не понимал, о чем я? Хотя и понимать было нечего: перед началом года учащимся положены билеты в первую очередь, и я дала ему наши справки. У него не было билетов ни в купейный, ни в плацкартный. Я сказала, что поедем в общем. Мы знали, что в общих места не нумерованы и не дают постелей. Не знали только, что там едут амнистированные.

А в Москве уже, конечно, знали — это был не первый состав, и слухи о бандитах, несущихся к Москве, засветло загоняли людей в квартиры. В магазинах шли нарасхват замки, засовы, цепи. Слухи катились по улицам, как эхо в горах, и только один утешительный: освобожденные так грабят, убивают, насильничают уже в дороге, что больше половины снова в тюрьмах.

Мы с Томой вошли в вагон, ужасный видом и запахом. И

нас не тронули. Мы искали два места рядом. Совершенно бесполезно, если бы какой-то дядька не сказал своим соседям, чтобы они убрались, и не освободил нам две полки напротив своей. Я думала, ему лет тридцать пять, но сказала: "тридцать", а он показал бумаги из лагеря и оказалось, что ему всего двадцать два. Он все время канючил, что с ним там плохо обращались, что он загубил свою жизнь и больше никому не нужен. Мы сказали, что когда он побреется и освещение будет лучше, ему никто не даст больше, чем есть, и уговаривали поступить в вечернюю школу. Он пообещал и немножко успокоился. Мы угостили его своей едой. Потом он стал приставать с картами, сыграть в очко, а раз пришел из ресторана и предложил за бесценок золотые часы-луковицу. Видимо, ворованные. Ночью мы на всякий случай не спали, хотя он и сказал, что тот, кто тронет наши вещи, умоемся кровью.

В Свердловске вагоны с уголовниками отцепили, а нам с Томой дали места в купейном, офицерском. Две верхние полки со свежими простынями. Внизу жена майора вышивала подушку гладью и уговаривала нас не выходить замуж за военных, не кочевать всю жизнь, а у майора так болел зуб, что он не отвечал ей. На станциях опять были открыты буфеты, к поездам выносили горячую картошку, помидоры, огурцы. Мы дали телеграмму домой об изменении номера вагона, спали, просыпались, ели огромные, зернистые, как арбуз, помидоры и снова засыпали, не подозревая о слухах, корчивших ужасом Москву.

Наш поезд приходил рано — метро еще не шло. Мимо заспанных дач — Удельной, Малаховки, потом Москва-Товарная и, наконец:

— Граждане пассажиры, поезд прибывает в столицу нашей Родины — Москву! "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля..."

Мама стояла на перроне. Как долго она оставалась без нас! Я схватила ее за плечи:

— Смотри, смотри — это мы с Томой. Ты видишь? Мы живые. Мы здесь. Мы целую банку земляничного варенья привезли. Мама! Мама!

Мы спустились в метро. Полупустое, московское. И вышли

на Арбате, и шли по Воровского, где без нас прошло целое лето, где няня пекла пирог и бегала бегом из комнаты на кухню, чтобы не пропустить рассказов и похвастать соседям связкой лука, которую мы с Томой купили в дороге. Ах, какие девочки молодцы! Какие самостоятельные!

Зимой она ездила к нему, а следующим летом на том же Казанском вокзале мы встречали его самого. И тут же на вокзале я окончательно и бесповоротно уступила ее ему и погрузилась в собственную жизнь. Вернее, в ожидание.

Тянуло без конца слушать Шульженко, что в "пожелтевшей пачке старых писем" отыскала одно, хранившее "так много дорогого". Становилось совершенно невозможно жить дальше без прошлого, а никак не наступало даже настоящее. И неизвестно было, наступит ли? И поступлю ли в институт? И как все это будет? И, вообще, полюбят ли меня? И кто?

Будущее гнало из дома, заманивало в себя, как счастье, наплывало "тремя вальсами". Не хватало лишь приглашения на первый тур, а там начнется жизнь, чудесная, словно наряженная елка.

Через год я поступила в институт, чтобы выучиться профессии, которую никогда в жизни не полюблю. Жизнь моя, да и жизнь вокруг, развертывалась, как лопнувшая пружина. Действительность, едва успев обрисоваться, становилась прошлым, и все стремились забыть ее. Кому охота жить прошлым, когда впереди будущее? "Рожденные в года глухие пути не помнят своего." Должно быть, это о нас.

Письмо Хрущева разрывается, как елочная хлопушка.

— Ты в институте никому не рассказывала о папе?

— Конечно, нет. Что я, глупая?

Похоже, не я одна. Вокруг все хвастались малейшим родством, знакомством, соседством с пострадавшими, но я не помню ни одного, кто бы сказал:

— И мой отец...

Быть может, завтра все изменится, и болтунов пересажают, как цыплят. И даже этот институт не кончишь, не получишь специальности, надежной, как чугунная станина. А без нее как

вырастишь детей, когда останешься одна? Нет. "Мы — дети страшных лет России — забыть не в силах ничего". А не то, я бы, может, стала актрисой? Прекрасной, как Арлетти?

Но я продолжаю учиться на инженера. И убегаю с лекций, чтобы увидеть "Рим в 11 часов" и "Девушек с площади Испании" и гибнуть вместе с невозможно прекрасной Люцией Бозе, в погоне за счастьем убиравшей велосипедиста на дороге.

И я играю в баскетбол. С утра по воскресеньям — игры, три вечера в неделю — тренировки. Усталость до изнеможения. Хватаю ртом воду из крана. Нет, нет. Не проглочу. Только один глоток. На улице полночь, свежесть, осень. В метро — как муха. Пассажиры дремлют. Во всем теле застой. Наконец-то эскалатор. Чем быстрее идти, тем больше ступеней успеешь сделать. Если правильно выбрать ритм, можно дойти до верха не запыхавшись. Раньше я делала сто ступеней, сегодня — сто четыре.

Наверху, в вестибюле, встречаю папу и маму. Она уезжает в командировку, а ни меня, ни Тома не было дома. Мы ее совсем забыли. Я поеду с ними на вокзал.

— Не нужно, не нужно. Тебе завтра рано вставать. Папа проводит.

Раньше хватило бы печали ее глаз, а теперь — вот этой фразы. Я возвращаюсь домой. Должно быть, так и надо. Иначе в чем же смысл папиного возвращения?

Его уже восстановили в партии и в звании. Он больше не работает в ломбарде, а преподает на кафедре. В каникулы мы снова, как до войны, поедem в его деревню, на Украину.

Приходит лето и мода на ситцы. Нянина племянница, окончив курсы кройки и шитья, шьет нам сарафаны, белые в цветочек: Томе в голубой, мне — в розовый.

Мы стоим с мамой в тамбуре. В проеме открытой двери ее рука пересекает пространство неба, солнца, белых, как облака, хаток. Вдруг она говорит, и я запоминаю, как все, что непонятно, до чего надо будет докопаться после:

— Какое счастье, Оленька! Какое счастье! Даже подумать страшно, чем мы заплатим за него.

Осенью ее не стало. Операция, от которой никто не умирает. Они говорят мне:

— Поплачь. Будет легче.

Но ее нету больше в этом теле, и я не знаю, где она. Я думаю все время об этом. Энергия не исчезает и не появляется. Лишь переходит из одной формы в другую. Мне безразлично, чем мы были раньше. Но где она теперь? Энергия, которой мы жили? Я получаю свои пятерки, и зубы мои бьются в истерике об кран, не могут схватить струи. Для кого? Мне нечем жить, пока я не узнаю, где она. Я знаю, ей не вернуться. Никогда. Но где она?

Я все помню: как она садится, как смотрит, ямочку на локте. Как незадолго до смерти, уже в беспамятстве, она вдруг словно увидела что-то и из последних сил крикнула:

— Нет! Нет!

Забуть хотя бы ту сопливаю девчонку с грязным личиком, что подошла вплотную разглядеть получше, как бабушка трясет седыми космами, стучит палкой перед людьми и Богом, плачет:

— Это несправедливо. Дети не должны умирать раньше родителей. Ты должен был взять меня. Моя очередь.

Как бабушка. Она совсем выжила из памяти. Я все реже бываю там: работа, быт. Но вот okazия — тетя уехала в санаторий и надо придти искупать бабушку.

— Ну, барышня, пошли, — говорю я ей и подаю руку калачиком.

Она смеется:

— Кто ты? Я тебя знаю?

— Еще бы ты меня не знаешь! Ну-ка вспоминай.

Она смеется моему обману, качает головой и вдруг, как жаром в лицо:

— Зина!? Но мне говорили, ты умерла?

Я не хотела этого. И не ждала. А теперь... Не заставляй же ее хоронить снова. Хотя бы безумие счастливо. Но и актрисой мне не быть, столько стоит единственная реплика:

— Ты же сама видишь? Пошли, мама, пошли. Меня дети ждут.

Но это у Тома двое. А у меня один. Тома своим не рассказывает, что дедушка сидел.

— Он им простил, — говорит она мне, — он сам сказал. И мы должны. Так надо.

Я думаю, он это нарочно. Чтобы нам легче было дальше жить. Но даже если он и по правде — его дело, он страдал. А мы как можем? Я думаю, никому из людей этого не дано — прощать не собственные страдания. Да и зачем нужно, чтобы еще и я простила? Своему сыну я рассказала. Он спросил:

— Если дедушка знал, что его арестуют, почему он не убежал?

Я не знаю, как объяснить. Знаю только, что если придут за ним, он тоже никуда не убежит.

Нет. Надо заранее. Пока пускают.

Может, и правда?

Эта мысль завладевает, как будущее. Как единственно возможный способ продолжения. Чем больше отговаривают, тем сильнее ощущение, что жизнь, отпущенная мне на Россию, кончилась, начинается другая, отпущенная на остальной мир. И отказаться равносильно смерти. А принять — тоже. Но, может, правда — в сказках и, искупавшись в трех котлах, воспрянешь к жизни?

Я больше не могу здесь оставаться. Мне нужно освободиться от несовместимости прошлого с настоящим. Новый день не продолжает вчерашнего. Стирает его. Обрубки прошлого торчат в душе. Нужно осмыслить их. Связать. Я должна хотя бы сыну рассказать, как это было. Не думая, чем он заплатит за это.

Только бы выпустили...

Скоро я догоню ее. А было когда-то между нами тридцать. И, значит, скоро тридцать, как ее нет.

Мама, девочка моя, ведь это твой внук. Ты бы хотела, чтобы хоть кто-нибудь из нас забыл страх? Ты рада?

Я лежу в Америке, на краю Озера, а в синей вечности то появляется, то исчезает не то моя, не то совсем другая жизнь.

Ольга Бутенко

МОЛЬ

Я бы кормил этих тварей кровью кур, а если понадобится, собственной кровью или кровью тех добровольцев, которых мне удалось бы подвигнуть на такое дело.

Дж. Даррел

Анатолий Велимирович Оглоблин — безусловно! — самый интересный рассказчик из всех любителей-шахматистов, которые собираются в крохотном скверике, разбитом на месте деревянных сараев, снесенных за ненадобностью после прокладки теплоцентрали. Он приезжал в этот скверик на Петроградской стороне, недалеко от Владимирской церкви, с южного конца города потому, что однообразие новых построек и отсутствие малых скверов, где прижились любители шахмат, никак не могут создать той теплоты, той привязанности к жилью, которая за два с половиной столетия приютилась во дворах старой застройки. Сам Анатолий Велимирович называл свои путешествия из конца в конец города странной ностальгией, но ничего с собой поделывать не мог и даже не решался на обмен жилой площади, так как и к новому микрорайону, где он жил с женою и сыном, был чем-то не менее сильно привязан — в десять часов вечера он убегал на остановку троллейбуса, чтобы назавтра вновь затосковать по старому городу и прибыть в любимый сквер на очередное шахматное состязание.

Стоило Анатолию Велимировичу проиграть партию, как он обижался на партнера, краснел, несколько раз причесывался, глядел исподлобья и выкуривал дюжину сигарет подряд, а потом отходил от победителя к группе побежденных (в малых скверах всегда кто-нибудь один бывает постоянным победителем, а побежденные, как правило, одни и те же) и начинал рассказывать. Было поразительно, что рассказывал он одну и ту же историю,

одними и теми же словами, с неизменными деталями, но с таким живым чувством, что каждый раз история казалась новой для тех, кто был побежденным, а победитель, преисполненный спортивной гордости, вообще ничего не слышал. Любопытно и то обстоятельство, что до конца рассказа Оглоблин никак не мог добраться — история обрывалась тем временем, тем вечерним часом, который гнал Анатолия Велимировича из прокуренного сквера и тесноты старых дворов туда, где между новыми панельными домами дышало море травы, где тишину прорывали истошные голоса электропоездов и песни полевых птах, где воробьи и голуби еще являются перелетными птицами, ибо привыкли к изобилию пищевых отходов, а в новых районах расстояния между помойками весьма велики.

Правда, внимательный человек заметил бы, что за два последних сезона, в которые Анатолий Велимирович повторял свой рассказ особенно часто, он не то чтобы постарел — облысел или потерял зубы, — а как-то очень незаметно, но конструктивно изменился; во взгляде его больше не чувствовалось той живучести, которая ранее отмечала его широкий и чистый лоб, как бы заполняя даже кудряшки русой шевелюры.

На третий сезон, то есть на третий год, ибо сезон начинался в мае месяце и длился до конца бабьего лета, Анатолий Велимирович внешне почти не изменился, если не считать легкого помутнения кожи, словно весь он был обсыпан тальком или сильно припудрен, или, по крайней мере, подобно крыльям бабочки, стал покрыт мельчайшими чешуйками, отчего кожа казалась не гладкой, а как бы замшевой. Анатолий Велимирович говорить стал несколько медленнее, менее темпераментно, если так можно выразиться, и в шахматы стал играть редко и без интереса, однако рассказов не прекратил. В последнюю пятницу теплого сентября Оглоблин явился в сквер необыкновенно бодрым и, кажется, опрыснутым дорогим одеколоном, в костюме из серого лавсана и ослепительной синтетической сорочке, чья стерильная чистота напоминала древний обычай моряков парусного флота надевать чистую рубашку за несколько мгновений до катастрофы, а может быть, и самой смерти. Он требовательно окликнул постоянный состав шахматистов-любителей, строго обвел их лица напряженным взглядом и заговорил:

— Я — книжный червь, и поэтому сотни раз был наказан за тот книжный опыт, который никак не может заменить опыта жизни. Прошло много времени, прежде чем я понял, что ходячие и прописные истины, как правило, являются лишь отблеском идеальных посягательств какого-нибудь разнесчастного автора, который удобной мечтой переплетал разорванные страницы бытия. Так я разочаровался в любви, но не избавился от иллюзий. Я разочаровался в творчестве, но само разочарование стало цепью, которая приковывает меня к творцам. И все-таки однажды я был приятно удивлен глубокой и забавной мыслью современного французского естествоиспытателя Реми Шовена о том, что насекомые наделены от природы общественным разумом. Общественный разум насекомых! Общественный разум пчел или саранчи, или черных тараканов, или десятков миллионов других наименований неприятных тварей — какая веселая и умная чушь!

Разве я мог тогда предположить, что мне придется стать очевидцем проявления общественного разума насекомых, да еще в такой форме, что при воспоминании об этом случае страх обрушивается на меня, страх еще более жуткий, чем страх возможной войны...

Я — книжный червь, дни мои стоят ровными томиками на библиотечных полках, разделы литературных эпох заменяют мне годы мирской суеты и, может быть, жизнь моя оборвется таким же пожаром, каким некогда закончила свое существование великая Александрийская библиотека. Но я готов поклясться, что любой добропорядочный библиоман в равной мере ценит и произведение писателя, и его биографию, ибо в каждом из этих двух миров могут открыться несравненные и незаменимые истины печали, скорби и красоты. Лично для меня судьба автора в какой-то мере даже более значима, чем его творчество, и я не скрою, что непосредственное знакомство с писателями всегда было для меня праздничным днем. Я откровенно, как щенок, завизжал от восторга, когда узнал, что недалеко от моего дома согласно решению городского исполнительного комитета будет выстроен дом, в котором часть квартир предоставят современным живым писателям.

Целую неделю я прыгал по кочкам болотистого пустыря, где было намечено строительство, разглядывал кустики вербы,

камышинки, паутинки и приносил домой букетики голубых цветов — первый знак внимания ко мне со стороны будущих великих поселенцев. И в каждое свое посещение этого пустыря я невольно декламировал пророческие строки:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой,
Там жили поэты...

На малое время я позабыл даже о книгах. Вероятно, я приблизился к тому артистизму, тому состоянию живой души, которое зовется творчеством, так как в мечтах своих видел живые сцены взаимопонимания, глубоких откровений и нерушимой привязанности. Я был готов включиться в работу каким-нибудь подсобником или учеником штукатура, чтобы ускорить темп строительства, чтобы приблизить день переезда и новоселья тех, чьи имена существовали для меня пока несколько отрешенно, так как имя на обложке книги мало чем отличается от надписи на могильном камне.

Но когда к болотцу гурьбой и безостановочно двинулись самосвалы со всяким мусором, я усмирил свое желание сильной помощи и стал реже бывать на пустыре из-за тяжелой пыли, тяжелого шума и тяжелого запаха, потому что встревоженное болотце, словно из чрева ада, выпускало в мир клубы мерзких сернистых газов.

В то время, когда бульдозеры и катки равняли и трамбовали мусор на пустыре, когда начался подвоз длинных железобетонных свай, похожих на четырехгранные карандаши, я был командирован на работу в передвижной библиотеке вместе с группой общественных пропагандистов и все лето мотался по области из совхоза в колхоз, из деревни в село или рабочий поселок, рассказывая о героическом творчестве писателей, об их книгах и о том, как эти книги должны помогать людям в ежедневном труде. Вернувшись, я был удивлен, найдя на пустыре огромное здание, в котором полным ходом велись отделочные работы. Теперь мой энтузиазм был бесполезен и смешон, поэтому я решил ждать завершения работ, но снова был командирован — на сей раз родною женою — под Витебск — по причине нашего совместного отпуска и необходимости заготавливать на

зиму те великолепные варения и соленья, которыми нас обеспечивала теща, то есть мать моей жены и мой лучший друг в сентябре месяце.

В том году осень пришла рано.

По дороге из Витебска с каждым часом убывало солнце и прибывали тучи, холодный ветер бил с северо-востока в бок поезда, жестокие сквозняки пронизывали тамбуры и коридоры вагонов. Я кутался в легкое пальто, прятался от сквозняков на верхней полке спального вагона, ни о чем не думая, не дремля и не бодрствуя. Такие осенние состояния у меня бывают и в летнюю пору, когда явь и сон, воображение и реальность тесно переплетаются. Я боюсь об этом кому-нибудь говорить, чтобы не напугать или не дать повода для заботы о моем психическом состоянии — ведь люди склонны к опеке, к той опеке, которая является скрытой формой злорадства. Именно по этой причине я ни разу до сих пор не говорил, что увидел предвестие несчастья на пути к дому. Увидели, вероятно, многие, но не придали никакого значения. А я? — Я промолчал.

Чем ближе поезд подъезжал к любимому городу, тем ошутимей становилась осень: за окнами рябили лысые кусты и чернели ели, выцветшая трава вдоль откоса казалась набухшей полоской картона. На короткой стоянке в Оредеже сквозь тучи проклюнулось солнце, теплый луч скользнул по перрону, но тут же пропал. Я подумал, что ветер пригнал новое стадо туч и заткнул прореху в небе, но ошибся: ветра не было. В вышине сияло солнечное окно, облака разбегались шире и шире, но по земле ползла черная тень — туча моли пересекала пространство от водонапорной башни к дальнему лесу, скрывая жилые дома, огороды и железнодорожные пути. И в воздухе прозвучало слово "свершилось". Эта странная миграция вызвала в моей душе такую горячую тоску и разящую жалость, что, и мне не стыдно признаться, я выпил из горлышка четвертинку теплой водки и до самой ленинградской платформы провалился лицом к стене на своей полке. Клянусь, если бы я не стал очевидцем трагедии, то не вспомнил бы ни о тучах насекомых, ни об их общественном разуме!

Не прошло и полугода, а может быть, и прошло, как мне

снова довелось столкнуться с проклятой молью, правда, в несколько других обстоятельствах.

Дом на пустыре быстренько заселили. В последний осенний месяц жильцы отпраздновали новоселье, а с нового года так обжились, что неосведомленному человеку показалось бы, что прошли десятки лет и сменились многие поколения, и никакого болотца и никакого пустыря тут никогда не было. В первые дни я был разочарован. Среди новых жильцов я не узнал ни одного дорогого мне лица, чью фотографию я мог припомнить. Кроме того, квартиры для писателей были отведены только в одном подъезде, но в каком именно, я не знал.

Трагедия началась в июле. Лето было знойным. Над городом висела горячая дымка, дышалось тяжело, глаза слипались от пота. Ни ветерка, ни облачка. Я шел к дому, которой называл писательским, с надеждой поговорить о правах домысла и фантазии в литературном произведении. Что, если выдумка, воображение, фантазия существуют и столь же конкретны, как камень или ручей?

Внезапно мои надежды на мудрый разговор рухнули.

Над левым углом писательского дома я увидел сгусток какой-то серой материи, подобие шара, который медленно разворачивался изнутри, как разворачивается цветок мака перед рассветом. Потом сгусток стал похож на снежную тучу — тьма моли колыхнулась в едином движении и потекла к центру города вместе с порывом легкого ветерка. Моль плыла над домами, над моей головой, над парниками совхоза "Лето", над проспектами и улицами Московского района, а по земле медленно ползла черная тень. Это скопище невнятно шумело, и мне снова показалось, что я слышу слово "свершилось".

Когда я подбежал к писательскому дому, то увидел вооруженных хлопушками жильцов, мальчишек с галошами и теннисными ракетками в руках и дворника с мокрым березовым веником; все они топтали, мяти, лупили и уничтожали остатки моли.

Я ринулся в писательский дом, содрогаясь от предчувствия.

На первом этаже дверь в квартиру писателя Ендовкина Георгия Ивановича была открыта настежь. Я вбежал без звонка, я

имел на это право: мы были почти друзья с Георгием Ивановичем — встречались до трех раз в неделю в его кабинете, а раз или два — в гастрономе, всегда были рады друг другу, хотя причины радости Ендовкина я и не знал. Теперь я склоняюсь к мысли, что мой друг и писатель Ендовкин Георгий Иванович был рад моей наивности и моей доверчивости, моей вере в него как создателя, которая была не только лестна, но и помогала чуткому тщеславию побеждать врожденную лень.

Я вбежал в кабинет, то есть в ту комнату, которую называли его кабинетом, где лежал двухспальный пружинный матрас под байковым солдатским одеялом, стоял хромым жеребцом шаткий письменный стол, заваленный бумагами с какими-то каракулями и условными знаками; на полу — старый, ржавый и серый от пыли "ремингтон". Там же висели две книжные полки, на которых должна была находиться личная библиотека Георгия Ивановича. Я вбежал в кабинет и... Ендовкин Георгий Иванович лежал на своем ложе, глаза его были открыты и неподвижны.

— Жора! — позвал я.

Он не ответил. Я наклонился над ним и потряс за плечо. Георгий Иванович не шевелился. Тогда я сдернул байковое одеяло и остолбенел: на двухспальном матрасе лежал скелет, обтянутый в некоторых местах тонкой человеческой кожей, а меж ребер внутри грудной клетки порхало несколько особей платяной моли.

— Жора, что ты наделал!? — закричал я.

На мой крик появился Лешенька, десятилетний сын Георгия Ивановича. Он смело оглядел и меня, и то, что осталось от отца, а потом спокойно сказал:

— Дядя Толя, не мешай папе, он спит и думает.

В тот момент я не смог увидеть всю глубину сыновней привязанности — я был поражен трагедией, катастрофой, которой не замечал юный человек. И я прошептал:

— Лешенька, папа твой... твой отец... писатель Георгий Иванович Ендовкин уснул вечным сном и не успел создать того великого произведения, над которым думал и о котором мечтал так много лет...

— Не огорчайся, дядя Толя, папа всегда много думал и никогда не успевал создавать произведения. Мы с мамой при-

выкли, и ты скоро привыкнешь. Папа говорил, что книгу жизни пишут всю жизнь. А там, наверху, у дяди Пети, шум до потолка, пойдем туда, там что-то нашли.

Лешенька взял меня за руку и вывел на лестницу, но подняться на второй этаж, где жил усталый поэт Петр Акимович Арфа, нам не удалось, вернее, нам не позволил младший лейтенант милиции и участковый уполномоченный данного микрорайона. Он прибыл, чтобы составить первые протоколы о необыкновенном случае и дать возможность следствию сделать правильные выводы, а также воспрепятствовать родственникам пострадавших уборкой и проявлениями горя смазать девственный вид места происшествия.

— Стойте! — сказал младший лейтенант. — Вы знали этого Ендовкина, да?

— Я знаю всех писателей, товарищ милиционер, а если не знаком с ними лично, то наверняка знаком с их творчеством, — ответил я.

— Отлично, — сказал он. — Вы будете понятым. То есть подпишете вместе со мною материал об этом деле, понятно?

У меня едва хватило духу ответить не по уставу, таким требовательным и свирепым был этот младший лейтенант. Его решительное лицо и еще более решительная поступь действовали на меня не только успокоительно, но и ободряюще.

Дворник Мария Сергеевна заполнила собой весь дверной проем. Мария Сергеевна тоже была назначена понятой, так что на этот раз наша давняя симпатия была скреплена общим делом. Лешенька обнял меня за ногу и замер. Скрипело стальное перо участкового уполномоченного. А на пружинном матрасе лежал скелет Георгия Ивановича в капроновых носках и красных плавках.

— Послушайте, что я написал, — сказал милиционер. — Если нет возражений, подпишите и пойдем дальше. "Акт от седьмого июля сего года. Мы, нижеподписавшиеся, участковый уполномоченный младший лейтенант милиции Кузьмин Дмитрий Степанович и понятые, Оглоблин Анатолий Велимирович и Бугай Мария Сергеевна, составили настоящий акт о том, что гражданин Ендовкин Георгий Иванович, писатель, 1930 года рождения, был найден на своей кровати в виде скелета с целой головой и

открытыми глазами — при обнаружении признаков жизни не выказывал. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Между реберных костей вышеназванного гражданина замечено небольшое количество моли. До обнаружения данного тела очевидцы показали, что из квартиры писателя Ендовкина Георгия Ивановича вылетело большое количество моли, которая явилась средством уничтожения телесной плоти.”

Стыдно, но в этот ответственный момент я не мог оторвать взгляда от крутых колен Марии Сергеевны, а поэтому не нашел нужных и нежных слов о моем друге; я запросто расписался под этим актом.

— Пойдем дальше, — сказал младший лейтенант.

И мы пошли на второй этаж. Лешенька был прав: в квартире Петра Акимовича Арфы шум стоял до потолка. Мужчины и женщины соседних квартир и даже жильцы с других лестниц дома, перебивая друг друга, читали вслух некие рукописи. Их с трудом выдворили, а рукописи отобрали.

Останки Петра Акимовича грудой лежали у письменного стола. Только скелет правой кисти еще держал авторучку над листом бумаги, где было начертано:

Предвижу смерть,
меня съедает моль,
ни боли, ни душевного надрыва.
Жизнь справедлива —
так солена соль,
и смерть, должно быть, справедлива.

Это были самые трагические и самые пророческие слова поэта. Ворох костей и домашние тапочки — больше ничего не осталось от Петра Акимовича, если, конечно, не считать массы рукописей. Мария Сергеевна мягко дышала за моими плечами и обмахивалась веером-веником, а участковый уполномоченный Дмитрий Степанович пристраивал свой планшет на подоконнике, чтобы не сместить предметы на столе Петра Арфы и чтобы составить следующий акт о безвременной и жуткой кончине одного из современных создателей русского языка...

Неожиданно для слушателей Анатолий Велимирович умолк

и некоторое время стоял неподвижно, как бы прислушиваясь к собственному телу, затем быстро почесал грудь сквозь рубашку, похлопал кулаками по бедрам и шагнул к скамейке. Эта пауза — короткий перерыв, необычайный для плавного течения рассказа — еще сильнее заинтересовала шахматистов. Они уступили ему место на скамейке и окружили двумя рядами.

Внимательные слушатели помнили, что следующий эпизод рассказа должен был произойти на третьем этаже, так как Анатолий Велимирович вел свое повествование не по сюжету и не по цепочке ассоциаций, а по этажам того дома, где случилась странная катастрофа, но никто никак не мог запомнить, что именно произошло на третьем, а что на пятом этаже и чем был занят каждый из потерпевших. Анатолий Велимирович с явным усилием воли вытянул из кармана записную книжку. Он разломил записную книжку по закладке и произнес:

— Раньше я никому и никогда не рассказывал о своей догадке, потому что это нельзя назвать гипотезой, как нельзя считать мою догадку полным доказательством. И все же прошло много времени, и мои раздумья, освещенные памятью и подкрепленные историческими фактами, не изменились. Наоборот! С каждым днем и годом мне все яснее, что катастрофа была закономерным завершением жизни ряда лиц, некогда мне дорогих. Вот, в моей записной книжке сохранился текст не то завещания, не то воззвания к потомкам, размноженный лично Петром Акимовичем Арфой в сотнях, если не в тысячах экземпляров. Этот самый текст — это воззвание или завещание — читали жильцы и соседи, когда я с Марией Сергеевной под руководством младшего лейтенанта Кузьмина пришел на место происшествия для составления акта. Сейчас я зачитаю *это*, и вам станет понятен тот шум до потолка, который привел в восторг Лешеньку, сына моего погибшего друга. Слушайте:

”Друзья и Враги!!! Все, кто хочет быть счастливым — помните, помните, помните! Учите наизусть, носите в нагрудном кармане, пейте с чаем вприкуску, повторяйте перед сном, пишите на транспарантах мои слова: я *открыл* истину, я передаю ее вам. Истина во мне. Я перелил истину в слова, слова закрепил на бумаге. Это написано пером. *Мои скрижали:*

1. Истина может быть только истиной и ничем более.

2. Число истин неисчислимо.

3. Истина есть предмет, предмет есть форма, форма определяет предмет.

4. Истину следует искать в труде. Чем легче труд, тем легче найти истину. Легче всего найти истину в литературном труде, так как у каждого литератора есть своя истина.

5. Истина материальна, а поэтому бессмертна. Добывая истину, добываешь бессмертие.

6. Труд есть истина. Истину добывают трудом, но труд обеспечивается государством, поэтому истина принадлежит государству.

7. Чужая истина так же хороша, как своя, ибо нет плохих истин.

8. Истина закаляется в борьбе. Борьба является крайней мерой при определении истины. Победитель владеет самой совершенной истиной, то есть самой истинной.

9. Истина может быть продана или обменена в том случае, если взамен предоставляется истина, более нужная в данный момент.

10. Государства, не имеющие всепобеждающей истины, теряют свой авторитет и независимость.

Друзья и Враги!!! При переиздании моих произведений прошу поместить на первой странице вышеперечисленные заповеди. Пользоваться заповедями может любой — с ссылкой на первоисточник. *Петр Арфа*".

Да, уважаемый поэт знал себе цену. Он был требователен не только к себе, но и к другим. Никогда я не забуду его кипящие строки:

С народом я. Народ всегда со мной.
Мы двуедины и равновелики.
Погибну я — народ станет безликим,
погибнет он — что станет со мной?

Если вспомнить об общественном разуме насекомых — в частности, моли, мне кажется, что этому скопищу крылатой дряни было тяжело осознавать грандиозные категории истины, добытой Петром Арфой, невыносимо было видеть его ежедневный титанический труд, равный упорному мышлению моего

друга Ендовкина Георгия Ивановича. Моль совершила вероломное нападение, преследуя только две цели: а) уничтожить объекты более сильного разума; б) войти в социальную историю человечества и впредь принимать активное участие в социалистическом строительстве жизни на земле, обладая полными гражданскими правами той страны, где проявляется общественный разум моли.

Такова моя догадка. Я не настаиваю на принятии моей точки зрения, но и не могу найти другого объяснения фактам, которым я был свидетелем. Разумеется, я не стал скрывать от младшего лейтенанта своего личного мнения, но он был молодой человек и провинциал, а молодые провинциалы бывают внимательны только к самим себе; милиционер не услышал моих слов. Только чуткая душа Марии Сергеевны отозвалась, я услышал ее горячий шепот:

— Что это Вы ему говорите? Он же в писателях ни черта не понимает. Очень ему нужно знать, кто кого за что съел — съел и точка. Мы подпишем, руки не отсохнут... А вечером заходите ко мне... зубровочка осталась, оладушек испеку, поговорим по душам.

На третьем этаже, как вы помните, жил Торий Евграфович Сезонов — известный автор многих произведений для юношества, но еще более известный своей работоспособностью. Кабинет Тория Сезонова был настоящим рабочим цехом писателя: здесь стояло три письменных стола вокруг одного мягкого вращающегося кресла, к стенам были приделаны стеллажи, тащившие тяжкий груз авторских экземпляров и толковых словарей. Около каждого стола лежала кipa чистой бумаги, и на каждом столе было установлено по одной пишущей машинке. Я предполагал, что Сезонов пишет одновременно несколько вещей, но, разглядывая его рабочее место, понял, что Торий писал одну и ту же вещь в разных ипостасях. В момент его смерти в работе были рассказ, киносценарий и радиопьеса по единому сюжету и даже с одноименным героем. По некоторым заметкам на полях можно было уразуметь, что намечался и текст оратории, однако, слово "композитор" стояло под жирным вопросом.

После нашествия моли от Тория Евграфовича Сезонова осталась только вельветовая куртка. Дмитрий Степанович, участ-

ковый уполномоченный и младший лейтенант, просто растерялся при виде помещения, приспособленного для творческого производства.

— Анатолий Велимирович, — сказал он, — будь ласков, напиши-ка сам следующий акт. Ты ж грамотный. Я что-то очень устал.

— Боюсь, что у меня это плохо получится, — возразил я.

— Пиши, пиши, не бойся. Мы потом вместе отредактируем, как говорят писатели. Все будет тип-топ, то есть в лучшем виде. Приступай!

Сознавая всю ответственность, я не стал излагать в акте свою точку зрения. Я писал акт так, словно не Дмитрий Степанович, а я стал участковым уполномоченным и младшим лейтенантом одновременно. И я написал следующее: "Акт от 7 июля сего года. Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в рабочем кабинете Тория Евграфовича Сезонова кроме вельветовой куртки последнего, никаких следов живой плоти не обнаружено. Среди вещей и бумаг не нашлось ни одной косточки, ни лоскута кожи, никакого внутреннего или внешнего органа, дающего представление о протекании смертельного случая.. что дает возможность думать о том, что Сезонов Торий Евграфович, 1927 года рождения, писатель, автор многих книг, в том числе "Дом", "Пойдемте купаться", "Детство Миши и Маши" и других, женатый, бездетный и прочее, вообще не находился в квартире и, может быть, существует невредимым в настоящее время в неизвестном месте".

Однако, Дмитрий Степанович акта не подписал. Он поднял с пола ноготок — по всей видимости, ноготь с мизинца левой руки — поднес находку к моему носу и остро спросил:

— Никаких внутренних органов? Не обнаружено?! А это, по-Вашему, хобот, что ли? Сожрали Вашего графа, понятно? Сожрали, как этих нижних писак.

— Понятно, — глухо ответил я, а Мария Сергеевна сердито хлестнула себя веником по колену.

— А если понятно, пишите. Я буду диктовать. Шапку акта оставьте прежней, а текст такой: "Торий Евграфович Сезонов полностью уничтожен платяной молью. Из вещественных доказательств сохранилась вельветовая куртка и ноготь большого

пальца писательской конечности. Вышеозначенный ноготь лежал на экземпляре киносценария. Полуседой и полурусый волос застрял в форточке, куда вылетели преступные моли". Точка. Вот как надо составлять акты. Акт должен быть конкретным, без фантазии. Это следствие может предполагать и думать, а нам нужна точность, документальность. Понял?

Я боюсь, что не успею рассказать о катастрофе до конца — до девятого этажа. Скоро ударит десять часов на Петропавловке, и мне надо будет спешить к жене.

Итак, я остановился на третьем этаже, а впереди еще шесть судебных, вернее, шесть смертей, и о каждом погибшем хочется сказать хотя бы несколько слов. Не совру, я знал остальных умерщвленных писателей несколько хуже, чем Петра Арфу и Тория Сезонова, а по сравнению с Георгием Ивановичем Ендовкиным — так и совсем не знал. Четвертый писатель на четвертом этаже был автором увлекательных детективных приключений, наполненных высоким патриотизмом. Это была правда и неправда, так как он был только соавтором произведений, но главным соавтором, чье имя стоит первым на титуле книги, а вспомогательным обычно писался кто-нибудь из военных чинов, связанный по долгу службы с оперативной или следственной работой на границе. Неправдой была и его фамилия, ибо настоящая, если хотите, девичья фамилия его была Триблат или Фриблат, что указывало на иностранное происхождение и нечто кровавое или кровное. Тем не менее, он подписывал свои произведения в серии "Библиотека приключений" кратко и звучно — Гвалт. Настоятельно рекомендую прочесть его нашумевшую повесть "В глухом краю" о том, как молодой пограничник спутал замыслы врагов родины, перетащив полотно шоссе на пять верст к северу за одну ночь, в результате чего шпион растерялся и был вынужден сдаться в плен пионерам, которые собирали колоски в поле после жатвы. Вот этот удивительный писатель Александр Гвалт сидел на стуле, как живой, только в девяти или десяти местах мошь выела в его теле сквозные круглые отверстия, наподобие пулевых, и мне, и Дмитрию Степановичу сначала показалось, что Гвалт застрелен

из крупнокалиберного пистолета. Лист рукописи еще дрожал в его руке.

— Чуть тепленький, — сказала Мария Сергеевна, коснувшись затылка писателя.

Я ногой отпихнул с дороги пустую бутылку из-под кубинского рома, а Дмитрий Степанович вырвал лист из руки покойного и вслух прочел. У меня сохранился этот текст вместе с нетленными строками Петра Арфы.

”Приближается мой юбилей — пятидесятилетие. Нет больше сил скрывать правду от Союза писателей, от друзей, от родственников и от читателей. Я признаюсь, что являюсь личным доверенным шпионом Адольфа Гитлера, заброшенным на территорию Советской России во чреве матери в период 21-й гражданской войны в Латинской Америке. В десять лет мне была сделана пластическая операция, спрятавшая мое истинное лицо. Учиться я не хотел и не умел, но после операции научился подслушивать разговоры с большого расстояния, запоминая самое яркое — ложь. В пятнадцать лет я был удостоен звания капитана, я еще не знал русского языка, но все понимал, это помогло мне стать мастером слова. Мастером дела я так и не стал. Было трудно, однако, спасло наличие общественной работы: в двадцать лет я стал корреспондентом стенной газеты ЖАКТа, а через год я стал редактором областной газеты в Сибири. Еще через год — к началу войны Великой Германии с миром — я опубликовал серию рассказов о пограничниках, воруя их из дореволюционных изданий. Так я начал писать романы. Это было необходимо, чтобы иметь свободу передвижения по стране и получать информацию стратегического значения. Прошу меня арестовать, допросить и расстрелять. *Фон Кейтель ибн Риббентропт*”.

Очевидно, это была страница очередного рассказа. Александр Гвалт отличался неистребимой изобретательностью и самой неожиданной фантазией. Все его произведения были глубоко психологичны и выявляли лучшие черты, не могли не выявлять, так как он начал писать в то время, когда писатели наперебой эти черты выявляли.

Как сейчас помню растерянное лицо Дмитрия Степановича; он вмял лист в холодную руку трупа, причем ему пришлось

разжимать окоченевшие пальцы и поэтому он сдвинул покойника с места — и совершенно перепугался.

— Ничего не трогать! — крикнул участковый уполномоченный. — Не трогать ничего. Все остается на своих местах. Напишем просто. Правдиво. Мы ничего не читали, ясно? Никому ни слова. Очень прошу, понятно?

На пятый этаж Дмитрий Степанович поднимался неуверенно, ноги его явно дрожали, а лицо выражало то состояние испуга и отрешенности, которое называют служебным страхом. Дверь квартиры на пятом этаже была замурована толстым слоем брони из клеенки. Не только моль, но даже опытный и решительный взломщик за полный рабочий день не смог бы пробиться через все запоры и замки. Предполагаю, то Владислав Казимирович Полудельский — хозяин квартиры, искусствовед, педагог и автор любопытнейшей книги "Мемуары о самом себе" — всю жизнь боялся нападения и считал нужным обезопасить себя путем укрепления дверей своего жилища. Но это не помогло ему избежать злой участи; я думаю, что у скопища моли еще до нашествия имелись аванпосты, которые вели наблюдение за избранными жертвами.

Это так, я вас уверяю. Как же иначе объяснить нечеловеческую проникаемость насекомых? Ведь при простой случайности никоим образом не могло получиться так, чтобы оптом, в считанные секунды, были прикончены девять писателей, причем пятеро из них в тот момент располагались на девятом этаже, то есть были гостями у писателя-очеркиста Щербатова Валентина Федоровича; скопом они могли бы дать отпор любой случайности. У меня и сейчас что-то дергается внутри и что-то переворачивается от ужаса при воспоминании общего погоста, в который превратился кабинет Валентина Щербатова.

Шахматисты неотрывно глядели на Оглоблина. Внутри рассказчика что-то дергалось, перекачивалось и переформировывалось, так как у него вдруг вздулась грудная клетка и пиджак натянулся шаром. Затем эта вздутость пошла к плечам и животу; живот несколько раз конвульсивно дернулся, точно Анатолий Велимирович внезапно оказался женщиной на сносках, плод которой проявляет инстинктивную жизнедеятельность. Голос

Оглоблина сделался хриплым и шепотливым. Он похлопал себя по животу, почесал грудь сквозь лавсан костюма, как бы успокаивая внутреннее брожение, и продолжал:

— Я не совру, кабинет Щербатова стал похож на погост, где в разрушенных могилах видны останки погребенных, а точнее, на склеп, разоренный временем, в котором гробы истлели, а кости мертвецов перемешались.

Меня мутит. Мне тяжело говорить и тяжело дышать. Но я должен рассказать вам до конца... чтобы предостеречь... чтобы помочь... Я уверен, что это не последнее нападение моли на людей, что насилие еще повторится... Вы должны знать и предотвратить, ибо это — гибель для многих, надо быть готовым к сопротивлению. Друзья мои, призываю вас, уничтожайте моль! Я сам бы бросился с пустыми руками в гущу этих тварей, я бы отомстил им за гибель прекрасных людей, если бы мне представилась такая возможность. Запомните это.

Теперь дело подходит к концу. Перечисляю пятерых в кабинете Щербатова. Я уже упоминал Полудельского, паспорт которого мы нашли вместе с долговой распиской за карточный проигрыш, помеченной датой катастрофы. Остается сказать о еще трех покойниках, о трех писателях. То были славные люди, умелые организаторы секций и семинаров, советов и обществ, постоянные члены временных комиссий. Их имена были широко известны только в административном аппарате творческого союза. Они были постоянно перегружены срочными заданиями и поэтому постоянно ничего не успевали делать. Каторжный труд! И этот труд отложил свой след на именах авторов в том смысле, что, подобно своему труду, их фамилии были необходимы и незаметны, легко терялись в море имен, как теряется на бахче тело арбуза... К чему бы это? Ах да, одного из трех звали Кавун, другого — Скотников. А третий был по имени Харза — мелкий хищник и большой пролаза.

Мы перешагнули через какую-то лохматую массу у порога. Я случайно споткнулся. Дмитрий Степанович заскрипел зубами: — Черт! Растопырь очи, очкарик. Что случись, мне прикажут отвечать.

Я понял милиционера. Более того, его тревога сообщилась мне — я потерял покой. Поэтому я постоянно и рассказываю

историю гибели писателей — внутренний голос обязывает меня нести ответственность совместно с милиционером Дмитрием Степановичем. В моем порыве нет ни тени субординации, ни паутинки служебного страха, но — голос сердца. Опаска за судьбы еще живых писателей заставляет меня в сотый раз пересказывать несчастье.

Тут Анатолий Велимирович Оглоблин попытался глубоко вздохнуть — двинул рукою, надавил на грудь — и моментально над синтетическим воротом рубашки и над костюмом из серого лавсана взметнулась туча моли такой силы, словно в этот молевой протуберанец ушла вся жизненная энергия Оглоблина. Через несколько секунд в вечернем воздухе раздался шелестящий шум, словно прошепталось слово "свершилось", и на скамейке перед любителями шахмат остались лежать пустой серый костюм и светлая рубашка.

Поздним вечером, когда во дворах смолкли пересуды о съеденном молью человеке, дворник смел окурки, а потом встряхнул рубаху и костюм, свернул вещи в узелок, сказал сам себе:

— Синтетику моль не ест.

И ушел спать.

Слава Гозиас

Максим Шраер

Киносъемки в Северной Эстонии

На берегу пустынного залива,
Средь валунов, обветренных тоской,
Варяги пили пенистое пиво,
Разбавленное скупостью людской.

Чтоб ощутить дикарские порывы
Они плясали, пленки не щадя,
И даже море, тучное от рыбы,
Метало брызги кислого дождя.

Не обтерев с усов хмельную брагу,
Они бросались к женщинам своим,
И, состязаясь в дьявольской отваге,
Природе пели ошалелый гимн.

Потом, устав, они легли вповалку
Вокруг котла с магическим питьем,
И можжевельника обугленные палки
Во тьме мерцали радужным огнем.

И только режиссер воронокрылый
С горбинкой на измученном лице
Бродил вокруг, ненужный и немилый
И не нашедший золота в свинце.

* * *

это девочка в полупальто
это друг в запотевших очках
это самый последний забывшийся лист
совершает
 над городом сальто
завершает
в ноябре

это солнце над Мойкой — невызревший абрикос
это пальцы плутают, запутавшись в чугуне
это сине-зеленые травы под тенью моста
задыхаются, дышат неверно и тянутся к морю
зовет тонконогий чахоточный абрис

это игры ручного осеннего божества
это мы им поддались, стряхнув привокзальное облако
это девочка нам, не спросив, завязала глаза
под полый припасенным обрывком тумана
отверсто туманное око

Ирина Муравьева

* * *

Никаких, поздней нежностью сдавленных слов
И любви никакой.

Только медленный голос колоколов
Над Москвой-рекой.

Ново-Девичьи сонные ждут пруды.
Уток и лебедей.

Скоро март, месяц, громко ломающий льды
На глазах у людей.

С бормотаньем и вздохами падает снег
С кровель и перил...
Воробьиный, трамвайный, продрогший рассвет,
Шорох ног и крыл.

Черный фартук на стуле. Лиса на ковре.
Под подушкой "Онегин", "Тамань".
Лет, наверное, десять-одиннадцать мне,
Неохота вставать в эту рань,

Нарушая порядок земной и уют,
В синей кружке кипит молоко.
До восьми еще десять чудесных минут,
А до жизни совсем далеко...

* * *

Всего печальней то, что есть душа.
Ей вечно мало воздуха и света.
И стань вдруг жизнь бесспорно хороша,
Она не оценила б даже это.

Ей тяжело там, меж ребер, в темноте.
Движенья бы, простора, меда, снега!
Проклятием — тоска по высоте
И острое желание побега.

Плывущими в небесной белизне,
Достигшими бессмертья все забыто.
И то, что было с ними на земле,
Давно беззвучной Летою размыто.

Я говорю: "Не плачь, душа моя!
Все впереди: покой и пониманье.
Ты здесь сгоришь, но тихо ждет тебя
Прохладный сад без птиц и без названья..."

Павел Флоренский

ОБ ИМЕНИ БОЖИЕМ

Почему Афонские споры в наше время как бы остановились и прекратились в своем развитии? Потому, что мы слишком мало внимания обращаем на общее направление нашей жизни, мысли и деятельности, на основные их линии. Поэтому и я сейчас хочу заниматься не деталями, а общей постановкой вопроса об Афонских спорах.

...Обычно к этому вопросу подходят не с той точки зрения, с какой требуется — не с точки зрения общих предпосылок. Происходит эта ошибка оттого, что наше время лишено миропонимания — все люди питаются лишь отрывками и обрывками различных положений и потому нередко впадают в заблуждение, т.к. допускают в свое сознание такие предпосылки, в которых уже заложено отрицание христианства и которые, при дальнейшем развитии, непременно должны привести человека, даже против его воли, к отрицанию всего.

Но можно наметить несколько таких данных из нашей действительности, при помощи которых можно подойти к этому вопросу. Сейчас в нашей жизни есть православное мировоззрение и есть ряды других мировоззрений, которые содержат в себе неправославные идеи или даже только известные предпосылки, в результате развития которых бессознательно придешь к неправославию. По внешности они почти ничем не отличаются от

православия, т.к. формулируют свои положения почти так же, как и православие, и поэтому различие между ними и православием заключается не в той или иной формуле, а в общем направлении мысли.

Формулируя свое мировоззрение вполне православно, мы на самом деле постепенно, и потому незаметно для себя, отступили от строя церковной жизни и сейчас находимся на том же пути, что и протестантство. Вот примеры: вместо восковой свечи, имеющей столь глубокий смысл, в наших церквях — жестяные трубы, в них что-то налито, не елей, а так, какая-то смесь; вместо естественного и символического света — безжизненный свет электрический; вино у нас не виноградное, как будто бы это все равно; устав не соблюдается; богослужебные формулы изменяются, подвергаясь молекулярной переработке: сначала замена единых славянских слов русскими, потом целых выражений и, наконец, целиком русская речь. А раз наша служба перестает соответствовать церковному чину и уставу, то очевидно, что происходит незаметно некоторая фальсификация богослужения.

Правда, всякая замена есть нечто маленькое, но, не берясь рассуждать, насколько всякая такая замена и по существу есть нечто маленькое, невольно встает вопрос: о чем все это говорит? Ведь что-нибудь да значит это систематическое вытеснение церковности, и само по себе должно являться показательным, и нет ему конца и предела.

В основе этого явления лежит отсутствие страха Божия. Страх Божий — это такое чувство, что мы постоянно находимся лицом к лицу с Высшим Существом, это постоянное ощущение всеми своими чувствами, всем организмом, всем существом, что пред нами такой слой бытия, к которому неприменимы наши обычные меры. Отсутствие этого чувства и влечет перемены в богослужении. Ведь не станем же мы хозяйничать в чужой квартире, передвигать в ней мебель, изменять состав библиотеки и т.д., а в церкви мы изменяем порядки, не зная таинственных причин, определяющих их существование, словом, чувствуем себя так, как будто мы не в Доме Божием, а в чисто человеческом учреждении.

Причина всего этого — отсутствие онтологичности в нашем мировоззрении: мы ничего не продумываем до конца и постоянно забываем, что именно в явлении есть подлинное и что — второстепенное, забываем, что наша реальность есть только подражание другой, высшей реальности, и что ценна она не сама по себе, а как носительница этой высшей реальности; забываем, что богослужение — не представление на сцене, а выявление в нашей сфере иного слоя бытия.

Такое мировоззрение и миропонимание бывает выражено, правда, ясно весьма редко, но тем труднее с ним бороться, и тем хуже оно и опаснее. Это — как тлеющая головня: чадит, не дает закрыть печку, а где она, какой уголек чадит — неизвестно. Мировоззрение это можно охарактеризовать как не религиозное, как позитивизм.

Образовался и укоренился такой взгляд в русском обществе по причинам как историческим, так и психологическим. Протестантизм вообще имеет связь с дуалистическими течениями, а они были весьма распространены на Руси. Богомилство, получив отпор на юге в своем распространении, устремилось на север и заразило северян. Отсюда — наблюдаемое в простом народе и у интеллигенции гнушение плотью ("Крейцера соната"), аскетизм не ради Бога, а на почве отвращения к телу и миру. Кроме этого — в тайной предпосылке о несоединимости Бога с миром, непроницаемости мира для Бога, — отсюда отрицание возможности преображения мира и тайное отрицание воскрешения тела. На языке философском это — позитивизм, агностицизм (потому что если транспонировать идею о несоединимости Бога и мира на философские понятия, то это есть именно агностицизм, признающий непроницаемость бытия для Истины). Между тем православное мировоззрение усматривает в мире его пронизанность лучами Истины; видит в мире другой мир, смотрит на бытие тварное как на символ бытия высшего. Имяборчество же есть отрицание возможности символа.

Понятие символа есть узел в вопросе об Имени Божием, а имяборчество — удар и попытка разрушить понятие символа. Имяборчество опасно именно тем, что оно разлито незаметно всюду. Ярких его представителей нет, и в появлении его никто в

отдельности как будто не виноват, и выражается оно не в тех или иных идеях, а в общем миропонимании, воспринятом малосознательно или бессознательно. Вопрос о символе есть вопрос соединения двух бытий, двух пластов — высшего и низшего, но соединении таком, при котором низшее заключает в себе в то же время и высшее, является пронизываемым для высшего, пропитываемым им. А по богомилству и позитивизму эти слои бытия признаются несоединимыми, потому что этим воззрениям чуждо понятие ценности бытия.

Примеры символов.

1. Книга. Что такое книга? Отвечать на этот вопрос можно различно, смотря по тому, будем ли мы [брать] во внимание ее внешность или же главным образом вместе с тем и внутреннее ее содержание, так сказать душу книги. Со стороны низшей, материала, книга есть некоторое количество листов бумаги известного формата, переплетенных и т.д. На этой бумаге напечатаны определенные черточки и точки такой-то краской по ее химическому составу и т.д. и т.д. Но как бы далеко мы не шли в этом направлении, т.е. разбирая внешность книги и ее материал, мы никогда не встретимся с высшим бытием, которое именно и характеризует понятие о книге как об одном из осмысленных способов выражения и закрепления человеческой мысли. Связь между смыслом, с одной стороны, и бумагой и чернилами — с другой, необъяснима, а то, что она существует — очевидно и бесспорно. Иначе не могло бы быть и книги. Здесь высший пласт бытия связан с низшим и притом так органически связан, что, разрушая низшее, мы непременно уничтожим и высшее.

2. Семя растений: в нем заключена жизнь растения, оно несет в себе нечто большее и качественно высшее, чем имеет в себе в наличности.

3. Комплекс слов. Слово может расти, подобно росту растения, постепенно происходит амплификация слова, оно может расти, пока не делается организмом, способным осеменять другие души. В Священном Писании аналогия Слова и Семени — одна из самых настойчивых, равно как и во всей мировой, более или менее глубокой человеческой мысли. Гомологическим стро-

ением нашего организма объясняется глубокая связь рождений физического и духовного.

Во всех этих примерах есть две стороны — видимая и невидимая, два плана деятельности, связывающих и укрепляющих друг друга, подобно как душа и тело в человеке. А мы склонны считать тело слова, тело в слове чем-то ничтожным, ничего не значущим. Мы часто говорим: это — только слово, это — только одни слова. Такой взгляд — подготовка психологической почвы для имяборчества. Если звуковая сторона слова, тело его, почти что ничто (а душа слова все-таки есть нечто), то образуется разрыв между телом и душою слова, о котором говорит имяборчество. Оно рассуждает так потому, что стремится все рационализировать, между тем как слово, как и всякий символ, лежит вне пределов рационального понимания. Тело слова кажется на первый взгляд элементарным. Но даже западноевропейское проникновение в него, в сущности очень грубое и неглубокое, видит в нем три напластования:

1. Нечто физическое — фонему. Под ней разумеется как колебание воздуха (звук), так и те внутренние ощущения организма, которые мы испытываем, производя звуки слова, а также психологический импульс, вызывающий произнесение слова. Таким образом, под первой материей слова, фонемой, разумеются физиологические и физические явления, какие бывают при произнесении слова.

2. Морфема. Всякое слово подлежит известным категориям, или (говоря на языке познания) отлито в логические категории, например, *сущность*, *субстанция* и т.д., и грамматические — род и т.д., и вообще все то, что мы примысливаем к первичному представлению (например, в слове "береза" — все, что мы знаем о ее росте, осыпании, вкусном соке, ее строении, ее достоинстве как топлива, химических элементах, входящих в ее состав и т.д.).

3. Напластование — семена, значение слова. Оно постоянно колышется и меняется (например, сегодня я скажу "береза" мечтательно, завтра — хозяйственно). Это — известный привкус к слову. Яснее он чувствуется в поэзии — из всего типа произведения. Чтобы понять слово правильно, надо понять из кон-

текста, что именно *здесь* и *теперь* хотел сказать человек, произнесший слово. Слово бесконечно богаче, чем оно есть само по себе. Каждое слово есть симфония звуков, имеет огромные исторические наслоения и заключает в себе целый мир понятий. Об истории любого слова можно написать целую книгу. Тем-то и отличается одна эпоха мысли от другой, что всякая историческая эпоха выдвигает свои определенные наслоения на слово.

Фонема есть костяк слова, наиболее подвижный и менее всего нужный, хотя он в то же время есть необходимое условие жизни слова. Морфема — тело слова, а семена — душа его. Все это содержание слова присутствует в нем, как в семени присутствует весь организм, как сын получает свой организм от отца, и как можно сказать, что отец присутствует в сыне, хотя в то же время организм отца остается при нем и в нем самом, и отец ничего не теряет. Здесь видно различие сущности и энергии, деятельности — организм сам по себе и деятельность присутствующей в организме энергии. Эта энергия, будучи отлична от организма, есть в то же время именно *его* энергия и неотделима от него, так что, прикасаясь к его энергии, мы необходимо должны прикоснуться и к нему самому. У отца — свой организм, а сын — производное его энергии, его самораскрытие, а не существо. Это же можно сказать и о слове.

Афонский спор опирается на древний паламитский спор времен преподобного Сергия, который им очень интересовался и посылал на него своего ученика. Наше время вообще подобно тому времени, только взаимнообратно. Историческая обстановка, при которой происходили паламитские споры, была похожа на нашу. Византия, как и Россия, искала внешней опоры и испытывала ряд стеснений.

Почву для споров о Фаворском Свете подготовили еще раньше бывшие споры о *filioque*. Католики, желая подорвать значение Афонского подвижничества, постарались изобразить умную молитву как дело прельщения, а веру подвижников в то, что они входят в общение с Богом — ложной и состояние исихастов представить как не выводящее человека из сферы земли.

Варлаам утверждал, что или подвижникам является что-то

тварное, следовательно, выводящее их за пределы твари, и, таким образом, галлюцинаторное в отношении к Богу, или же они соединяются с самой сущностью Бога. Но т.к. это соединение твари и Творца невозможно, то, следовательно, остается первое положение, то есть они обманываются относительно природы видимого ими света. А если в результате своих подвигов они приходят к самообману, если венец подвига ложен, то, следовательно, ложен и весь путь их подвижничества, следовательно, он вреден, поэтому с Афоном нужно покончить. Варлаам рассуждал, что Бог — простое существо, следовательно, нельзя различать в Его Природе ничего, кроме Божества, а если и можно, то только в нашем человеческом субъективном отвлечении. Следовательно (это мысли Евномия), или Божество неименуемо — если Его Сущность непознаваема, т.е. нужно принять или игностицизм, если Бог нам совсем не известен, или рационализм — если Бог всецело исчерпывается нашими понятиями. Палама же рассуждал: в Боге, наряду с Существом, есть и деятельность, самораскрытие Божества. Эта Божественная Энергия может сообщаться людям, и мы, приобщаясь к этой деятельности Бога, приобщаемся и Самому Богу. Палама не сказал ничего нового, он только объединил и сформулировал то, что было сказано Святыми Отцами...

Из анафематизмов: "действия не имеет только то, что не существует". Если же действие существует, то существует и причина действия, и действие являет собой существо, и наоборот: существу соответствует и деятельность, так что Имя Бога равно приложимо и может обозначать как Бога, так и Его Божественное Действие. Но может быть вопрос: это действие сотворено Богом или же искони было Ему присуще, т.е. созданное оно или не созданное. Так как существо есть причина действия, то раз существует действие, должна быть и причина, его производящая, а с другой стороны, все существующее обязательно имеет действие, так что существа без действия быть не может; следовательно, сущность и энергия существуют вместе, рядом, обусловлены друг другом, а не одно после другого. Поэтому одинаково можно назвать Богом и Бога, и Его Энергию, и можно сказать: "Я вижу Бога". Но т.к. Существо Бога нам не со-

общимо, то мы или должны совсем отказаться от самого слова "Бог", или же относить его к Энергии Божественной. Поэтому можно и нужно сказать: "Бог меня исцелил", а не "Энергия Бога исцелила". Надо признать, что или этот тезис бесспорен, или же мы совершенно отделены от Бога (признав последнее, впадаем в агностицизм).

Другой пример. Я могу сказать: "Вот солнце", а на самом деле я вижу лишь его энергию, но она есть объективная энергия именно солнца, и, воспринимая ее, мы имеем интуицию солнечного зрения (если же встать на точку зрения кантианства, то надо сказать, что я вижу некоторый, в конце концов, лишь во мне происходящий процесс).

Мы только тогда можем выйти и выходим из комплекса своих ощущений, когда признаем брачную встречу объективного с нами. Я могу сказать про объект познания: "Вот я, познающий солнце, и вот познаваемое солнце". Следовательно, во мне происходит соединение двух энергий и, следовательно, существ. Весь процесс спасения есть синергический. Слово есть синергия познающего и вещи, особенно при познании Бога. Человеческая энергия является средой, условием для восприятия Высшей Энергии — Бога.

Можно сказать про книгу: "Вот бумага" или "вот великое произведение искусства". Можно сказать и так и сяк, но правильнее указать на духовный смысл книги, а не на условие его обнаружения. Можно сказать, что Евангелие есть фунт бумаги или же, что Имя Божие есть звук, и хотя с известной стороны и можно так говорить, например, про вес Евангелия в почтовой посылке, однако более правильно указать на важнейший признак, на душу символа. Физик может сказать, что Имя Божие — звуки. Да, но не одни только звуки. И такое выставление на первое место истины низшего порядка, выставление части вместо целого — есть ложь.

Имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя. Существо Божие выше Энергии Его, хотя эта Энергия выражает Существо Имени Бога. То, что я вижу, глядя на солнце, есть именно солнце, но солнце само по себе не исчерпывается тем только действием, которое оно на меня производит. Или: слыша голос знакомого

человека, я могу сказать: "Вот N.N.". Но ведь это только голос его, а сам он несравненно выше своего голоса, т.к. имеет массу других индивидуальных признаков и нисколько не исчерпывается только голосом. Или: "Вот N.N.", а на самом деле это — его фотографическая карточка, и присутствует он в ней лишь своей энергией.

Мы можем, однако, различать в приведенных примерах энергию человека от него самого только потому, что мы имеем иные восприятия человека, т.е., кроме его голоса или облика.

Мы можем смотреть на предмет и его энергию или сверху вниз, или снизу вверх, т.е. или от предмета подходить к его энергии, или от энергии к предмету. А т.к. на Бога мы можем смотреть только снизу вверх, то, следовательно, мы не можем отделить от Бога Его Энергию, различить в нем Его Самого и Его Энергию.

Мы опять подходим к вопросу о символе. Символ — такого рода существо, энергия которого сорастворена с энергией другого, высшего существа, поэтому можно утверждать, — хотя это и могло бы показаться парадоксальным, — что символ есть такая реальность, которая больше себя самой.

Нам нужно выяснить также вопрос о связи познания и именования. Слово может быть не связано с голосовой артикуляцией. Первый момент в акте познания — это когда мы направляемся к некоему познаваемому существу. Это — еще субъективный процесс. И вдруг наступает момент внутреннего вскрика при познании реальности. Это — уже момент вхождения в объективное. Наименование бывает в один момент с познанием. Слова Симеона Нового Богослова: "Ум, не рождающий слова, не может принять и других слов". Бог именуем — это первое положение христианского познания. В пантеизме мы Бога не именуем, а в откровении с этого все начинается: беседа с самарянкой — "мы знаем, кому кланяемся", т.е. именуем Его. Перед пришествием Иисуса Христа было заметно, с одной стороны, искание богов, а с другой — искание имени. А когда пришел Иисус Христос, поиски неведомых богов стали ненужны. С возвращения Неведомого Бога начал речь свою и ап. Павел в Ареопаге. Христианство есть проповедь Имени Иисуса Христа и

Евангелия, призыв исповедать Имя Христа. А мы подменяем это исповедание Имени исповеданием Самого Иисуса Христа. Мы не понимаем важности, значимости, массивности Имени Божия, которое в Библии, особенно в Ветхом Завете, выступает с необычайной ясностью.

Психологическое впечатление от Имени Божия выражено как впечатление тяжести. Это как падающий на голову слиток золота. В Ветхом Завете понятие Имени Божия почти тождественно с понятием Славы Божией. Между ними происходят почти постоянно переклички. Мы склонны думать, что Слава Божия — это совокупность похвал человеческих и ангельских, вообще тварных, т.е. нечто непостоянное, зыбучее. На самом же деле это — сущее, реальное, даже страшное по своей реальности. Ее реальность лишь открывается людям. Слава Божия, как облако, наполнила Святая Святых. Она — не текущие и зыблущиеся человеческие мнения и суждения — ради Славы Божией создан весь мир и существует все бытие. Вообще в Священном Писании понятия Славы Божией и Имени Божия так сближаются, что, грубо говоря, они — одно и то же. Вот пример, показывающий онтологический характер Славы. Давид говорит Голиафу: "Ты идешь с оружием, а я во Имя Господа" [...] "Я иду с Именем Божиим" равносильно: "Я с мечом в руках", а не во имя отвлеченной идеи. Здесь ярко подчеркнута конкретность Имени как орудия, среды и причины.

То же самое: "Тии на колесницах и тии на конех, мы же Имя Господа Нашего призовем". Призывая Имя Божие, мы оказываемся в состоянии противостоять коням и колесницам: инструментальность и локальность Имени Божия, соприкасаясь с произносящим, распространяется и на него. Та же мысль в выражении: "благословлять или проклинать Именем Божиим". По библейским понятиям это значит, что Имя само благословляет или проклинает, а мы являемся лишь орудием для его действия и той благоприятной средой, в которой оно действует. Имя управляет мной, хотя на это требуется мое соизволение. Наше же отношение к богослужению показывает, что мы стоим на точке зрения, близкой к имяборчеству, потому что если мы постепенно изменяем церковную службу, выдирая из нее все по

волоску и по волоску, то, спрашивается, где же начинается абсолютное и неизменяемое. Где граница, отделяющая человеческую имитацию от Божественной подлинности. Может быть, можно так без конца выщипывать. Ведь если встать на точку зрения имяборчества, то мы окажемся не в состоянии ответить, например, крещен ли человек. Потому что если богослужебные формы имеют происхождение чисто человеческое и, следовательно, если благодать Божественная зависит от воли человека, то как можем мы знать, достаточна ли была наличная степень веры его родителей, желание священника совершить таинство и т.д. и т.д., словом, были ли налицо те условия, которые позволяли бы благодати снизойти на крещаемого. Лучше поэтому все сразу отвергнуть, т.к. не имеет никакого смысла играть в эту лотерею: ведь это только кипение в собственных благочестивых чувствах. А ведь и чувства-то имеют право на существование лишь постольку, поскольку мы верим, что каким бы то ни было образом мы можем вырваться из области тварного, выйти за пределы земного.

Точно также если имяборцы скажут, что "мы не доске, а Богу поклоняемся", то я спрошу их: "В чем корень их веры, что это — именно так?" Ответ на это в глубочайшем и непосредственном убеждении каждого человека, что, призывая Имя Божие, мы выходим из области имманентной, подобно тому, как, открывая окно, мы впускаем в комнату свет. Окно есть нечто, принадлежащее дому, и отверстие, дающее возможность войти наружному свету. Можно сказать про окно: "Вот солнце!", так и про Энергию Божию: "Вот Бог". Здесь гарантия того, что наше богослужение есть именно Богослужение, а не кипение в своих благочестивых чувствах. Здесь же гарантия таинств.

Митрополит Филарет сказал, что Именем Божиим совершаются таинства. Это значит, что Имя Божие совершает их, а мы являемся лишь посредствующей силой; например, желание священника служить, его горло, его и наше решение призвать Бога и т.д. и т.д. При молитве мы даем тело для проявления Имени Божия или Славы Божией, соизволением — "да будет по слову Твоему", но Имя Божие дается нам, а не создается нами. У нас же очень часто не понимают этого. [...]

Да и по непосредственному нашему чувству, когда мы говорим: "Господи, помилуй", может ли быть какая преграда, среда, средостение или хотя бы даже тонкая пленка между словом: "Господи" и Богом, и неужели мы остаемся только в своей субъективности?

Но как бы мы ни рассуждали отвлеченно, какие бы теории ни создавали, практически мы непременно мыслим, что произнесение Имени Божия есть живое вхождение в Именуемого.

1921 г.

"РУССКАЯ ЖИЗНЬ"

Русская национальная газета,
основана в 1921 году в Сан Франциско.

Отделы: Религия, наука, история, политика, литература,
спортивный, хроника, медицинский, юмор,
крестословцы.

Выходит ежедневно, кроме воскресений и понедельников.
Подписка сроком на один год — 75 дол., 6 мес. — 40 дол.,
на 3 мес. — 25 дол., на 1 мес. — 10 дол.

"RUSSIAN LIFE"

2460 Sutter St.
San Francisco, CA 94115

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

КОРРЕСПОНДЕНТ — АДРЕСАТ

Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.

Октябрь 1915 г.
Марина Цветаева

”Двадцати лет, великолепная и победоносная”¹, Марина Цветаева выпускает сборник ”Из двух книг”. Стихам предшествует короткое предисловие — своеобразный эпиграф:

”Все это было. Мои стихи — дневник, моя поэзия — поэзия собственных имен...

Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох!..

Не презирайте ”внешнего”! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана — не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего неважного!..

Цвета ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, — все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души”².

И под этим победоносная подпись: ”Москва, 1913 г., января, Марина Эфрон, урожденная Цветаева”.

Эпитет ”победоносная” в применении к Марине Цветаевой,

Рукопись получена из СССР. Печатается без ведома и разрешения автора.

1. А. Бахрах. ”Письма Марины Цветаевой”. — ”Мосты”, Мюнхен, 1960, № 5, стр. 315 (Письма к Бахраху).

2. Дается в сокращении.

пожалуй, самый странный из эпитетов. Робость — да. Это выглядывает из всех углов ее самопризнаний — в стихах, в письмах, в дневниковых записях.

И в воспоминаниях о ней тоже — хотя бы о манере ее при разговоре не смотреть собеседнику в лицо, — но в воспоминаниях чаще в подтексте, ибо ее не понимали: принимали *все* сплошь за гордыню.

”Я не победитель, — спустя десять лет писала она. — Говорю самое глубокое о себе, что знаю”³.

И тем не менее, в недолгий период ее счастливой жизни — первые годы замужества — Марина носила победоносную оболочку, которая была, пожалуй, более победносною, чем ее стихи. ”Победительные ритмы” (А. Белый) явились гораздо позже, когда облик Цветаевой был совсем иной.

В эти годы Марина Цветаева сближается с кругом Сергея Эфрона и его сестер — с кругом молодых актеров, среди которых она находит почитателей. Вот восторженный портрет Марины, оставленный одной из студий: ”... капор снят, и я вижу пышную шапку золотых волос. Я стою за ее спиной и о-о-й! — какое на ней платье! — необыкновенное, восхитительное: шелковое, коричнево-золотое, широкое, пышное, до полу, а тонкую талию крепко обнял старинный корсаж. У слегка открытой шеи — камей. — Волшебная девушка из прошлого века!.. Под шапкой золотистых волос вижу овал ее лица, вверху широкий, внизу сужающийся, тонкий нос с еле заметной горбинкой и ее зеленоватые глаза, глаза волшебницы”⁴.

Позднее Марина Цветаева сыронизирует над своей молодой победительностью: ”Только не умиляйтесь, я совсем не была умильной, я была героичной: то есть: бесчеловечной”⁵.

Своей последней книге, вышедшей в 1928 году, умудренная Цветаева предпошет совсем иной эпиграф — несколько видоизмененную цитату из Тредьяковского: ”От сего, что поэт есть творитель, не следует, что он — лживец: ложь есть слово против

3. Письма к Бахраху, стр. 336.

4. В. Швейцер. ”Своими путями”. — М. Цветаева. ”Стихотворения и поэмы”, в пяти томах, т. I, Н-Й., 1980, стр. 12-13.

5. Письма к Бахраху, стр. 335.

разума и совести, но поэтическое вымышление бывает по разуму так, как вещь *могла и долженствовала* быть”.

Эти два эпиграфа примиряет признание Цветаевой: “Во мне вечно страстно борются поэт и историк”⁶.

На первый взгляд, цветаевская мемуарная проза имеет все основания считаться “поэзией собственных имен”, “дневником”, “историей”. “Собственные имена”, многие из которых входят в историю нашей культуры, порождают великий соблазн принимать ее мемуарные эссе за документ. Но Цветаева сама признавалась, что она ручается за сущность, но не за подробности.

Обсуждая с В. Н. Буниной свой очерк об Иловайском, выпрашивая у нее подробности, она обосновывала: “Обожая легенду, *ненавижу* неточность”⁷.

Готовя очерк об открытии музея, она опять обращается к Буниной за подробностями: “Я все помню эмоционально, и почти ничего не помню достоверного: ни числа, ни часа, ни залы...”⁸. В другом письме ей же утверждала: “Я, конечно, многое, *все*, по природе своей, иносказую, но думаю — и это жизнь. *Фактов* я не трогаю никогда, я их только — толкую. Так я писала все свои большие вещи”⁹.

Конечно, мы не можем не доверять самопризнаниям Цветаевой. Но, тем не менее, они не могут служить и доказательством очевидности. Ведь любое самопризнание — это не свидетельство очевидца, а прежде всего *высказывание*, природу которого сама Цветаева хорошо понимала: “Что я в ущерб чему в жизни не провозглашала!.. Самое обратное себе — в ущерб самой себе!”¹⁰

Марина Цветаева перетолковывала и сами факты. И дело, конечно, не только в памяти. Вот, например, в “Повести о

6. Письмо В. Н. Буниной от 28.8.33. — М. Цветаева. “Неиздан. письма”, Париж, 1972, стр. 434.

7. Письмо В. Н. Буниной от 21.8.33. — Там же, стр. 420.

8. Письмо от 26.8.33. — Там же, стр. 428.

9. Письмо от 24.8.33. — Там же, стр. 423.

10. Отрывки из книги “Земные приметы”. — М. Цветаева. “Избранная проза”, в двух томах, т. I, Н. Й., 1979, стр. 106-122.

Сонечке" Цветаева рассказывает, как она познакомилась с Антокольским. В октябре 17-го года в поезде, следовавшем из Москвы в Крым, "молодой мужской голос" читал стихи о революции, о свободе. Некий юнкер, уже побывавший в сражениях, читал стихи своего товарища, семнадцатилетнего гимназиста Павлика Антокольского. Вернувшись в Москву, Марина разыскала Павлика. Он был "в гимназическом, с пуговицами", походил на Пушкина.

Что из этого соответствует действительности? Мужской голос, *стихи* и Павлик Антокольский. Все остальное — плод сознательной фантазии Цветаевой.

Стихи читал не какой-то юнкер "с верхней полки", а знакомый Марины и Сергея, который провожал ее на поезд, а сам никуда не уезжал; стихи он читал не те, которые приводит Цветаева в тексте повести (те, кажется, вообще еще не были написаны), а другие. И, наконец, Павлик Антокольский, может быть, и казался Марине похожим на Пушкина, но не имел "бачков" и давно уже не носил гимназической формы: к этому времени ему исполнился двадцать один год¹¹.

Или вспомним знаменитую сцену убийства А. А. Иловойской в очерке "Дом у Старого Пимена", совсем в духе Достоевского, когда дворник Иван ночью стучится в квартиру Иловойской, а затем впускает в дом бандитов: "Входи, ребята". На самом же деле Иловойская была убита не дома¹². Неточна Цветаева бывала даже в письмах. Нередко, например, искажала свой возраст или возраст своих детей. Известно, что ее "вольные" фантазии вызывали многочисленные нарекания. Так, не раз утверждалось, что облик Волошина в "Живое о живом" "придуман". Анастасия Цветаева отмечает, что многое у Марины относительно нее или их матери — вымысел. А их сестра Валерия была просто в ужасе от воспоминаний Марины: "Что за идеи! Какой черт, и почему он жил у меня в комнате?"

11. См. Л. Левин. "Четыре жизни. Хроника трудов и дней Павла Антокольского". Изд. 2-ое, М., 1978.

12. Во дворе Старокошюшенного переуллка, дом 16. (См. заметку, перепечатанную из "Вечерней Москвы" в газете "Руль" от 22.3.29).

К мемуарам Цветаевой нельзя относиться как к документу, то есть как к хронике. Думается, сейчас это уже поняли все, даже участники *горячих споров*. Марина Цветаева сама изложила *законы* своих мемуаров: "Думаю, что для редактора важнее всего: *как* вещь написана, т.е. *кто* ее написал, а не о ком. И думать, что мои воспоминания о знаменитом, скажем, литераторе ценнее моих же воспоминаний о сеттере "Мальчике", например, — глубоко ошибаться. Важна только степень увлеченности моей предметом, в которой *вся* тайна и сила (тайна силы)"¹³.

В другом письме Буниной она писала: "... Какова *цель* (Ваших писаний и моих — о людях)? ВОСКРЕСИТЬ. Увидеть самой и дать увидеть другим"¹⁴.

Если мы поймем, что в своих мемуарах Цветаева ставила задачу не восстановить протокол, а *воскресить* свое отношение к событиям и людям, преломленное не через стекло нормативности, а через призму ее горячего сердца, сердца, к которому можно отнести слова Шекспира:

Любовники, безумцы и поэты

Из одного воображенья слиты,

(перевод Ф. Тютчева)

то все сразу станет на свое место. И все поправки любителей точности окажутся попросту неуместными.

Марина Цветаева создавала не образы людей, а образы своего отношения к ним. Поймать поэта на противоречиях легко. Но противоречия эти — кажущиеся. Они определяются эстетическими принципами.

Луи Арагон как-то сказал: "Ничто так не похоже на нас, как наше воображение". Под этим могла бы подписаться и Марина Цветаева. Но Арагон шел по пути "большой литературы", чей главный принцип состоит в том, чтобы искусство как можно более походило на жизнь. Цветаевский же принцип был иной. Она исходила, скорей, из того, что сама жизнь должна походить на искусство.

13. Письмо В. Н. Буниной от 12.9.33. — М. Цветаева. "Неиздан. письма", стр. 438.

14. Письмо В. Н. Буниной от 24.8.33. — Там же, стр. 422.

Арагон был против мемуаров: он считал, что мемуары — тоже маска, но менее честная, чем роман. В мемуарах автор невольно "щадит друзей", а подчас "чернит врагов". Цветаева же, напротив, утверждала, что "записи, живое, ЖИВЬЕ... по мне тысячу раз ценнее художественного произведения, где все переиначено, пригнано, неузнаваемо, искалечено"¹⁵.

Она не боялась, что кто-то "очернит", ибо, как она говорила, "мне, чтобы о человеке сказать, нужно его любить пуще всего"¹⁶. Цветаева писала, что любит дневник Гонкуров, чувствует его "своим (т.е. живым!)", и не терпит их романов, которые основаны на этом дневнике¹⁷.

Роман требует авторской отстраненности — Цветаевой же нужно, в первую очередь, ее присутствие. Роман — это хранилище знаний автора о мире. Задача Цветаевой — чтобы мир узнал о ней. По сравнению с миром, автор может быть ничтожеством, т.е. творение больше творца. Излюбленная же мысль Цветаевой: творец больше своего творения.

Создавая свои образы, Марина Цветаева создает вместилище не для мира, а для своего "я". Поэтому ей нужен не вымышленный мир романа, а подлинный жизненный материал. Отсюда ее мемуарность. Ощущая необъятность своего "я", Цветаева стремится и *вместилище* создать наиболее объемным, чтобы было где *вместиться*.

Не трогая сущности фактов, она вынуждена часто менять их оболочку. Как говорил Аполлинер: "Когда человек захотел воспроизвести шаг, он создал колесо, которое на ногу".

Перед нами не проза, не мемуары, даже не дневник. Просто письма. Корреспонденция, идущая от одного определенного человека к другому. Они пролежали под спудом шестьдесят лет

15. Письмо В. Н. Буниной от 24.8.33, — М. Цветаева. "Неиздан. письма", стр. 422.

16. М. Цветаева. "Письма к Анне Тесковой", Прага, 1969, стр. 84.

17. Письмо В. Н. Буниной от 24.8.33, — М. Цветаева. "Неиздан. письма", стр. 422.

и напечатаны в труднодоступном источнике¹⁸. Не для общего обозрения. И надо сказать, что их издание не соответствовало желанию тех, кто претендует на право распоряжаться литературным наследием Цветаевой. Некогда Брюсов испугался "жуткой интимности" "Вечернего альбома" Цветаевой. "Когда читаешь ее книгу, — писал он, — минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру".

"Интимность" цветаевских писем *такую* впечатлительность может повергнуть в шок. Мы привыкли в письмах находить биографический материал: бытовое окружение, факты, достоверные подробности. О письмах к Ланну публикаторы пишут так: "Читая эти письма, невольно вспоминаешь, что ранняя цветаевская проза рождалась из ее дневниковых записей. В письмах Ланну перед нами некая помесь письма, дневника и самой настоящей прозы". То есть, письма к Ланну — то, из чего рождались стихи и проза.

Прежде, чем перейдем непосредственно к "Письмам к Ланну", коснемся еще одной характерной цветаевской особенности. В очерке "Живое о живом" Марина Цветаева рассказывает о любви Волошина к различным мистификациям. Так, он мистифицировал журнал "Аполлон", сочинив поэтессу Черубину де Габриак; саму Марину он хотел превратить в нескольких поэтов: Петухова — автора стихов о России, близнецов Крюковых, брата и сестру, и т.п.

Цветаева охотно поддерживала подобные забавы. Они вполне совпадали с ее характером. Одна из ее соучениц по гимназии вспоминает, что Марина "очень любила всякие шутки и мистификации". Валерия Цветаева рассказывает, как Марина однажды "дала объявление в "Брачную газету", что требуется жених, указав при этом свой адрес". Когда Ася поехала вслед за сестрой в Коктебель, ее встретили там грандиозным розыгрышем: Сергея Эфрона выдали за Игоря Северянина, а его сестер — за некую

18. М. Цветаева. "Письма к Е. Ланну". — "Wiener Slawistischer Almanach," Wien, 1981, SS. 161-194.

поэтессу Марию Папер и не говорящую "по-русски ни слова" испанку Кончитту.

Не зная, как отблагодарить Волошина ("за все, что ты мне дал"), Марина пишет ему: "Чем я тебе отплачу? Знай одно, Максенька, если тебе когда-нибудь понадобится соучастник в какой-нибудь мистификации, позови меня..."¹⁹. В том же письме к Волошину она расхваливает Жан-Поля: "В нем главное... удивительная смесь иронии и сентиментальности. К тому же он ежеминутно насмехается над читателем".

Контур жизни Марины Цветаевой после замужества — в Москве, в квартире на Сивцевом Вражке, в Коктебеле, летом 14-го года и т.д. — носили характер декоративности, маскарадности, где игра воображения часто переходила в игру с действительностью.

Сергей Эфрон в рассказе "Волшебница" показал нам Марину, которая, как говорится, "напускала на себя вид". На предложение сесть: "Благодарю вас, я никогда не сижу, я терпеть не могу сидеть". Даже обедала стоя. На предложение завтракать: "Никогда завтракать не буду. Ни сегодня, ни завтра — никогда".

Такою же себя показывает и она сама. В "Живое о живом" — первая встреча ее с Волошиным; в "Нездешнем вечере" — сидит на шкуре медведя на полу; в большом очерке "Герой труда" и в маленьком рассказе "Чесотка" (цикл "Из дневника") — везде Марина подчеркивает свою склонность к своеобразному эпатажу — готовность *демонстрировать*.

Игра с действительностью — не нарушение традиционного образа поэта. Вспомним маскарадность "Арзамаса", мистическую игру символистов, желтую кофту футуристов. Даже такой серьезный философ и поэт, как Владимир Соловьев, любил озорную пародию. У иных веселая театральность переходила в жизненную позу, в своеобразную маску представительства, как, например у Бальмонта, у Ремизова, или защитную маску, как, скажем, у Есенина.

"В проявленном — сила", — писала Марина. Для проявления

19. М. Цветаева. Письмо к М. А. Волошину от 26.7.11 — "Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1975 г.", Л., "Наука", 1977, стр. 167.

своих "странностей" многие поэты имели публичную арену: салоны, кружки, литературные кафе, групповые альманахи. Становление Цветаевой как поэта не знало подобной публичной арены. Она была вне всяческих групп. Единственной такой ареной для нее оставались тетрадь и личные отношения. То, что у других могло выливаться в манифестах и декларациях, у нее — только в бытовом общении. Может быть, поэтому ее "странности", которые, по сути, вообще свойственны поэтам, производили такое ошеломляющее впечатление.

Мистификаторство Цветаевой утрачивало непосредственный игровой характер. Мистификация становилась манифестацией, была не просто защитной маской, но служила утверждению ее жизненных и поэтических принципов. Марина Цветаева *играла всерьез*. И это почему-то иных задевало, вызывало неприязнь.

М. Л. Слоним, который оставил едва ли не самые лучшие воспоминания о ней, доброжелательно рассказывает, как он в Берлине познакомился с Цветаевой. Будучи литературным редактором "Воли России", он предложил ей сотрудничать в журнале и приглашал заходить к ним в редакцию после ее переезда в Прагу. Слоним предупредил ее о политическом направлении журнала (орган социалистов-революционеров) и рассказал, что редакция находится в том помещении, где некогда Моцарт, по преданию, сочинял "Дон Жуана".

Слоним пишет: "Она ответила скороговоркой: "Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает". Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение"²⁰.

Ф. Степун, описывая свое знакомство с Мариной, с раздражением отмечает "некий неизничтожимый эгоцентризм ее душевных движений". Он вспоминает, что у нее "получалось как-то так, что она еще девочкой, сидя на коленях Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гете, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку,

20. М. Л. Слоним. "Из воспоминаний". — "Новый Журнал", № 100, стр. 156.

которого в мире, быть может, и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево"²¹.

Вокруг имени Цветаевой наслоилося немало легенд. Почти каждый мемуарист почему-то считает своим долгом положить и свой камень в памятник засвидетельствования трудного характера Марины Цветаевой. Сколько выражено обид, сколько высказано упреков в пренебрежении Цветаевой людьми, в ее жесткости, в ее высокомерии, в ее неблагодарности.

Когда читаешь многие воспоминания, то представляется, будто речь идет не о великом поэте, а так, о какой-то странной, неуживчивой соседке, даме с плохими манерами и большими претензиями, которая где-то училась и недоучилась, сочиняет длинные поэмы, которыми занимает занятых людей.

Цветаева — современница Ахматовой, Мандельштама и Пастернака, Маяковского и Есенина. Все эти поэты еще при жизни прочно занимали место на поэтическом Олимпе, переживали периоды всеобщей славы. Все, что было связано с их именами, всегда воспринималось как литературное событие. Цветаева же, начиная с "Вечернего альбома", по-прежнему "ходила в приготовительный класс", в лучшем случае — была "премированным щенком" (ее выражение в "Герое труда").

Марина Цветаева ощущала свой дар как не принадлежащий ей, как нечто, независимое от нее, проявление высшей силы. И отношение к себе воспринимала как отношение к богу Аполлону. И она видела, что люди этого бога *не чтят*.

С одной стороны, признавали ее большой природный дар, но, с другой стороны, относились к ней как к мелкому чиновнику из департамента литературы. Отношение к Цветаевой можно сравнить разве что с отношением к Лермонтову, который в литературе тоже был одиночкой. Многие современники видели в нем не великого поэта, а, в первую очередь, незадачливого гусара, поручика с плохим характером, который, между прочим, писал еще и стихи. Отсюда, безусловно, его язвительность и порой злые насмешки.

Отсюда, безусловно, и цветаевское "высокомерие".

21. Ф. А. Степун. "Москва накануне войны 1914". — "Новый Журнал", № 26, стр. 157.

Но о каком высокомерии Марины Цветаевой может идти речь? Разве кто-нибудь стоял перед ней с протянутой рукой? Разве кто-нибудь бывал зависим от нее? Ждал от нее решения своей участи или участи своих произведений? Ведь это она всегда ждала у парадных подъездов разных палат. Ждала разрешения на выезд или на прописку, ждала продления чешской стипендии или субсидии гонорарного фонда в пользу неимущих писателей, ждала какой-нибудь комнаты или второго обеда для сына из столовой Литфонда, предоставления зала для устройства литературного вечера или, как нищая, протягивала свои рукописи, которые отказывались печатать из-за несвоевременности или из-за их "политики", или из-за их сложности, или из-за их объема. Не печатали Брюсов, зав. ЛИТО, "Геликон", частный издатель, не печатали "Современные записки" и "Последние новости", не печатали "левые" и не печатали "правые", не печатали ее русских стихов и не печатали ее французских переводов.

Как-никак Марина Цветаева в литературе проработала тридцать лет. И за это время — ни одного юбилея, ни одного издания "Все сочиненное", ни одного сборника "Избранного", ни одной обобщенной итоговой статьи о ее творчестве. В этом отношении ее литературная судьба несопоставима. Не отсюда ли длящееся до сих пор недоумение иных ее собратьев, что Цветаева по читательскому интересу многих опередила и вышла на первое место? И не отсюда ли в памяти современников Марина Цветаева остается не великим поэтом современности, оказавшим большое влияние на дальнейшее развитие поэзии, а *незадачливой соседкой*?

Корней Чуковский вспоминает о молодом Маяковском, к которому он, Чуковский, уже маститый критик, проявил внимание. На это внимание Маяковский ответил высокомерной небрежностью. И с каким восторгом умиления пишет об этом Чуковский! Как бы извиняясь за то, что он посмел отнестись с некоторой покровительностью к *такому* поэту, в котором "уже чувствовался человек большой судьбы, большой исторической миссии"²². И подобные воспоминания всегда приводятся как

22. К. Чуковский. "Современники," М., "Молодая гвардия", 1967, стр. 323.

характеристика независимости громадного таланта, знающего себе цену.

Не потому ли, что это писалось о поэте, чей каменный памятник уже возвышался на площади?

Цветаева допускала или поэтические вымыслы, или гиперболизированные умыслы. Она довольно жестоко мистифицировала и собственную жизнь.

Не всегда Марина Цветаева пренебрегала своим бытом. В юности она его стилизует. В годы своего увлечения Наполеоном она оборудует свою комнату в наполеоновском стиле: потолок превращает в темно-красное небо с золотыми звездами. Когда, после Трехпрудного, Марина подыскивает себе новое жилище, она стремится, чтобы новая квартира походила на дом в Трехпрудном. Квартира в Борисоглебском привлекает ее странным расположением в три этажа. В верхней комнате, в которой вместо окон был стеклянный потолок, она устраивает себе кабинет — знаменитую "чердак-каюту". Длиннен список представителей русской культуры, которых видели стены этой комнаты.

Стилизует она и свою внешность: челка, закрывающая ее "ненавистный" "высокий" лоб, на руках "сотня... серебряных перстней".

Когда вихрь событий разметал старый уклад и поддержание мало-мальского уровня быта стало грозить поглощением всех сил, Цветаева отказалась от всякого быта, стала нарочито его разрушать.

Словесные описания внешности Цветаевой 20-х годов рисуют нам совсем другой ее облик: худоба, землистый цвет лица, избитые, сожженные углем руки, желтые от никотина пальцы. Носила она какие-то нелепые прямые платья, перепоясанные юнкерским ремешком, через плечо — офицерская сумка, в которой тетрадь со стихами и сотни две папирос. Если раньше она была одета "ни на кого непохоже — нарядно", то теперь также "ни на кого непохоже — бедно". Но эту одежду она носит, как бы бравируя ею.

Такой же вид имело ее жилище. И. Эренбург вспоминает: "Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить

себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся, а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом...”.

В своих записках, напечатанных как отрывки из книги “Земные приметы”, Марина Цветаева перечисляет десятки предметов, захламляющих ее квартиру, поломанных и непригодных к употреблению. Когда Ася, приехав в 21-ом году из Крыма к Марине, кинулась чистить, мыть, убирать квартиру, Марина негодуяще отвергла ее усилия: “Мне это совершенно не нужно!”

В письме к Бахраху она писала: “Быт? Да это такая мерзость, что грех оставлять ее на плечах, уже без того *обремененных* крыльями!”²³

Многие ее высказывания убеждают нас в том, что ее беспомощность в быту — не просто следствие ее слабости, а сознательная позиция.

Себя в быту Цветаева анализирует как сторонний наблюдатель. Подводя итоги одному своему дню, она добавляет: “Пишу скверно, тороплюсь. Не записала... ни *постоянных* ожогов от углей, которые (нетерпение? ожесточение?) хватаю прямо руками...”²⁴. Там же, в другом месте: “А сегодня, например, я целый день ела, а могла бы целый день писать. Я совсем не хочу умереть с голоду в 19-ом году, но еще меньше хочу сделаться свиньей”.

Раньше быт входил в жизнь Цветаевой как бы незаметно, сам собою. Теперь же быт был у всех на устах, наваливался тяжелым камнем. Делать ему уступку — грозило превращением этого камня в могильный камень души. О такой тревоге писал Ходасевич:

В заботах каждого дня
Живу, — а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.

23. Письмо к Бахраху от 25.7.23.

24. “Чердачное”. — М. Цветаева. “Избранная проза”, т. 1, стр. 82-89.

Поэтому Марина решительно, раз и навсегда, быт отринула. Она предпочла обнаженную сущность: "Я — у которой все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело..."

Это было время, когда книгами топили печи.

Пытаться удержать быт на человеческом уровне — это все равно, что поддерживать позолоту на корешке книги, от которой ничего, кроме корешка, не осталось.

Чем больше вчитываешься в письма к Ланну, тем больше приходишь к убеждению, что их надо рассматривать как своеобразный поэтический жанр. В них — не протокол действительности, а мир, сотворенный воображением поэта по его законам.

За хаосом случайных подробностей, точных дат и имен явно ощущается и какой-то определенный план, и умышленное создание нужных (своих) образов, и выношенная поэтическая мысль, развитие которой дано по законам поэтического противоборства.

Двадцатый год был одним из самых тяжелых в цветаевской биографии. Марине Цветаевой двадцать восемь лет, она осталась одна с двумя детьми в своем запущенном московском жилье, которое именovala не иначе, как трущобой. Она нигде не служила, нигде не печаталась, ниоткуда не получала денег, не имела никаких запасов, ни вещей, которые можно было бы продавать или обменивать на еду. В доме было голодно, холодно и темно. Сергей Эфрон — неизвестно где, неизвестно, жив ли. Сестра Ася с сыном Андреем заперта в белом Крыму, что с нею — тоже неизвестно.

"Мой праздник жизни — стихи", — утверждала Марина Цветаева. Но стихов тоже не было. Декабрь 19-го — март 20-го — самые простойные месяцы у Марины: лишь десяток стихов и ни прозы, ни пьес.

На Марину обрушиваются беды: болезни дочерей, смерть младшей, Ирины, 2-го февраля в Кунцевском приюте. Трагична ее жалоба: "... я опять примеряюсь к смерти. — Милая Вера, у меня нет будущего, нет воли, я всего боюсь. Мне — кажется — лучше умереть. — Если С. нет в живых, я все равно не смогу жить. — Подумайте — такая длинная жизнь — огромная — все

чужое — чужие города, чужие люди — и мы с Алей — такие брошенные — она и я. Зачем длить муку, если можно не мучиться? Что меня связывает с жизнью? — Мне 27 лет, а я все равно как старуха, у меня никогда не будет *настоящего*”²⁵.

И все же было бы неверным соотносить силу отчаяния Цветаевой только с силой давления на нее экстремальных жизненных обстоятельств. Поэт, может быть, более других не приспособлен к преодолению быта. Но зато сердце поэта, может быть, более других забронировано от давления его неурядиц. Есть в мире другая, более могущественная сила, чем быт, которая опустошает сердце поэта и обрекает его на застой. Это — *отсутствие любви*.

В том же февральском письме Цветаева пишет: “Милая Вера, пишу на солнце и плачу, потому что я все в мире любила с такою силой. Если бы вокруг меня был сейчас круг людей. — Никто не думает о том, что я ведь *тоже человек*. Люди заходят и приносят Але еду — я благодарна, но мне хочется плакать, потому что никто-никто-никто за все время не погладил меня по голове”.

И вряд ли в этом стоит видеть эгоцентризм личности. Это — закономерное течение времени, в котором бьется сердце поэта. Метроном отсчитывает это время не по земным суткам, а по законам вечности. Не случайно Маяковский сказал: “За всех расплачусь, за всех расплачусь”. *За всех* — это время вечности.

Весной двадцатого года Цветаеву зачисляют в “члены Дворца Искусств по литературному отделению”, что дало ей возможность “получать за гроши три приличных обеда”. Ей выхлопывают “паек, дающий возможность жить”. Она зовет сестру в Москву: “Ася! Приезжай в Москву. Ты плохо живешь, у вас еще долго не наладится, а у нас налаживается, — много хлеба, частые выдачи детям — и — раз ты все равно служишь — я смогу тебе (великолепные связи!) — устроить чудесное место, с большим пайком и дровами.”²⁶.

25. Письмо В. К. Звягинцевой от 12/25 фев. 1920. — “Russian Literature”, IX-IV, 1981.

26. Письмо А. Цветаевой от 17.12.20. — М. Цветаева. “Неиздан. письма”, стр. 42.

Сама Цветаева не служит и служить не хочет: "Лучше повеситься". В Москве оживленная культурная жизнь: "Митинги — диспуты — лекции — театр — постановки, на эстраде — всяк, кто пожелает... Выступаю редко, ибо во главе литературы Брюсов, который меня не выносит. — Не напечатала ни одной строчки. — Да это все равно, мне даже спокойней"²⁷.

Начались активные встречи с людьми, новые знакомства. И у Марины Цветаевой снова начался творческий подъем. Пишет она много. За полгода: апрель-октябрь она создает свыше пятидесяти стихотворений и поэму-сказку "Царь-Девница". О напряженности ее творчества свидетельствует то, что огромную поэму — свыше трех тысяч стихотворных строк — она написала всего за два месяца: 14 июля — 17 сентября.

И вот что следует отметить. Быт Цветаевой, естественно, менялся. Были, действительно, черные дни, когда в доме не было ни крошки съестного, ни полена — ничего, кроме лютого холода, голода, болезней, одиночества. Но таких дней, как мы понимаем, за весь период ее жизни после революции было сравнительно немного. На фоне того опыта, который извели люди первой половины XX столетия, материальный уровень жизни Цветаевой для *выживания*, в основном, оставался достаточно сносным. Но если читать цветаевские материалы подряд, то у нас создается впечатление, что Цветаева на грани физического отчаяния находилась всю жизнь. И, главное, мы не заметим ощущения перехода от одного контраста к другому контрасту. В "Чердачном" она писала: "Я восприняла 19-ый год несколько преувеличенно, как его воспримут люди через сто лет: ни пылинки муки, ни солинки соли (золинок и соринок хоть отбавляй!) — ни крупинки, ни солинки, ни обмылка! — Сама чищу трубы, сапоги в два раза больше ноги, — так какой-нибудь романист, с воображением в ущерб вкусу, будет описывать 19-ый год"²⁸.

Можно сказать, что не только 19-ый год, а всю жизнь свою она воспринимала *преувеличенно*. Всю жизнь она воспринимала

27. Письмо А. Цветаевой от 17.12.20. — М. Цветаева. "Неиздан. письма", стр. 43.

28. М. Цветаева. "Избранная проза", т. I, стр. 82-89.

как жизнь *нечеловеческую*. И не в том дело, чтобы нам судить, имела ли она право на такое восприятие, а в том, чтобы усвоить себе, что таково было *зрение* поэта Марины Цветаевой.

Теперь от диспозиции перейдем к экспозиции нашего рассказа о письмах к Ланну.

О начале знакомства (17 ноября по-старому) рассказывает сама Марина в письме к Асе: "Три недели назад — стук в дверь. Открываю: высокий человек в высокой шапке. Вползающий в душу голос: Здесь живет М.И.Ц.? — Это я. — Вы меня не знаете, я был знаком с Вашей сестрой Асей в Коктебеле — год назад. — О! — Да — и вот...

Входит. Гляжу: что-то Борисино. (Иступленно думала о нем все последние месяцы и видела во сне). — Моя фамилия — Ланн.

Провели — не отрываясь — 2 1/2 недели. Теперь около 10 дней, как уехал — канул! — Победенный не мной, а *породой*. Это был конец выплаты долга тебе.

Это первая — прежняя! — радость, первой Пасхой от человека за три года"²⁹.

Ланн принес с собой привет от Аси, подробности о ее быте и сходство с Борисом Трухачевым, о смерти которого Марина недавно узнала. Бориса она "любила, как того брата, которого у нас не было"³⁰.

Ланн поразил ее своей внешностью, своей необычностью. "Мучительный и восхитительный человек", — отзывалась она о нем. "Профиль — извилистость, горбоносость, взлетающая в нежной ироничности над своей радостью бровь... Чернота почти до плечей отросших волос", — так описывает его в своих воспоминаниях Анастасия Цветаева³¹. Ей вторит Э. Миндлин: "Был очень худой, длинный, с крупным и тонким носом и волосами по плечи — такой же, как на портрете в журнале

29. Письмо А. И. Цветаевой от 17.12.20. — М. Цветаева. "Неиздан. письма", стр. 44.

30. Там же, стр. 45.

31. А. Цветаева. "Воспоминания", М., 1983, стр. 578.

”Творчество”, и почти такой же, каким мы знали его потом на протяжении трех с половиной десятков лет”³².

Свой портрет Ланна дает и Марина в письмах к Ланну же: ”Высокий воротник, глаза под высокой шапкой, мягкий голос и жесткие глаза”.

В письмах к Ланну Марина говорит о Ланне, как о постороннем человеке. И даже не как о человеке, а как о, скажем, произведении искусства, свое впечатление о котором она подкрепляет чужими глазами, т.е. характеризовать его заставляет разных лиц.

Как искусно Марина воплощает свое изображение! Она создает полный тревоги драматически-напряженный музыкальный фон.

Первое письмо Ланну — от шестого русского декабря 1920 года. С любопытным обозначением адресатов: ”Из трущобы — в берлогу”. Перед обращением стоит: ”Письмо первое”. Так обычно обозначают: глава первая, песнь первая.

Естественно, Марина любит писать письма. И собирается писать много писем. Но в то же время в этом — ”Письмо первое” — читается и другой смысл. Это, может быть, вовсе и не письмо, может, оно вообще не будет отослано, но оно должно быть написано, как пишутся поэмы.

”Дружочек! После Вашего отъезда жизнь сразу — о, *люто!* — взяла меня за бока”.

Что же произошло? Аля ушла из дома в двенадцать часов дня, и до девяти вечера нигде ее не могли разыскать. Все кончилось благополучно, об инциденте можно вполне забыть. Но почему же Марина начинает письмо на такой высокой ноте отчаяния? Да она вовсе и не собирается ни рассказывать о своей тревоге, ни жаловаться на Алю. Она хочет писать Ланну о Ланне, Ланну о себе, Ланну о высоких вещах, а не о детских шалостях и не о скучной для других естественной материнской тревоге. Но весь разговор с Ланном о Ланне и разговор с другими людьми на фоне этого тревожного музыкального кре-

32. Э. Миндлин. ”Необыкновенные собеседники”, М., 1979, стр. 174.

щендо оттеняет, усиливает, четко прочерчивает характеристику Ланна.

Провожали Ланна вместе с Мариной несколько человек. Как это обычно бывает, провожание длится заочно — уже без уехавшего. Разговор о Ланне ведется с некоей Месхиевой:³³

— Вы очень подружились с Ланном?

— Да — большой поэт и еще больший человек. Я буду скучать о нем.

— Вам нравятся его стихи?

— Нет. Извержение вулкана не может нравиться. Но — хочу я или не хочу — лава течет и жжет³⁴.

— Он в Харькове был очень под влиянием Чурилина.

— Однородная порода. — Испепеленные. — Испепеляющие”.

Сразу после этого диалога Марина продолжает: “Назначив друг другу встречу в понедельник (хоть любить ее не буду, — настороже, себялюбива и холодна!) — расстались”.

Контрастом *холода*, который любить она не будет, и испепеляющего огня Марина утверждает свои жизненные ценности. Много лет спустя она окончательно сформулирует: “Тайный жар и есть — жить. И вот теперь, жизнь спустя, могу сказать: все, в чем был этот тайный жар, я любила, и ничего, в чем не было этого тайного жара, я не полюбила”³⁵.

На фоне скульптурно-живописного подобию Ланна дается и его внутренняя суть: “Это человек *сведенный*, судорожный, исступленный... Он не доверяет легкости, — он брезгует ею. Он намеренно громоздит трудности. Ему нужны только непосильные задачи. О, ему трудно жить, — тем более, что все это из глубины, в большой серьез”.

Эта характеристика — не цветаевская. Это слова одного из ее знакомых, В. М. Волькенштейна, которые Марина одобряет в таких выражениях: “Вы более... наблюдательны, чем я думала”.

33. В. В. Алексеева-Месхиева (1898-1973) — талантливая актриса, выступала на ролях трагести.

34. Об этом Марина писала и Асе: “Его стихи мне совершенно чужие, но — как лавина! Непоборимые” (17.12.20).

35. “Пушкин и Пугачев”. — М. Цветаева. “Мой Пушкин”. М., 1981, стр. 93.

Не случайно Марина Цветаева организует характеристику Ланна посредством чужих мнений. В этом, думается, есть несколько смыслов. Тут, может быть, сказывается некоторая, что ли, скромность: желание избежать безудержной лести прямо в глаза. Хотя Марина, мы знаем, не боялась одаривать людей самыми великолепными признаниями.

Может быть, это нужно для того, чтобы подчеркнуть объективность, всеобщность такой оценки, ее бесспорность.

Но в то же время здесь, может быть, заложен и другой момент: возможность *оспаривания*. При всем сочувствии Цветаевой к таким высказываниям окружающих, даже благодарности им, — к самим этим людям она относится далеко не ласково. В другом письме Марина отзывается о Волькенштейне с такой недоброжелательностью, которую он вряд ли заслуживал: "В-ном брезгую, что есть сил. — Еле здороваюсь. — В дом к себе не пускаю".

В "Письмах" много имен, много лиц. Имена эти — реальные, имеющие общественно-значимую фиксированность. Несколько лиц служат своеобразными мостками, связывающими Цветаеву с уехавшим Ланном. И вот, вольно или невольно, создается впечатление особой отобранности этих "мостков". Цветаева или нарочито отбирает таких людей, обладающих отрицательными свойствами, или же нарочито дает им всем отрицательную характеристику. Трудно посчитать это простым совпадением.

Восхваляя самого Ланна, к друзьям его Цветаева настроена критически: "Познакомилась с Вашим третьим мушкетером — славный, лучше М-ского: человечней. Его точно ветром носит. Я понимаю, почему Вы решили, что это — Ваши друзья: никаких человеческих обязательств: М-ский — вообще не человек, А-пов — легковесен, — и себя не помнит. Вам с ними хорошо".

Вчитываясь в письма, мы не можем отделаться от ощущения возникающей все время противоречивости. Наряду с первым голосом, дающим необычайно высокие оценки Ланну — человеку и поэту, — из-под спуда будто возникает еще один голос: эти оценки он яростно оспаривает.

Противоборство идет по линии защиты, отстаивания каких-то ценностей, которые для Цветаевой незыблемы. Такое "двухголосие" присуще не только письмам к Ланну. Во всех цве-

таевских "романах в письмах" мы наблюдаем ту же картину. Поистине, свою мифологию она творит подобно античной мифологии, где все время идет процесс возвышения богов и их ниспровержения. Из людей она делает богов, а потом свергает с пьедесталов. Такой же характер имеют ее письма даже к Борису Пастернаку и Рильке. "О, как я Вас люблю в Вашей нацеленности! Как Вами бы любовался Ницше!" — пишет она Ланну. И это звучит у нее, как: "О, какой бы из Вас получился великолепный бог!"

Как поэту, Цветаева выдает Ланну слишком щедрые авансы: он — "большой поэт"...

"Люблю Вас — поэта — так же как себя — за будущее. Ваши стихи прекрасны".

"Ваш Роланд — из наивысших мировых достижений..."

"Если определить Вашу поэтическую породу — Вы, конечно, радуга..."

Что из всего этого соответствует действительности?

"Ваши стихи прекрасны, но Вы больше Ваших стихов", это излюбленная формула Марины Цветаевой, которую она неоднократно будет повторять и в письмах и развивать в своих теоретических эссе. В "Пленном духе" Марина писала: "Уже шестнадцати лет я поняла, что внушать стихи больше, чем писать стихи, больше "дар Божий", большая богоизбранность, что не будь в мире "Ась" — не было бы в мире поэм".

Так же восприняла она появление Ланна, встреча с которым, как она пишет, доставила огромный творческий подъем.

Наряду с восторженными — выявляются и другие оценки: "Вы мне чужой, Вы громоздите камни в небо, а я из "танцующих душ".

Мы вправе ожидать выявления родства душ, но идет выявление их противоположности, их противоборства. "Если бы я знала, что Вы — что я Вам необходима...". "Как странно: всем я приносила счастье!.. А Вас я, кажется, удушиваю. А если бы Вы знали, как я сдерживаюсь, не даю себе ходу...". "Но всем мои стихи нужны, кроме Вас!..."

Внешне может показаться, что Цветаева действительно

”вслед... шлет несколько любовных писем³⁶, в которых — сетования неполюбленной: ”ему не нужно...”. На самом деле речь идет о разности *пород*. Ланну ее стихи не нужны, а она о себе говорила: ”... здесь не любят стихов, а вне — не стихов, а того, *из чего* они — что я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях”³⁷.

В письме к сестре Марина писала: ”... Ничего уже не люблю, кроме содержания своей грудной клетки”³⁸.

Исчерпывающую характеристику Ланна Марина Цветаева дает уже в первом письме к нему, причем пишет Ланну о Ланне в третьем лице: ”... *ему* (такой породе) не нужно... я поняла: никакой заботы! Холодно — мерзны, голодно — бери, умирать — умирай, я ни при чём, отстраняюсь — галантно! без горечи. Ему нужно: несколько голов (умов) — мужских, от времени до времени — подобие любви (жесточайшая игра для обтачивания когтей против себя же!) *или* мужская дружба (теоретизирование — планы детективных контор и готовность — если надо — умереть друг за друга! Только не друг без друга!) — или женское обаяние: духи, меха — и никакой грудной клетки”.

Ланн, как мы знаем теперь, цветаевских авансов не оправдал: поэт из него не вышло. В литературе он остался как переводчик с английского и как автор нескольких литературно-критических работ. Встреча Марины Цветаевой с Ланном была еще одной встречей с человеком невоплощенных возможностей. Сошлись не два равновеликих огня, а ”волна и камень, стихи и проза, лед и пламень”. Об этом свидетельствует письмо Ланна к жене в мае 21-го года, когда он вторично приезжал в Москву: ”С Мариной мы встретились мило, но теперь она увлечена Сергеем Волконским (ему 61 год) и воздает мне хвалу за стихи (по-прежнему считает меня большим... и т.д.) и ум, но к моей радости меньше говорит в стиле Аси, и я чувствую себя со-

36. М. Разумовская. ”Марина Цветаева. Миф и действительность”, Лондон, 1983, стр. 153.

37. Письмо Б. Пастернаку от 19.7.25. — М. Цветаева. ”Неиздан. письма”, стр. 292.

38. От 17.12.20. — Там же, стр. 43.

вершенно свободным от обязанности... целовать ее в голову! Воспоминание обо мне, как о человеке, который играет в ее жизни такую исключительную роль и пр. и пр., выветрилось; объективно это сказалось в том, что она перепосвятила "На красном коне" Ахматовой; мотив — мой преходящий (!) характер в ее жизни уступает значению в ее жизни Ахматовой как человека, ей по духу близкого. Я же — только большой поэт и ум, ум, ум! Сие, конечно, не мешает ей быть очень внимательной со мной, предупредительной и просто хорошей"³⁹.

Много позднее Цветаева жаловалась Борису Пастернаку на неувязку в переписке с Рильке, который, как ей показалось, "глубоко наклонился" к ней — так, что она "почувствовала" только "его рост..."⁴⁰.

Иные времена, иные люди, иные обстоятельства, а стиль переживаний все тот же: наклона к себе Цветаева никому не спускала.

Ланн наклонялся к Цветаевой, но вовсе не с высоты своего роста, он наклонялся, скорее, как взрослый наклоняется к ребенку. Слишком занятой и деловой человек позволил себе несколько минут поиграть в детскую игру и скоро от этого устал.

Биографы пишут, что Цветаева создавала воображаемых людей, потом быстро разочаровывалась, то есть обвиняют ее в некоей слепоте от *ослепленности*.

Слова, обращенные к Ланну, дают основание для таких суждений. Действительно, сколько с ее стороны самых роскошных признаний: "К Вам, к единственному — из всех людей на земле — идет сейчас моя душа...". "Мое последнее земное очарование!" — и так далее и тому подобное.

Но если говорить о заблуждениях, то надо говорить не о заблуждениях Цветаевой, а о *наших* заблуждениях, с которыми мы умудряемся *так* прочитывать ее слова.

В литературе о Пушкине часто любят сравнивать его "прозаическое" отношение к прототипам его лирических героинь с их

39. М. Цветаева. "Стихотворения и поэмы", т. II, стр. 349-350.

40. Письмо Б. Пастернаку от 29.5.26. — М. Цветаева. "Неиздан. письма", стр. 203.

поэтическим преобразованием, например, в стихотворениях "Я помню чудное мгновенье..." или "Калмычке". В особом поэтическом жанре Цветаевой — ее письмах — не просто происходит поэтическое преобразование. В них отражается процесс борьбы. Цветаева борется за своих лирических героев и, в первую очередь, борется с ними же самими. Она прилепляет им крылья и призывает к полету. Она хочет им внушить, чтобы они не забывали *высоты*: "Обращаюсь не к Вашей доброте, а к Вашей высоте: это надежнее".

Она обеспокоена, не утратится ли дистанция для разбега ее чувств — "в следующем письме — если в Вашем втором, на которое все-таки надеюсь — не прочту ничего нелестного для своей — в Вас — памяти...".

Марина Цветаева не только зовет к высоте, но и указывает на те земные гири, которые этой высоте будут мешать. Наряду со всеми восторгами, сколько у нее самых трезвых и точных оценок! "Равнодушный собеседник моей души", — обращается она к Ланну. — "Я знаю эту бархатную брэнность", — так начинается одно из стихотворений к Ланну. Не оно ли отзовется "бархатной сытостью" в "Заводских" (1922)?

К одному из писем Цветаевой восьмилетняя Аля приписывает свое письмецо: "... Помню, как Вы лежали на большом диване в своей бархатной куртке и как, устав, заламывали руки... Вспоминаю еще Вашу печеную картошку, которая горела. И тот рокот, которым Вы читали (громогласили) Роланда".

Марина Цветаева объясняет свою ослепленность Ланном: "Что-то связывает Вас с Б. и с С.⁴¹, Вы из нашей с Асей юности — *той жизни!*".

Марине не просто хотелось, чтобы ее "целовали в голову", "погладили по голове", — она готова была принять встречу и с *чужим*, но только чтобы эта встреча была на высоте.

Серафим — на орла! — Вот бой! —

Примешь вызов? — Летим за тучи!⁴²

В письмах, композиционно сложно построенных, яростный

41. То есть с Борисом Трухачевым и с Сергеем Эфроном.

42. М. Цветаева. "Стихотворения и поэмы", т. II, стр. 222.

спор-"бой" ведется на трех уровнях. Следующий уровень — это три вставных эпизода, три новеллы.

Первое письмо оформлено как своего рода дневник, с подзаголовками: "вторник", "четверг", "последний день". Марина Цветаева в этом дневнике занимается своеобразным психоанализом — перемалывает свои ощущения, переживания, связанные с "наваждением" Ланна. ("Провели — не отрываясь — 2 1/2 недели"). Этот дневник, используя ее выражение из переписки с Бахрахом, можно определить как "Бюллетень болезни".

Марина писала О. Е. Черновой: "Господи! — От кого и от чего в жизни мне не было больно, было — *не* больно? Это моя линия — с детства"⁴³.

Боль от Ланна дана на фоне ее тревог за Алю, за Асю, за Сережу, на фоне ее горестных раздумий о Борисе, то есть на фоне ее реальных и возможных утрат *той жизни*.

Аля и Сережа — это "боль насущная, то, чем живут, от чего *не вправе не умереть*... Ася — на грани: и насущная, и роскошь, Ланн — только роскошь", на которую она "не вправе".

Психоанализы Марины Цветаевой — углубленное исследование своего "я". Истоки их — культурологические и психологические. Культурологические: влияние таких писателей, как Шестов, Розанов, позже прибавится Марсель Пруст. Психологические порождены собственными корнями — цветаевским домом как домом классической культуры.

Цветаевский дом являл собой конгломерат классицизма отца и подавленного романтизма матери. Влияние цветаевского дома было влиянием *отталкивания*. История цветаевской семьи — это наглядный пример того давления на человеческое "я", которое создавала своими устоями классическая культура. О, это была прекрасная культура, подарившая великие ценности. Но эта культура, вместе с тем, порождала почти военную иерархию, предназначавшую каждому человеку строго определенное место и выращивавшую своих служителей иерархии ценностей. Таковыми были и отец, и мать Марины Цветаевой. Для таких характеров, основу которых составляли понятия *долг* и *труд*,

43. От 10.5.25. — М. Цветаева, "Неиздан. письма", стр. 177.

военная иерархия — идеальное место осуществления их личностей. Для Ивана Владимировича Цветаева это было естественным и необременительным. Но Мария Александровна подчинила себя этой иерархии, похоронив свои мечты, то есть право на любовь.

Из самых глубин проистекает основной жизненный конфликт Марины Цветаевой: ее спор с *законами богов*. Для Марины Цветаевой первенствующее право любви неоспоримо. Любовь древнее, чем сами боги. Сами боги признавали любовь высшим законом — за отказ от этого закона они мстили. Но человеческий мир, тем не менее, боги устроили по иному принципу: по закону иерархии порядка. Лишив человека бессмертия, они лишили его возможности жить согласно высшему закону.

Путь любви — это путь к бессмертию. Но боги не хотели, чтобы смертный сравнился с бессмертными. Они заставили людей жить по законам *человеческим*, а мстили им за нарушение божественных законов.

Достоевский поставил вопрос о *бунте*. Отказ от бунта — это отказ от поэзии. Эту истину раскрыл нам пятнадцатилетний Лермонтов в своей "Молитве".

Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пушай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.

Уроки Лермонтова и Достоевского восприняла Марина Цветаева.

Цветаева не ощущала в себе эгоизма поэта. Но она чувствовала себя подневольной эгоизму поэзии. Цветаева воспринимала любовь как боль, как разлуку, как не-встречу, как расставание. Любовь переживается ею как то, что всегда утрачивается. Любовь — это вечная *трата*, желание истратиться до конца. Но чем больше ее тратишь — тем больше ее остается. Это и есть *путь к себе*, к своему "я", к его высотам.

Цветаевские модели тоже имеют свои аналоги. Мы находим в словах Гете аналог тревожному состоянию души, подобной цветаевской, когда в ней "скопился избыток взрывчатого мате-

риала — преувеличенных требований, неудовлетворенных страстей и воображаемых страданий”. Гете признавался: “Все, что радовало, мучило или хотя бы занимало меня, я тотчас же спешил превратить в образ, в стихотворение; тем самым я сводил счеты с самим собою... Поэтический дар был мне нужнее, чем кому-либо, ибо моя натура вечно бросала меня из одной крайности в другую”.

Хотя Цветаева и впитала в себя романтическую созвучность Гете, она оставалась в ней непроявленной: классическая культура вобрала в себя и Гете, подавив его необузданный романтизм гармонией второй части “Фауста”.

Марина Цветаева, по сути, немела перед Гете.

Так же немела она и перед обожествленным ею авторитетом своего отца и своей матери. Несмотря на их разнородность, родителей своих Марина воспринимала как единое целое, обожествляла, но отталкивалась.

Ее освобождали от классического плена произведения Марии Башкирцевой, Розанова, Шестова. Вряд ли стоит говорить о прямом воздействии не нее Пруста⁴⁴. Исследователи справедливо отмечают, что и Пруст, и Цветаева находились в сходных жизненных обстоятельствах (хотя причины этих обстоятельств были разными): *в изоляции от внешнего*.

Все жизненные линии Марины Цветаевой, ведущие к такой изоляции, и обращали ее к исследованию глубин своего “я” — “я” поэта, то есть к ее психоанализам. И это приводило к постоянным спорам с эгоизмом поэтов.

В “Письмах” Ланн и предстает перед нами вот таким поэтом-эгоистом.

“Три посещения” — так назвала Цветаева свои вставные новеллы. С одной стороны, это вроде бы протокол, дневник, хроника быта. Реальные люди, реальные посещения. Но рассказ о них организован по законам высокой поэзии. И не имеет

44. Небезынтересно отметить, что другом Марселя Пруста, оказавшим, по мнению специалистов, влияние на его стиль, была Анна де Ноай. Напомним, что еще в юности Марина Цветаева ее переводила.

значения, насколько в нем все соответствует были. Для нас ценное, единственно важное — та поэтическая мысль, которую Цветаева вполне сознательно организует.

”Сидим с Алей, пишем. — Вечер. — Стук в незапертую дверь”, — так начинается каждое из посещений. Только в третьем вместо ”стука” — видоизменение: ”Дверь — без стука — частежь”.

Один из посетителей — бывший квартирант Закс, ”убежденный коммунист” (имя Закса часто встречается в прозаических вещах Цветаевой). Другой посетитель — ”спекулянт со Смоленского, желающий вместо табака — пшено”. Третий — ”военный из комиссариата”.

В ”Чердачном” (записи зимы 1919-1920) Цветаева писала: ”Люди, когда приходят, только меня растрavляют: ”Так нельзя жить. Это ужасно. Вам нужно все продать и переехать”.

Эта тема варьируется во всех трех посещениях. Все входящие ужасаются, как можно жить в таких условиях, в таком разгроме, в такой запущенности, в такой... Они даже не сразу подбирают слова для определения этого ”такой”... Но Марина или Аля безжалостно помогают: такой *тpущобе*.

Все трое реагируют по-чеховски: Вы же — интеллигентная женщина! На ”незаслуженные — заслуженные” укоры Цветаева в два голоса, свой и Али, отвечает с вызовом. Свою тpущобность она не умаляет, а подчеркивает, не оправдывает обстоятельствами.

— ”У меня все ”запущено!”

— ”Кроме души”, — вторит ей Аля.

Она пишет стихи и отстаивает свое право ничего не знать, кроме стихов. Ее душа, ”обремененная крыльями”, предъявляет счет *времени*. Нельзя на нее взваливать еще и бремя быта. Может быть, так и только так может жить душа, когда бремя быта становится для нее слишком опасным. — Игнорировать его совсем, *исключить*.

Навсегда запомнила Цветаева ”замечательное слово” Бердяева: ”У Вас самой ничего нет: *неразумно* давать”. (Собирала на *умирающего* — мох и вода! — с голоду М. Волошина, в 1921 г., в Крыму)⁴⁵.

45. Письмо Р. Б. Гулю от 9.II.1923 г. — ”Новый Журнал”, N 58.

Разумному Марина противопоставляла свое *неразумное*. "Даю, как все делаю, из какого-то душевного авантюризма — ради улыбки — своей и чужой". С иронией она восклицает: "Господи! Сколько сейчас в России Ноздревых (кто кого и как не ошельмовывает! кто чего на что не выменивает!) — Коробочек ("а почему сейчас в городе мертвые души?"...) — Маниловых... — Чичиковых...

А Гоголя нет. Лучше бы наоборот".

В том мире, той обстановке, где все меняется на все, где люди озабочены лишь подпорками своему быту, Марина сознательно утверждает нормой поведения душевный авантюризм *ради улыбки — чужой и своей*.

Рассказ о трех посещениях — это демонстрация такого вот душевного авантюризма. Она, у которой "все запущено", все разорено, у которой *ничего нет*, — тем не менее, оказывается, находит возможность чем-то одарять.

Марина Цветаева категорически отказывалась от "торга на базарах мира".

Посетители, приходившие к ней, были людьми озабоченными. Для них желание что-то получить — естественно, особенно у человека, находящегося в *таком* положении — дальше некуда. Торг, мена с выгодным эквивалентом — ожидаемая нормальная реакция. Чувствуя себя "сильными", они готовы свои упрёки сменить на жалость, на снисхождение, может быть, даже на помощь.

Но эта слабая из слабых, беспомощная из беспомощных — *присваивает себе* право одарять, "выменивает" его... на улыбку. Это поначалу вызывает, даже у самого бескорыстного и снисходительного, недоумение. Но "душевный авантюризм" Марины побеждает.

Спекулянт со Смоленского говорит:

— "Я впервые вижу такого человека.

— Неразумного?

— Нет, нормального..."

Каждая новелла-посещение завершается одной и той же концовкой: "Сияю. — Дошло".

Достучаться, докричаться, дозваться — таковы двигатели многих цветаевских стихов, прозаических вещей, писем. Через

все стены, через все пространства, через все рвы трубят цветаевский "Роландов рог"; может быть, все-таки, когда-нибудь до кого-нибудь *дойдет*.

Архивам предназначено скрывать до поры до времени многие тайны цветаевской биографии. Но, как всегда, из благих намерений ничего не выходит. Чем больше прячут правду — тем больше пищи для домыслов. Чем больше ограничивают круг посвященных — тем больше растет число спекулирующих на посвященности. Цветаева же учит нас, что не надо бояться слова — бояться надо неправды.

Рассказав *свою* "Историю одного посвящения", Цветаева задается вопросом: "Нужны ли вообще бытовые подстрочники к стихам?...". Далее она пишет: "А зачем же, не признавая бытового подстрочника, взяли, да все это нам и рассказали?.. На это отвечаю: На *быль* о Мандельштаме летом 1916 года я была вызвана *вымыслом* о Мандельштаме летом 1916 года. На *свой* подстрочник к стихотворению — подстрочником *тем*. Ведь нигде никогда (1916-1931 гг.) я не утверждала этой собственности, пока на нее не напали. — Оборона!"

Итак, право на оборону, на активную защиту поэта завещано нам самой Мариной Цветаевой...

Если "Письма" — своеобразная поэма, то у них есть лирическая героиня. Нас смущает характер подлинности писем, т.е. подлинность имен и дат, протокольность событий. Но эта подлинность — кажущаяся. Цветаева ее мистифицирует.

В переписке с Ланном нарушен основной принцип всякой переписки, т.е. требование двойной связи: письмо — ответ. Письма Цветаевой растягиваются, залеживаются; она даже не знает, отправит ли это письмо или не отправит; письма идут не попад — она садится за письмо, не прочитав ответа.

Письмо, которое существует независимо от адресата, перестает быть письмом, становится особым *жанром*. Японская литература знает такой особый жанр, называемый *сасаку*, который одновременно является и документальным, и художественным произведением. Письмо отправляется адресату, а его копия — в редакцию журнала.

Нечто подобное создавала и Цветаева. Недаром она пре-

небрежительно отзывалась о методе Гонкуров. Она уничтожала дистанцию между дневником и произведением. Всякая запись у Цветаевой становилась уже *произведением*. Так, "Земные приметы", "Чердачное" и прочее она не перерабатывала в книги, а печатала как готовую прозу.

В письмах к Ланну Цветаева как будто рассказывает о событиях, которые происходят после отъезда Ланна. Но на самом деле она вся еще там — в тех неделях, которые они "провели —не отрываясь". *Те* переживания она длит в новых событиях. Она конструирует не только свой рассказ о действительности, но подчас конструирует и саму действительность.

Четвертое письмо к Ланну, начатое 15-го января, пишется в течение нескольких дней и залеживается у нее до 9-го февраля —факт для цветаевской переписки несколько необычный.

У многих поэтов мы найдем признание, что суть их личности, их "я" объяснена полностью ими самими. И это объяснение — в их творчестве. Нужно только уметь читать. Поэты не разделяют себя на "я"-человека и на "я"-поэта. Появляющиеся "Страницы к биографии...", "Материалы к биографии..." и т.д. в Цветаевой не объясняют нам *ничего*, но все в себе объясняет она сама.

Четвертое письмо к Ланну — нескромный рассказ третьему лицу о своих нескромных отношениях со вторым лицом — находит неожиданное объяснение в письме к Рильке от 14 июня 1926 года, как будто непосредственно написанном сразу после рассказа Ланну о своей встрече с Бессарабовым: "Когда я обнимаю друга, обвив его шею руками, — это естественно, когда я рассказываю об этом — это неестественно (для меня самой!). А когда я пишу об этом стихи, это опять-таки естественно. Поступок и стихи меня оправдывают. То, что между ними, меня обвиняет. Ложь — то, что между, — не я. Когда я говорю правду (руки вокруг шеи) — это ложь. Когда я об этом молчу, это правда.

Внутреннее право на сохранение тайны. Это никого не касается, даже шеи, вокруг которой обвиваются мои руки. *Мое дело*".

Цветаева ничего не рассказывает о тайне — то, что было —не касается никого. У Цветаевой нет страха перед тем, что

было, перед тем, что могут сказать об этом люди. Цветаева создает *вымышленную* поэму.

Цветаева мыслит самыми смелыми образами, вплоть до создания самых смелых мистификаций. Она не старается соблюдать рамки приличий. Наоборот, нарочито сгущает краски. Еще в первом письме Цветаева пишет Ланну: "Как Вы тогда хорошо сказали: лютая эротика, — о, как Вы чуете слово!"

Мы не знаем, к чему относились эти слова Ланна, но для Цветаевой они звучат как заданная тема. В письмах постоянно возникают следы того, что можно назвать "лютой эротикой": "Дверь настежь: художник из Дворца (открывший после смерти Ирины серию моего дурного поведения) — просто — за сходство с Борисом (— как первое, чему я улыбнулась после всего того ужаса)".

Цветаева словно старается представить себя этакой жрицей у алтаря страсти. Говоря о своем внутреннем освобождении от Ланна и о том, что в ее жизни вызрел новый "упор", она пишет: "Но все-таки, дружок, принимая во внимание быстроту советскую и цветаевскую — после Вас роздых был порядочный!"

Цветаева все время в какой-то игре, в которой она приглашает принять участие и Ланна: "Расстались — Ланн, похвалите, — у моего дома...". "У подъезда — Ланн, хвалите! — расстались...". "3-я встреча — все на людях...". "На этот раз — Ланн, не хвалите! — тоже расстались у подъезда, только часов в восемь утра...". "Ланн, если Вы меня немного помните, радуйтесь за меня! — Уже который вечер — юноша стоек...".

Письмо подробно рассказывает о ходе той любовной игры, которую можно назвать "наукой соблазнять". Причем "она" выступает в роли искушенной соблазнительницы, а "он" — своего рода невинный ангел. В общем, нечто вроде пары "Дева-Царь-я" и "Царь-ты-Дева" — ситуация прямо по "Царь-Девине":

Оттого что бабам в любовный час
Рот горячий-алый — дороже глаз,
Все мы к райским плодам ревнивы,
А горячки-то — особливо!

Цветаева использует ситуацию "Опасных связей" или ее пьес "Червонный валет", "Каменный ангел". Но ситуацию эту она создает только намеком, до опасного поворота. Вместо

опасного поворота — у нее совсем другой поворот, в сторону невинной игры. Все оказывается лишь детской забавой: "Точно, заплатив дань своему женскому естеству (формальному!) — я внимательно занимаюсь изучением того, кто передо мной. И это так невинно, что ни один — клянусь! — ничего не помнит".

Любовная игра — нескромная исповедь — всего-навсего *литература*. Легко узнаваемая. Стоит нам сопоставить эти сцены с любовными играми в пьесах Цветаевой "Фортуна" и "Феникс", как мы ясно увидим их идентичность.

Любовная игра "Девы-Царя" с "Царь-Девой", бесспорно, полувыдуманна, то есть, с одной стороны, полурассказана — полусочинена, а с другой стороны, и сама игра полуслучилась — была полуразыграна. И разыгрывалась преднамеренно — для Ланна, то есть ставился эксперимент.

В центре спора — диалога — монолога два человека, два характера, два портрета. Один — изломанность, утонченность, интеллигентность, порыв, Паганини, "бархатная брэнность", громогласие, ум, порода, интеллектуальный аристократизм. Ему ничего не нужно — не нужны чужие стихи; ему никто не нужен — никто, кроме себя.

Маленькая дочка Марины, Аля, писала Ланну: "Что пожелать Вам на Новый год, — у Вас уже все есть — раз у Вас была любовь Марины". Это, конечно, не ее самостоятельная мысль — это Маринин отголосок.

Но вот это *все* было то, что ему совершенно не нужно, как не нужно оказывалось, видимо, никому: ни Геликону, ни Бахраху, ни Штейгеру и т.д. и т.п.

"Испепеляющий. Испепеленный", — так отзывалась Марина о Ланне. Но вот любопытная зарисовка Анастасии Цветаевой, относящаяся к тому же времени. В мае 21-го года Анастасия Цветаева после трехлетнего отсутствия возвращается в Москву, и в первый же вечер они с Мариной отправляются в Столешников переулок в гости к Ланнам.

"Мы за чистым чайным столом — чашки с блюдами, тарелочки, хлебница и в молочнике — молоко — все, как встарь. И это, наверное, сон снится — на тарелке горка хлеба, намазанного — маслом? И другая тарелка — с повидлом. И пьем настоящий, как в детстве и юности, чай. В стаканах — золотым

столбиком. Как рады нас угостить! Не "угостить" — кормят! Несет нам жена Ланна на тарелках по куску настоящей яичницы...

Пьем, едим, разогретые — о, не одними едой и питьем, — кейфуем когдатошней изысканной речью, полузабытой за годы разрухи. Глаз пирует видом стройных рядов книг, портрет Диккенса со стены — они оба продолжают учиться английскому, уже хорошо знают его. Будут переводить Диккенса..."⁴⁶.

О Ланне все пишут как о человеке, поглощенном страстью к искусству, к высокому, к неземному. И вот, эта высокая страстность, оказывается, совмещается с благоустроенным вполне по-земному бытом, причем на фоне всеобщей разрухи, бездомности, безытности.

Не с этим ли — вторым — Ланном и ведет Марина внутренний спор?

Другой портрет — во всем противоположность Ланну. "Наружность: богатырская. Малиновый — во всю щеку — румянец, вихрь неистовый — вся кровь завилась! — волос, большие блестящие, как бусы, черные глаза... лоб очень белый и высокий. Косая сажень в плечах, — пара — до нельзя! — моей Царь-девице. Необычайная — чисто 18-летняя — серьезность всего существа".

Во всем крестьянская хватка. — Крестьянская сила ("передвигает 50-ти пудовые несгораемые шкафы"). — Крестьянская основательность ("книги читает по пяти раз, доискиваясь в них *смысла*, о котором легкомысленно забыл автор"). — Красноармеец ("недавно с Крымского фронта. — Отпускал офицеров по глазам"). — Коммунист ("когда белые подступали к Воронежу, записался в партию"). — Без сапог ("на ногах гетры и полотняные туфли без подошв. — "так скоро хожу, что не замечаю!"). — Бессеребряник. — Безбытен. — Богатырь, взявший на себя все трудности. — Ничего себе — все другим ("помогает *каждому* с улицы, — вещей никаких! — все раздал и

46. Анастасия Цветаева, "Воспоминания", стр. 578. Тут какая-то неувязка: в мае 21-го Ланн пишет письмо жене из Москвы, в июне Цветаева пишет Ланну, осенью Миндлин встречается с Ланном в Харькове и т.п. Очевидно, это — абберрация памяти из более позднего времени, но дело не в хронологии, а в той "портретности", которая отложилась в памяти Анастасии Цветаевой.

все рассорил!"). — Живет в каком-то семействе, где "рубят дрова, таскает воду". Кроме того, ходит к кн. Шаховским, к Скрябиным "делать то же самое" и т.д.

Все это потом отразится в поэме о Егорушке — богатыре, который своим уделом избрал служение другим, и хоть исправно справляет всякую работу, но хозяевам не приумножает богатств, потому что вечно кого-то жалеет, кому-то раздает все добро.

Где меж парней нынешних
 Столп — возьму — опорушку?
 Эх, кабы мне, Маринушке,
 Да тебя — Егорушку!

Герой писем тоже дан весь в *поступках*. "Друг — это действие", — писала Марина.

Два человека, два портрета противопоставлены как одноименность — разноименности.

Ланн — это свой, одноименность ее прошлому. Он напоминает Бориса, напоминает Сережу. Он из того мира, который Марине был дорог, мира ныне разрушенного, ушедшего. Но он, по сути, Цветаевой *чужой*⁴⁷, потому что ему ничего не нужно: ни Марининых стихов, ни Марининой любви, ни Марининой души. Просто два интеллигентных человека.

Бессарабов же — это разноименная сила, сила, которая разрушила ее прошлый мир, ее дом. По всем своим обстоятельствам он — чужак: не интеллигент, красноармеец, большевик. Но этот чужак оказывается Марине близким, своим. Ему оказывается нужным все то, что было ненужным Ланну.

"Я читал Ваши стихи о Москве. Я Вас сразу полюбил за них". Тут, может быть, выражена наиболее точно и полно та формула-мечта, до которой Марина всю жизнь пыталась — безуспешно — докричаться.

Марина Цветаева противоречива в своих высказываниях. — *Капризна*. Но ведь и сама жизнь — глубоко противоречива, и, пожалуй, ничто так не выражает глубину истин, как парадоксальность.

Марина категорична, она любит формулы. Когда принц

47. Стихотворение "Я знаю эту бархатную бренность", посвященное Ланну, помещено Цветаевой в цикле под названием "Чужой".

высказывает противоположные суждения, то для всех полониев и гильденстернов это звучит мудро — ибо он власть имущий. Категоричность Цветаевой (нерадивая ученица!) воспринимается как неинтеллигентность. Но "интеллигентность" — и слово, и понятие — она терпеть не могла. Вот великолепный диалог из "Повести о Сонечке":

"... Правда, Марина, что **Вы** никогда не были интеллигентным человеком?

— Никогда. Даже во сне, Сонечка.

— Я так и знала, потому что это все: и стихи, и сама Марина... волшебное, а не интеллигентное. "Интеллигентный человек" — Марина! — это почти такая же глупость, как сказать о нем "поэтесса".

Марина Цветаева много раз повторяла, что она — поэт, что она — словесница — и ничего кроме. Она хотела, чтобы ее стихи всем были нужны, как хлеб, чтобы в ней *читили* поэта — и в то же время жаждала, чтобы любили не стихи ее, не ее как поэта, а любили ее самое.

Совместимо ли это?

Марина Цветаева не признавала деления поэта на автора стихов (стихи должны быть *хорошими*) и на человека (человек может быть какой угодно). Она говорила: "Раз я люблю слово человека, я люблю и губы".

В цветаевской мифологии поэт — не участник деления жизни на быт и бытие. Стихи — это не волевой акт. Мир бытия сказывается через слово. Но для этого силы бытия выбирают не случайного человека — они выбирают поэта. Особого человека. Поэт — это душа мира. Стихи — только сигналы этой души.

Цветаева не принимала формулы "любить за стихи". Ее формула: "любить *через* стихи".

Вот с такой формулой и пришел к ней восемнадцатилетний Егорушка. "Я читал Ваши стихи о Москве. Я Вас сразу полюбил за них". "За них" у него и означало — *через* них.

В письме к Звягинцевой Цветаева писала: "С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит...". "Мне сейчас нужно, чтобы кто-нибудь в меня поверил, сказал: "А все-таки Вы хорошая...". "Но мне хочется плакать, потому что никто-никто за все это время не погладил меня по голове".

А вот из ее новеллы о Егорушке-Бессарабове: "Курим. — Стесняется курить чужое. — "О, погодите, когда мне вышлют из Воронежа шубу..." — "Вы мне подарите сотню папирос 3-го сорта". — "Вам — 3-го сорта?!" — Глаза, вопреки на полнейшую темноту, загораются так, что мне — в самом мозгу — светло."... "М.И., у Вас такие ясные глаза — как хрусталь — и такие веселые! Мне очень нравится Ваша внешность". "М.И., у Вас такие приятные волосы, — легкие! ... мне вдруг ужжасно захотелось Вас погладить по голове".

То есть буквально вся цветаевская программа.

И если Ланн с радостью чувствует "себя совершенно свободным от обязанности... целовать ее в голову", то герой ее новеллы с радостью включается в полудетскую-полупоэтическую любовную игру.

Рассказывая о нем, Цветаева обронила: "слывет дураком". Лишенная практицизма, она тоже всю жизнь *слыла*. С точки зрения людей взрослых, серьезных, занятых делом, жизнь Цветаевой — сплошная странность, непонятность, дурость.

"Зря болтаться!" — восклицает Марина. — Что я другого с рождения делала?!" Для здравого смысла вся поэзия разве не "зря болтание"?

О Мандельштаме она писала:

В тебе божественного мальчика,
Десятилетнего я чту.

О Бессарабове: "Опустив глаза (чудесные! 3-х-летнего мальчика, который еще не совсем проснулся!)..."

Всю жизнь Марина Цветаева отбивалась от мира взрослости, даже бабушкой она собиралась быть "причудницей, забавницей".

Но, не любя взрослости, Марина не ощущает себя сверстницей. О друзьях-студийцах она писала: "Да, да, я их всех, на так немного меня младших или вовсе ровесников, чувствовала — сыновьями".

Чувство материнства — сокровенная тайна цветаевской поэзии. "Я верю лишь в материнских сыновей", — писала Марина Рильке. Герой ее новеллы — один из таких "материнских сыновей". В нем "главное — детская, беспомощная, тоскливая, иступленная любовь к только что умершей матери".

Пронзительно признание самой Цветаевой: "Меня, Ланн,

очевидно, могут любить только мальчики, безумно любившие мать и потерянные в мире, — это моя примета”.

Как самая высокая хвала в устах героя новеллы: “Вы мне напоминаете мою мамочку”.

Для тех, кто в поэзии ищет душевного комфорта, Марина Цветаева дискомфортна, мучительна, непереносима. Сплошные эмоции — истерика — противоречия — разрушительные взрывы. Ее творческое наследие — как тунгусский метеорит: есть следы взрыва — воронки, лесные завалы, а что взорвалось — следов не найти.

Ланн — это “первая радость от человека за три года”, и “спасибо Вам творчески”; Бессарабов — “*так* меня никто — вот уже 10 лет — не любил”.

Биографически — все это абсолютно недостоверно. Сколько у нее таких “единственностей” и “исключительностей” было и за эти три года, и за эти десять лет, и сколько еще будет в последующем.

За полгода до встречи с Ланном — встреча, вдохновившая ее на большой цикл стихов...

На исходе жизни Марина Цветаева собственноручно запишет на экземпляре книги стихов 1916 года, что многие из них обращены к человеку, “который единственный сумел любить меня...”.

Почти трагически она восклицает: “Ланн! 18 лет! — Я на 10 лет старше! — Наконец — взрослая...”.

В 34-м году, через четырнадцать лет, она пишет теми же словами: “Внук у нее — чудный, красавец, как она, — двадцать пять лет. Между нами — 15 лет — и начало дружбы, из которой, конечно, ничего не выйдет, — он боится моей “славы”, а я его молодости. Так и пройдем мимо. Но приятно — когда в глазах — восторг”.

Но в “Письмах к Ланну” все цветаевские единственности на месте, ибо это — жанр художественный.

На первом плане новеллы — детская забава любовной игры. Восторг в глазах юноши — мальчика! — и материнское чувство к нему. Все так мило, невинно, забавно. “Смешно”, — употребляет слово Цветаева.

На одном полюсе: “испепеление”, “Вы такой большой”, “ум,

ум, ум" — на другом: наивно, смешно, трогательно. Но, на самом деле, за всем этим — какие глубокие, серьезные, *противопоставительные* истины.

"Пишу Егорушку — страстно", — сообщает она Ланну. Что же она *пишет*?

В письме от июня 21-го года: "Все мое воспитание: вопль о герое".

Поэма "Егорушка" — поэма о герое.

В новелле о Бессарабове: "Люблю... за то, что он, несмотря на малиновую кровь (благодаря ей!) — погибает. — Этот не будет прятаться. — "И чтобы никто обо мне не жалел!" — почти нагло".

Но и это еще не все. Не вся глубина. "*Чтут* искусство, за стих Тютчева в огонь, в воду пойдет".

И наконец, может, как самое главное. Сквозь идиллическую сцену нежности, когда он гладит ее по голове, проступает: "Говорим, почти громко. Он гладит, я говорю ему о своем отношении — делении мира на два класса: брюха — и духа. Говорю долго, ибо гладит — долго".

За легкой любовной игрой — прямо флирт цветов — скрывается серьезнейшая для Марины Цветаевой тема, которая объединяет ее со всеми настоящими поэтами мира. Эта тема прозвучала еще в "Вечернем альбоме". Противопоставление мира быта — и бытия, противопоставление души — и не-душия, "скучных песен земли" — и "звуков небес".

Все творчество Цветаевой — это яростный спор. Она не просто провозглашает свои истины — она их внушает. Ее слушали, но немногие ее слышали. Ее новелла о Егорушке — это новелла о том, кто ее слушал — и услышал всей своей сутью, всем своим существом, образом всей жизни.

Цветаева таких героев создавала в романтических образах рыцарей, "слагавших стансы" и живших, и умиравших "без страху". Прообразами их были герои книг, легенд и истории. Поэты, с которыми она ощущала свое родство, тоже в какой-то степени становились ее героями. Пушкин и Блок, Рильке и Пастернак. Ее объединяло с ними расстояние. Если расстояние сокращалось — возникал спор.

Отвлеченный романтизм — это только *часть* правды Цве-

таевой. Реальность, грубая, зримая, вторгалась в жизнь Цветаевой — вошла и в ее творчество. Но она не *разбила* ее романтических иллюзий. Марина не отказалась от своего высокого романтизма, а только его усилила. Именно с этих высот она вступила в спор с грубой реальностью, ответила категорически полным неприятием ее, противопоставила ей свою высокую правоту. Она не была слепой к низкой действительности, но давление этих низов не колебало ее веры. Марина Цветаева не признавала права сгибаться под этой тяжестью с утешительной формулой: такова жизнь.

Люди ее круга — "среды" — люди пера, культуры, манер — в первую очередь оказывались ей чужими. Взаимопроникновение быстро оборачивалось непониманием, приводило ее к спору с ними.

Разбойный Пугачев, разбойный Стенька Разин — этот тип несколько раз встречается в записях Марины Цветаевой. Стенька Разин, любящий стихи.

Среди не своего круга находит Марина Цветаева своего героя, который "имеет все, если у него есть любовь Марины". Какое торжество для ее веры! Человек, который, несмотря ни на что, пишет стихи, у которого все запущено, кроме души, до предела отказавшийся от царства "брюха" ради царства "духа", — оказывается, может представлять высшую ценность.

Для доказательства этого тезиса Цветаева создает ситуацию на рискованном материале. В обстановке всеобщего одичания, когда все преходяще, когда ничто не имеет цены, когда нет ни прошлого, ни будущего, когда ничто ничего не значит, когда над всем господствует один момент — момент "выживания", когда любые вечные ценности от этой вечности отрешены и представляют собой лишь эквивалент обмена на "момент выживания", когда на первый план в жизни выдвигается фигура победителя, который обходится даже без эквивалента — берет этот "момент выживания" по единственному праву — праву силы, когда из всех норм выжила только одна: *все спешится*, — победу одерживает то, что не имеет отношения ни к каким моментам прошлого, настоящего и будущего.

Генрих Горчаков

АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДКИ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Достоевский в своих ранних письмах к брату и Брюсов в своем молодом дневнике дают списки книг (в большинстве — иностранных), прочитанных ими "за этот год" или "за это лето". Количество их поразительно, а качество — бесспорно выше не только так называемого среднего уровня, но и высшего. О том, что именно читал Андрей Белый подростком, опубликовано несколько литературоведческих работ; вопрос — читал ли Белый Фрейд и, если читал, то что именно и в какие годы — до сих пор западными литературоведами считается нерешенным.

Что читал Набоков между 1905 и 1930 годами? Что *мог* он читать? На это я пытаюсь ответить в этой статье. От него самого я знаю, что он читал и любил из русской литературы (см. "Курсив мой", стр. 379). Но что он читал из литературы мировой, и в частности, английской, до сих пор оставалось неизвестным.

Вопрос, что именно в то время переводилось на русский язык, для него не существовал: его отец, Владимир Дмитриевич, читал своим детям вслух английскую литературу, а затем В.В. начал ее читать самостоятельно. Что доходило в Петербург из Англии? Что выписывалось отцом Набокова из британских новинок? Ответ на это не был труден: достаточно было обратиться к английским "бестселлерам", выходившим в то время, к именам, гремевшим на всю Европу, если не на весь мир. И во-

* Доклад, прочитанный автором (по-английски) в Корнельском университете на конференции в честь В. Набокова. Перевод был сделан автором.

©Н. Берберова. Все права принадлежат автору.

прос переводов этих книг перед нами не стоит — в семье Набокова говорили по-английски так же свободно, как и по-русски.

Обращаясь к спискам "бестселлеров" того времени, сначала детских книг, а затем — книг для взрослых, мы видим, что их было много и что слава их авторов, за некоторыми исключениями, была заслужена. Они сыграли крупную роль в литературной жизни Набокова. Авторы все принадлежали к поколению его отца, что естественно, но из тех, о которых будет идти речь ниже, ни один не стал в наше время ни новым Вальтером Скоттом, ни новым Диккенсом. В.Б. Шкловский говорил в свое время, что писатели не столько получают наследие от отцов, сколько от дядей: отцы и деды учат их меньше, чем учат их родственники по боковой линии: разительный пример — Блок и Ап. Григорьев. Мне самой удалось сделать маленькое открытие в подтверждение этой теории: когда я прочитала "Китай-город" Боборыкина, я увидела, что тон диалогов, подслушанных им в петербургских пивных, был позже заимствован Андреем Белым в "Петербург".

(Два слова о русских переводчиках: это были героические люди! Помню, как в 12 лет я прочитала перевод романа Вальтера Скотта "Айвенго" (первый русский перевод — 1826 г.). Я прочитала его два раза — один раз как "Айвенго", а второй раз — как "Ивангоз", удивляясь, почему автор написал один и тот же роман под двумя различными названиями?).

Девять имен, мною выбранных, могут подтолкнуть заинтересованных читателей к дальнейшим исследованиям. Я делаю только первый шаг в эту любопытную сторону. Некоторые из моих "открытий" очень скромны, и с них я начну. Отметив встречи Набокова с Робертом Люисом Стивенсоном, Люисом Кэрролом, Кипплингом, я перейду к более важным встречам, оставив в стороне на этот раз сексуальную тему "Алисы в стране чудес", о которой столько было написано в связи с "Лолитой" и биографией самого Кэррола. Я также не буду углубляться ни в мемуары Фрэнка Харриса, ни в отношения между Оскаром Уайльдом и лордом А. Дугласом в книге Андре Жида. Тема подростка (как девочки, так и мальчика), развращающего взрослого человека, требует отдельной работы. Я также пройду мимо литературных "совпадений", сознательных и бессознатель-

ных (и те и другие — всегда интересны), и только слегка коснусь параллелизмов. Зато остановлюсь на "новаторах" того времени и на кое-каких ими новооткрытых основах искусства, которые Набоков впоследствии использовал.

Затем придет "шок модернизма", данный Джозефом Конрадом европейскому роману в десятых годах нашего века его книгой на русскую тему "Тайный агент", а далее — переход к тем приемам, которые сейчас полностью забытый писатель, а тогда — с мировым именем, открыл новому поколению. Это был Комптон-Макензи, автор романа "Огонь Весты" (без отношения к "Бледному огню"). Этот "Огонь Весты" дал в свое время автору возможность приобрести палаццо на Капри, он оказался героем двух мировых войн и в старости в своем палаццо содержал гарем "весталок".

От Комптона-Макензи я перейду к более серьезным находкам. Великий английский писатель Г.К. Честертон, друг великих современников, консерватор и католик, остряк и гурман, весивший более 300 фунтов, был автором многих книг и между ними — романа "Человек, который был Четвергом" (где, между прочим, один из персонажей напоминает Гоголя). Этот роман по времени выхода (1908 г.) занимает высокое место между романом "Джуд Неизвестный" Томаса Харди (1896 г.) и романом Д.Г. Лоуренса "Сыновья и любовники" (1923 г.). Думается, что если бы Набоков не прочитал в юности "Человека, который был Четвергом", он бы, конечно, был Набоковым, но не тем, который нам теперь знаком по его книгам.

После Честертона пришел Г. Дж. Уэллс, автор романа "По поводу Долорес". Это нежное женское имя навсегда связалось с Лолитой, но Набоков не сам нашел его. Он взял его у Уэллса, как и некоторые события и характеры, которые зацепили его внимание. Среди них отметим два момента: удачно и во-время пришедшую смерть и комические похороны.

Последним будет имя Н. Дугласа, еще менее известное, чем имя владельца каприйского гарема. Его книги не учили русского автора, как ему писать свои собственные, но он помог Набокову придумать и "проектировать" свой "образ", то, что теперь называют "persona": высокомерный гений, презиравший большинство своих современников, вышвырнутый из своего родового

замка, потерявший свое королевство. И он тоже вырастил в себе страсть — только это была не страсть к бабочкам, это была страсть к ящерицам.

2

Популярность Стивенсона началась в России еще в восьмидесятых годах. Одна из его книг вышла (в оригинале) в 1897 г. и называлась "Детский сад стихов". Это стихи не совсем для детей и, конечно, не для взрослых. Это же впечатление производят на нас стихи героя "Дара", Годунова-Чердынцева, поэта-автора-эмигранта-недоросля, живущего в 20-е годы в Берлине. То же своеобразие в ироническом и ласковом (к себе самому и к окружающему миру) тоне, отсутствие всякой слащавости и одновременно — отсутствие какой-то твердости. Годунов пишет стихи всерьез и, вместе с тем, как бы играет ими. Он будто упоен их легкостью и отсутствием в них всяких претензий. В "Детском саду стихов" встречаются образы, которые впоследствии станут для Годунова-Набокова такими важными. У Стивенсона — неизвестная, таинственная земля Нод, у Набокова — утерянная земля Зоорландия (в "Подвиге").

Вот два примера стихов Стивенсона (перевожу прозой):

Весь день, от завтрака до ночи,
Я среди моих друзей, дома.
А ночью я ухожу далеко
И гуляю в стране Нод.

Никто не говорит мне, что мне делать,
И куда надо идти,
Я один иду вдоль ручья
По склонам гор, где бродят сны.

Там меня ждут
Удивительные вещи,
На одни я смотрю,
Другие я съедаю.

А есть и немного страшные,
И я до утра в этой стране Нод.
А днем я ищу дорогу и не могу ее найти.

И даже не могу припомнить
Странную музыку, которую я там слышал.

И второе, "Немой солдатик".

Скосили траву, и я пошел гулять по лугу.
И наткнулся на яму в земле.
И положил в нее моего солдата.

Теперь он там лежит,
Смотрит вверх оловянными глазами,
В красном мундире, с ружьем у плеча,
Целясь в солнце, а ночью — в звезды.

Не бойтесь, я его найду,
Отыщу своего гренадера,
Но что бы ни случилось со мной,
Я опять найду его немой!

Рифмуя ААББ (т.е. первую строку со второй и третью с четвертой), Стивенсон написал стихи хореем, что дает впечатление легкой поступи (по свежескошенному лугу).

А вот стихи Годунова, писавшего ямбом:

Мяч закатился мой под нянин
Комод, и на полу свеча
Тень за концы берет и тянет
Туда-сюда, но нет мяча.

Потом там кочерга кривая
Гуляет и грохочет зря —
И пуговицу выбивая,
А погода — полсухаря.

Но вот выскакивает сам он
В трепещущую темноту —
Через всю комнату, и прямо
Под неприступную тахту.

Набоков не был первым переводчиком "Алисы в стране чудес", как он говорил. Мне неизвестно, кто был первым, но второй была П.С. Соловьева, сестра философа Владимира Соловьева, и ее перевод читали все русские дети до Первой мировой войны. Она была поэтесса, редактор детского журнала "Тропин-

ка", подруга З.Н. Гиппиус. Соловьева носила (за полвека до Греты Гарбо и Марлен Дитрих) мужские брюки, крахмальный воротничок и галстук.

Люис Кэррол, кроме "Алисы", написал и другие книги, из которых по крайней мере одна никогда не была переведена. Она называется "Дублеты" (1879 г.) и основана на игре перемещения букв в словах. Игра была выдумана Кэрролом, смысл ее состоял в изменении букв (по одной, постепенно) так, чтобы изменить, наконец, все слово, чтобы оно значило либо обратное первоначальному смыслу, либо стояло бы к нему "под углом". В английском языке с его обилием коротких слов это сделать довольно легко, по-русски же почти невозможно. По-английски черное можно таким путем перевести в белое, перо — в чернила и любовь — в ненависть. Это дало возможность Набокову еще больше полюбить всякие словесные игры. Он первым начал сочинять русские кроссворды в эмигрантской газете "Руль" (Берлин) и даже придумал термин "крестословица", но этот придуманный термин не вошел в русский язык. Он же увлекался, по примеру Кэррола, всевозможными анаграммами, логограммами, акростихами, ребусами, палиндромами (по примеру "А роза упала на лапу Азора"), словесными загадками и игрой слов.

Редьярд Киплинг заразил Набокова своим интересом к телепатии, которая в то время называлась метампсихозом. У Киплинга, бывшего в те годы в большой славе, метампсихоз использован в трех рассказах: "Могила предков", "Беспроволочное сообщение" и "Мальчик из чаши". Все три рассказа имеют "потусторонний смысл", который (в том же ключе) можно найти в рассказе Набокова "The Van Sisters" (1959 г.).

Телепатия играет основную роль, когда мальчику и девочке (в "Мальчике из чаши") снится один и тот же сон, с одними и теми же именами, не только человеческими именами, но и названиями местностей. К этой же категории принадлежит и молчаливое общение двух незнакомых людей, и "телекоммуникация", которая оказывается для них роковой. Эти киплинговские чудачества Набоков привел и в поздний свой роман "Ада" (1969 г.), где они играют не последнюю роль.

От Киплинга пришло к Набокову несколько структурных приемов, о которых здесь необходимо напомнить. Если судить

беспристрастно, то у русского автора они использованы даже с большим успехом, чем у английского. Я говорю о рассказе Киплинга "Вильгельм-Завоеватель", где читателю только постепенно становится ясным, что Вильгельм — женщина. Этот факт, кстати, в свое время коробил английских критиков, и они считали, что любовные сцены между героем рассказа и "Вильгельмом" говорят об авторской "незрелости". У Набокова во второй главе "Соглядатая" Ваня — девушка, в которую влюбился Смуров. Сначала мы узнаем, что Смуров влюблен и только позже — что это не мужчина. Но никакой незрелости у Набокова, конечно, нет, и он никогда не был в ней заподозрен.

Размышления Набокова о том, что такое литература современности, в чем ее цель и смысл, и новизна, судя по его многочисленным интервью и известному послесловию к "Лолите", выросли не без помощи некоторых его выдающихся современников. Сомерсет Моэм, один из популярнейших писателей начала (а потом и середины) нашего столетия, писал:

"Я знаю, что сейчас стало немодным считать, что цель искусства — развлечение. Но ничего не могу поделать с собой! Когда я ишу нужной мне информации, я иду к философам, историкам, людям науки. Я ничего не требую от писателя (художника), кроме развлечения. Я, кстати, нахожусь не в дурном обществе: Корнель, вслед за Аристотелем, считал, что наслаждение его аудитории — единственная его цель, а полный нежности и совершенства Расин говорил, что первое правило в драме — доставление удовольствия, а все другие только следуют за ним. И разве не сказал философски мыслящий Кольридж, что цель поэзии — наслаждение?"

К этому необходимо добавить более позднее признание Моэма: "Я ничего не проповедую сознательно. Я не считаю проповедь делом писателя или драматурга. Я говорю, что проповедники очень быстро надоедают, а их доктрины очень быстро стареют".

Возможно, что еще важнее для Набокова было высказывание Ф. Мадокса Форда на поставленный ему вопрос "о целях литературы". Этот ответ Форд дал в своей книге "Воспоминания и впечатления". В те годы, когда Ф.М. Форд писал свою книгу (1911 г.), известный английский писатель, можно сказать, по-

следний "из стаи славных" прошлого века, Томас Харди, высказался так: "Поэзия нуждается в технике, а проза пишется сама собой". Но Форд, как и французские критики перед Первой мировой войной, в это время пытался разрешить задачи и найти законы нового искусства, найти свежий подход к проблемам, терминологию для их обсуждения. До этого никогда ни о чем таком не говорилось — ни самими писателями, ни критиками, ни учеными литературоведами, которых, в сущности, в современном нашем понятии и не было.

Форд писал: "Каждая книга несет в себе свою технику. И лучшие книги будут написаны людьми, которые отнесутся с вниманием к этой технике. Но нет! Мы захлебываемся от хохота при одном слове "техника". Мысль о Флобере, тратившем часы, дни и даже недели, ища настоящего слова, веселит нас без меры, и мы ложимся спать, убаюканные уверенностью в полном нашем над ним превосходстве".

И дальше: "Кто, я удивляюсь, в Англии поймет, наконец, что книга не только "возвышает нас", но и радует, делает счастливыми. Книга — чудесная вещь, сотворенная, чтобы принести нам радость и удовольствие, улыбку, сделать нас счастливыми и дать нам те слезы, которые так близки к блаженству".

В связи с этой цитатой, приведу здесь часть послесловия к "Лолите" Набокова (1956 г.):

"Я не читаю и не произвожу дидактической беллетристики, и "Лолита" — не буксир, тащущий за собой барку морали. Для меня рассказ или роман существует только поскольку он доставляет мне то, что я попросту назову эстетическим наслаждением, а это, в свой черед, я понимаю, как особое состояние, при котором чувствуешь себя как-то, где-то, чем-то связанным другими формами бытия, где искусство (т.е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма. Все остальное — это либо журналистская дребедень, либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век, пока не явится смельчак с молотком и хорошенько не трахнет по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну".

3

В романах Джозефа Конрада Набоков открыл первые веяния того, что тогда называлось "модернизмом": сознательное изменение ритма повествования; сознательное изменение темпов авторского взаимоотношения как со своими героями, так и со своим сюжетом; подводное течение авторской иронии, окрашивающее повествование. По двум взятым наугад абзацам из "Тайного агента" можно видеть, какую ведущую роль начинают играть в "новой" прозе "поэтические" тропы, до сих пор почти исключительно бывшие прерогативой поэзии. В романах и рассказах авторов поколения Конрада мы встречаем гиперболу и персонификацию (олицетворение), иронию и метафору. Сравнения вносят в текст дополнительные и неожиданные ассоциации благодаря своей новизне (или оригинальности), в тексте тут и там попадаются метонимии и синекдохи. В "Тайном агенте" Конрад употребил строку (когда-то употребленную Шекспиром в "Тимоне Афинском"), которую Набоков спустя много лет использовал в своем английском романе: "Это было слабым намеком, ложным дуновением, *бледным огнем* перед громом, бурей, ударом молнии".

Поражает не только разнообразие троп, но и их густота. Примером этому может служить начало главы, когда тайный агент отправляется ночью на тайное свидание с важной персоной в иностранное посольство. Два абзаца включают в себя: метафору, две гиперболы, синекдоху, олицетворение, гиперболу, сравнение, две комических гиперболы, комическую метафору, иронию. Затем следует смена тона повествования, вольный переход в торжественный регистр: комическая гипербола, двойная метафора, связанная с олицетворением, метонимия и последнее олицетворение. Таков текст Конрада. Позже, в 30-е годы, густота троп в прозе Набокова будет еще насыщеннее, чем у Конрада в 1907 году.

Обращусь теперь к специфическому приему, неизвестному не только Вальтеру Скотту и Диккенсу, но и Томасу Харди и Арнольду Беннету. Вместо того, чтобы ввести своих главных героев в первую главу повествования, нас ведут окружным путем в ложном направлении. Тем сильнее эффект неожиданности! В

"Даре" Зина — еще не названная по имени — появляется сперва под уродливой люстрой в столовой скучных родителей, затем — как безымянная покупательница стихов Годунова (кажется — единственная?) в русском книжном магазине Берлина, и только позже — как светлое видение под уличным фонарем. Намека, где ее искать, нам не дано, и вот она делается центром книги и жизни Годунова-Чердынцева. Это напоминает Комптона-Макензи и его "Огонь Весты", где две почтенные лесбиянки описаны в подробностях в самом начале романа, и мы попадаемся на удочку, думая, что о них-то и будет рассказ. Ничего подобного: о них позже не будет ничего, они только подготовляли почву для настоящего центра этой истории. Для запретных тем в те времена нужна была хитрая маскировка, а здесь центром будет небольшой круг великолепных, соблазнительных, расточительных и праздных молодых красавцев, предпочитающих свое общество обществу молодых женщин. Этот прием (обман и сюрприз, или "ложный путь") Набоков использует, как мы знаем, не только с Зиной в "Даре", но и в "Настоящей жизни Себастиана Найта", и в "Лолите". Можно предположить, что Комптон-Макензи не видел иной возможности приблизить свое повествование к запретному сюжету, искал окольную дорогу, но Набоков воспользовался этим приемом тогда, когда он совершенно был ему не нужен, для маскировки, с исключительной целью "обыграть" читателя.

Роль Г.К. Честертона в литературной жизни Набокова настолько серьезна, что эта тема требует отдельной статьи. Здесь я могу только наметить роль английского автора, но не исчерпать ее. Книги Честертона, его взгляд на самого себя, его отношения с современниками и даже его детство и тот образ, который он проецировал, были впитаны Набоковым — он сам признался мне в этом в 1930-е годы в Париже. Даже малоизвестные писания этого эксцентричного автора, как, например, "Подсудимый" ("Defendent" — на русский не переведенный), задели Набокова глубоко и надолго. Подсудимый — как нам говорят — защищает свое право думать и говорить... глупости. Не какую-либо особую чепуху, относящуюся к политике, скажем, или науке (кстати, Честертон презирал модную генетику, как Набоков презирал Венскую школу новейшей психологии), а просто вся-

кую глупость, общую или личную, универсальную или тайную. Он встает на защиту понятий, которые не могут быть приемлемы ни для одного разумного человека. Он лезет из кожи, чтобы доказать недоказуемое. Это — первая встреча Набокова с важнейшим элементом, рожденным нашим временем — встреча с Абсурдом. Абсурд скоро начнет играть большую роль в современной литературе (а также в театре, в живописи и музыке), придя с Беккетом и другими новаторами.

Уже в первой главе "Автобиографии" Честертона, в рассказе о его детстве, мы слышим что-то знакомое. Мама и папа любят друг друга, никто ни с кем не ссорится, все читают друг другу чудные книжки, и летом мальчики играют с хорошенькими девочками на теплом берегу моря. Честертон был живой, умный мальчик, развитой и привлекательный. Отец играл в его детстве большую роль, чем мать. Лето проводили во Франции, гувернантки никого не наказывали. "В детстве замечательно то, что решительно все — чудесно!" — пишет Честертон. И до нас долетает легкий ветерок набоковских "Других берегов", где даже коровы были красивы и умны.

Честертон совершенно не умел мириться с ранним английским социалистическим реализмом Бернарда Шоу, который за 25 лет до "Матери" Горького написал романы, так никогда и не вошедшие в собрание его сочинений (1879-1883 гг.). Изданы были эти романы позже, чем была написана эта статья.

А вот высказывание Честертона о Британской империи: "Мне говорят, в ней никогда не заходит солнце. На что мне такая империя, в которой нет закатов?" О британском социализме: "Я когда-то нехотя был социалистом, и я нехотя стал империалистом. Я, так и быть, соглашался с тем, что британцы хвастают своей империей — если им нечем другим хвастать. Я, так и быть, соглашался, чтобы г. Сидней Уэбб заботился о бедных, если никто не хочет смотреть за ними, и совершенно невозможно, чтобы они сами заботились о себе".

После посещения шумного митинга рабочей партии он писал об одном из выступавших делегатов: "Из публики время от времени раздавался бас: "Что нам всем необходимо, это — любовь!" Юмор Честертона сродни юмору Набокова: баланс между серьезным и смехотворным, между остроумием, нарочитой глу-

постью и притворством. Перейдя в католичество, Честертон уверял, что "обожает Богоматерь", напоминая нам слова Набокова, что он "когда-то тоже, кажется, поклонялся чему-то столь же непопулярному". А фраза Честертона о том, что "в наше время высоко ценится всяческое невежество", перекликается с письмами Набокова (40 лет спустя) к Эдмонду Вильсону, где Набоков брюзжит и с сердитым наслаждением выказывает Вильсону свое дурное настроение.

В своей "Автобиографии" Честертон писал: "Я нарочно называл себя оптимистом, потому что делался все больше и больше пессимистом. Все эти настроения вошли потом в бесформенное нечто, которое я назвал "Человек, который был Четвергом". Журналисты обратили на эту книгу внимание, и начались журнальные шутки: книгу называли "Человек, который был Четвертаком". Другие считали, что мой герой — родственник Пятницы (из Робинзона Крузо). Еще одни предлагали мне назвать следующую книгу "Женщина, которая была Половина Восьмого", или "Корова, которая была Завтра Вечером". Никто не удосужился взглянуть на подзаголовок книги: там было напечатано "Кошмар". Это и был мой ответ всем".

4

Набоков воспользовался для "Лолиты" не только именем Долорес из романа Уэллса "По поводу Долорес" (это имя у Уэллса принадлежит не дочери, а матери), но и ироническим тоном, в котором Уэллс рассказал свою трагическую историю. Мать не попала под автомобиль, ее убил любовник. И, совершив преступление, он испытывает "блаженство, которое дает (ему) наступившее полное душевное спокойствие". Со своей внебрачной дочерью, которая считает его своим крестным отцом, он едет в путешествие, объезжая Бретань. С места на место они едут по дорогам знакомым и незнакомым, без всякой цели, ночуя в деревнях и селах, на постоянных дворах. Непрерывная развязная речь героя напоминает разглагольствования Гумберта, как, впрочем, и коммивояжера шоколадной фирмы в "Отчаянии", — возбужденная, страстная и, вместе с тем — совершенно безумная, полностью игнорирующая какие-либо нравственные принципы. Прежде, однако, чем пуститься вместе с девочкой в

путь после убийства (никому не приходит в голову заподозрить его), герой присутствует на похоронах, пряча лицо в носовой платок и сотрясаясь не от рыданий, а от смеха и дикой радости, что он, наконец, свободен. "Бедному мосье" черной ваксой красят коричневые ботинки, напяливают на него чей-то черный костюм, находят черное пальто, доходящее ему почти до пят. Вся деревня рыдает, видя как он оплакивает свою мадам. Он едва не теряет брюки, которые ему велики, когда идет за гробом, и которые он поддерживает на животе. Отказаться от черной одежды было немыслимо — что бы сказали чтущие традиции бретонцы? На секунду, впрочем, он решает отпустить брюки — пусть падают! И давится от душащего его истерического хохота. Ему выносят стакан воды. Провожжающие рыдают в голос, видя его горе, его удерживают на краю могилы — он хочет упасть в нее. Мэр деревни держит его в своих объятиях.

Эта сцена говорит сама за себя, как и следующая за ней автомобильная поездка по городам и весям северо-запада Франции, где женщины плачут при его виде, а мужчины, смахивая одной рукой слезу, другой треплют его по плечу. Наконец, он свободен и вместе с девочкой укатывает за горизонт...

От Уэллса Набоков получил зерно своего романа, от многих других — старших современников — как бы географическую карту своего гения: где тот мост, по которому можно проехать на ту сторону? Где тот перекресток, куда надо свернуть? Не пропустить бы его! Где тот лес, который надо миновать, чтобы не оказаться в нем ночью?

У Честертона был взят первый урок — как построить и выявить свой "образ", "гештальт", или персону, т.е. тот *облик*, который обращен к другим, к читателю, к публике, к зрителю, к аудитории. К современникам и потомкам. Но в этом отношении еще большую роль сыграл в истории создания набоковского "публичного портрета" поклонник ящериц Норман Дуглас, автор "бестселлеров", рожденный в шотландском замке, проведенный в нем, как сказочный принц, свое детство и изгнанный из него; потерявший свое королевство и оказавшийся на берегу Неаполитанского залива соседом Комптона-Макензи. Как Набоков — Достоевского, так Дуглас считал Флобера писателем неважным и дутой величиной, "вроде Диккенса". Своего

современника Д.Г. Лоуренса (автора "Сыновей и любовников" и "Любовника леди Чаттерлей") он принимал с кухонного крыльца, не делая разницы между ним, своей итальянской прислугой и неаполитанскими нищими. Вокруг него кружилась международная золотая молодежь, предводительствуемая другом Оскара Уайльда лордом Альфредом Дугласом (не родственником Нормана, а однофамильцем). Но все это было в зрелые годы, после того, как Норман заработал на своих книгах сотни тысяч и был в большой славе.

В 15 лет Дуглас начал коллекционировать ящериц и до него дошел слух, что в России, на Кавказе, имеется редчайшая ящерица без ног, которая передвигается на животе. Называется она *Lacerta apoda* (в наше время она стала называться *Pseudopus apis*) — а по-русски желтопузик (Дуглас выговаривал "желтопусик"). Он тут же решил изучить русский язык ("этот мерзкий язык!"), который оказался очень ему труден. Но он изучил его в два года и пошел держать экзамен на дипломата в Министерство иностранных дел, чтобы поехать в Россию, служить в Петербурге в английском посольстве. Он подделал свой паспорт, показав, что ему 20 лет, выдержал экзамен и уехал. В Петербурге он не зажил, а отправился на Кавказ, где нашел и поймал желтопузика и преподнес его Британскому музею. Желтопузик, действительно, ползал на животе. Проведя три года в России, Дуглас стал писать романы, которые принесли ему и успех, и славу. Находка желтопузика всегда казалась ему интереснее и важнее, чем катастрофа Ходынки, которую он пережил в России. В Пестуме пресмыкающиеся произвели на него гораздо более сильное впечатление, чем развалины греческих храмов. Позже, в Германии, он открыл еще две породы ящериц — *Rana avalis* и *Salamadra maculosa*.

Норман Дуглас был красивым, светским человеком, известным своей дерзостью. Он, между прочим, ненавидел современную генетику и биологию. "Признаюсь, — писал он, — я считаю нынешнюю биологию просто жульничеством и чепухой". Его романы ("Земля сирен", "Южный ветер" и др.) в большинстве своем писались им о своих же знакомых, где каждый узнавал себя. Половина его героев жила тут же на Капри и бывала у него в доме. Английский писатель Ричард Олдингтон,

гостивший у него не раз, написал о Дугласе в своих воспоминаниях: "Я, зная его довольно близко, в то время не совсем представлял себе меру его уважения к самому себе и собственным книгам и его презрения к своим современникам. Но я очень редко слышал похвалы в их адрес".

Все — от Стивенсона до Дугласа — только доказывает лишний раз, что гениальные "ученики" перерастают своих "учителей".

Н. Берберова

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.

Главный редактор **Андрей Садох**.

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 100 долларов в год,
50 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год.

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год.

Подписку с платой направлять по адресу:

519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

О ПОЭЗИИ АЛЕКСЕЯ ЦВЕТКОВА

Свободная русская поэзия и в метрополии, и в эмиграции в последние десятилетия претерпела такие заметные изменения, что Виктор Кривулин назвал их "революцией поэтического языка". Эксперимент последних тридцати лет шел по пути освоения новой тематики, но еще больше — освоения новой поэтики.

Алексей Цветков принадлежит ко второму, наиболее представительному поколению этого движения. "Бронзовый век" повторил ритм развития "Серебряного века": и там, и здесь второе поколение оказалось решающим". Не только хронологически, но, как мы увидим, и по иным параметрам творчество Цветкова представляется важным срединным и поэтому довольно центральным феноменом. Познакомившись с тремя его книгами (в общем, около 300 стихотворений), можно составить понятие о направленности новейшей русской поэзии. В отношении эмоциональном в ее основе заложен парадокс реальной вынужденности абсурда. В первом поколении поэтов "Бронзового века" (ироническое определение Олега Охупкина) абсурдность переживалась, в основном, на социальной почве. Второе поколение, т.е. поэты, родившиеся в сороковые годы, абсурд переживает как экзистенциал, имеющий не только социальные, но и онтологические корни. Действительность представляется им более иррациональной, чем предшествующему поколению независимых поэтов. Раннее поколение было сравнительно более романтическим (С. Красовицкий, Р. Мандельштам, Г. Горбовский, Уфлянд и др.).

Экспрессионизм абсурдности, элементы сюрреализма, неопутирические опыты, снижение поэтического стиля и смешение стилей — все это уже было заложено в независимой

поэзии пятидесятых годов. Но эти поиски приобрели свойства новой антинормативной и одновременно системной поэтики только к концу шестидесятых годов, т.е. ко времени художественного становления второго поколения.

По сравнению с другими поэтами этого поколения, основания для абсурдизма в поэзии Цветкова максимально широкие. Абсурд здесь имеет корнем онтологический протест. Но так как лирический герой знает, что протест этот не ведет ни к чему, кроме саморазрушения, то эта лирика противоположным своим полюсом по необходимости видит иронию. Ирония эта самого широкого спектра — от едкого сарказма до юродствующего скоморошества. В своем единстве полярных начал — иронического и лирического — творчество Цветкова, скорее, типично, чем исключительно в новейшей поэзии.

Из мироощущения неустроенности, навязанной абсурдности мира и онтологического протеста возникает новая поэтика. Иными словами, она вырабатывается не как эстетическая теория, а как экзистенциальная реакция. Эта поэтика представлена, в отличие от поэтики прежних направлений (символизма, акмеизма, футуризма и пр.), почти целиком творческой практикой. Беря цитаты из стихов Цветкова, можно было бы составить довольно пространственный и острый манифест нового течения. Как и у других независимых поэтов (но у Цветкова больше, чем у других), манифест и творческая практика являются единым целым и представлены только в стихах. По сравнению с прежними литературными направлениями, самое большое изменение претерпела философия слова. На ней и следует остановиться, ибо вербальность — главная характеристика этой поэзии. Я имею в виду ту перспективу, в которой слово видится чем-то большим, чем смысл и факт.

Как и у Бродского, стихи Цветкова не являются выражением какого-либо особенного опыта души, призванного рассказать то, о чем другие не знают. Напротив, диапазон этого опыта знаком читателю, вероятно, в той же мере, что и поэту. Он и не стремится удивить или привлечь читателя самобытным внутренним миром, но лишь исключительным словесным опытом. Мир слова видится поэту автономным и от сущности вещей, и от самих вещей. Предметный мир — "застывший воск",

неизвестная субстанция, проявляющаяся иногда в прекрасных, чаще—в отвратительных явлениях. Поэт ничего не меняет в этой предметности. Та установка, что название явления не отражает его сущности, ведет к особой поэтике. Сущность понимается как нечто безымянное и вне досягаемости слова:

Мы дороги мостим словарями
из грамматик возводим дома
чтобы жизнь коротать скобарами
в безымянной столице ума

И еще:

я природы проверенный флагман
облекающий факты в слова

Это—из книги "Состояние сна". И там же:

в типографском раю букваря
я язык коротал говоря
но трещат на предметах имен ползунки
врассыпную бредет караван
и лопата на плахе дробит позвонки
и копает луна котлован

Мир воспринимается как дисгармоничный конгломерат, сплетаемый в некое подобие единства лишь посредством слова: Действительность видится как препятствие на пути познания сущности. Поскольку для такого видения сущность недосыгаема, то артистическая игра словом и есть художественная акция.

Семантика слова априори берется как приблизительность. Отсюда множество случаев подчеркнуто неточного словоупотребления. Неточность осмысливается как художественный прием. Иерархия семантических смыслов отвергается. Возникает беспредельная метафорическая свобода. Все может быть сравнено со всем. Слово становится текучим. Его значение воспринимается как потенция безграничного плюрализма. Вместо семантического, важными аспектами становятся фонетический и даже графический.

Такой подход к слову несколько не изолирован от общего мироощущения поэта. Если не аксиомой, то рабочей гипотезой в подобном мироощущении является случайность мира форм. Формы эти никогда не прозрачны для сущности или сущностей. Отсюда художник дает себе полную свободу игрового или даже

игривого отношения к слову. Слово воспринимается лишь как эстетический знак, годный для выражения той или иной эстетической информации. При таком взгляде на природу слова неизбежно снижение стиля. Это снижение приводит к обилию жаргона и снятию словесных табу. И жаргон, и сквернословие по своей природе направлены к снижению смыслов, к их демократизации, к разрушению их иерархии. Просторечие предпочитается литературному языку. Последний представляется исчерпанным в своих экспрессивных возможностях, тогда как в просторечии видится диапазон экспрессивных средств, не исчерпанных литературой. Экспрессия эта имеет двойную функцию. Во-первых, экспрессия как таковая, подобно тому, как у футуристов была идея слова как такового. И во-вторых — не для изображения мира, который в соответствии с новой поэтикой вообще не может быть изображен, но для все нового и нового подчеркивания своего отношения к миру. Мир есть источник страдания, и ирония художника — акт самозащиты. В соответствии с этим мироощущением в начале было не слово, а вещь. Слово не имеет трансцендентной природы, вещь, возможно, имеет. Тем не менее, вещь непознаваема, так как имеет неограниченное число функций. Таким образом, слово изначально не может охватить вещь. Лопата в цитированном стихотворении названа лопатой только по традиции. Других причин называть ее этим именем не имеется.

Между прочим, и графика стихотворений Цветкова отражает эту же философию слова. Заглавные буквы в начале строки, в начале предложения и в собственных именах заменены на строчные. Та же демократизация, отрицающая иерархию смыслов. Одно слово равно другому и не лучше другого. Разумеется, в каждой конкретной ситуации налицо фонетический или ритмический выбор, но не стилистический. В этом отношении к слову Цветков если и не самый последовательный из современных серьезных поэтов, то, конечно, более, чем кто-либо другой, сознательно осмысливающий этот новый подход. Недаром в его стихах встречается так много строк, говорящих о слове и о словесном искусстве. Этим сложным отношением к слову и миру объясняется, в частности, тот факт, что Цветков — один из наиболее "трудных" современных поэтов.

Подобная философия слова стимулируется самой реальностью XX века. В этом столетии вследствие экспансии средств массовой информации произошла инфляция слова. И в результате перепроизводства пропаганды сама природа слова берется под сомнение. В историческом контексте, когда знание деградирует до уровня информации, слово начинают воспринимать двухмерно, т.е. просто как знак ("дорожный знак", как сказано у Цветкова). Поэзия Цветкова противится этой коррупции посредством необыкновенно гибкой и широкой иронии, но в практическом словоупотреблении принимает эту знаковость. Отношение к слову дано на эмоциональном фоне отталкивания от той действительности, которая порождает такое отношение к слову. Таким путем возникает прихотливая многоплановость психологических установок.

Футуристическое слово как таковое первоначально было основано на остраении. В новой поэтической системе оказалось, что даже и остраения не нужно. Достаточно, не деформируя слово, поставить его в контекст нарушенного синтаксиса или нарушить логику предложения, или допустить необычные грамматические связи — и слово становится независимым от сопутствующего ему смысла и разведенным с соответствующими реалиями. Традиционная поэтика требовала лучших слов в лучшем порядке. О новой поэтике можно сказать, что она берет возможные слова в экспрессивном беспорядке. В такой поэтике создается впечатление, что слова годятся лишь к одноразовому употреблению, вполне в соответствии с современной цивилизацией of disposable things. Эту одноразовость можно видеть на примере цветковских эпитетов: кислые звезды, стахановский суслик, ржавая жертва, скрипучий вздох, дамоклов кукиш, обескровленная флора, федеративная погода, запасной Казанова, ежедачный сбор грибов. Эти эпитеты годны лишь к одноразовому употреблению, подобно бумажному стаканчику, из которого мы пьем кофе или бумажному полотенцу. Этот современный подход к слову может быть также уподоблен методу ремонта автомобиля, когда, строго говоря, автомобиль не ремонтируется, но лишь изношенная часть заменяется новой. Такая взаимозаменяемость слов, как частей в индустрии, основана на прагма-

тизме. Но именно это обстоятельство порождает чувство абсурдности:

Когда споет на берегу сигнальная труба
посеют в поле белену ударники труда

Как видно из подобных стихов, сама вера в причинно-следственные связи, бывшая основой нормативных поэтик, взята под сомнение. Подобно слову как таковому у футуристов, в современной поэзии мы можем видеть синтаксис как таковой, освобожденный от своей функции корреляции смыслов.

Поучительно проследить в новой поэтике, а в частности и у Цветкова, механизм сравнения. Направленность сравнения легко предсказать, ибо сравнение и вообще метафора являются интегральной частью этой системы. Сравнения основаны на сведении высокого к низкому, естественного к искусственному, биологического к геометрическому. Таких уподоблений особенно много встречается у Горбовского, но и для Цветкова подобная направленность метафоры довольно обычна. Человеческая память сравнивается с болонкой, крылья птиц или стрекоз — с чертежами, равнина — с солдатским погоном, гроза — с кокардой на фуражке. Сравнение более не основано на наблюдательности, как, скажем, у Бунина, или на универсальном принципе аналогии, как у Вячеслава Иванова. Все может быть уподоблено всему. В книге "Эдем" сам Бог уподобляется Левенгуку, смотрящему с холодной наблюдательностью сквозь увеличительное стекло на человеческие ужимки.

Остается чистый лиризм, которому нечего воспевать и, тем не менее, он не перестает быть лиризмом. Его носителем становится уже не смысл, не слово и не тема, а ритмика и метрика. Ритмы в стихах Цветкова традиционны. Здесь уместно процитировать его слова: "Я жажду как славы клейма ретрограда". Область ритмики новейшая поэтическая революция затронула мало. У Цветкова контраст между традиционным ритмическим рисунком и новым отношением к слову даже резче, чем у многих современных поэтов. Этот контраст распространяется и на строфику. Из 53 стихотворений в книге "Эдем" четверть написаны традиционными четверостишиями. Еще четверть представляют

собой строфически стандартные шести- и восьмистишия и т.п. Только два стихотворения астрофичны. Все остальные, т.е. примерно половина стихотворений в "Эдеме", представлены асимметричной строфикой типа 5-6-4-5. Среди этих асимметричных композиций наблюдается широкое разнообразие — от четырнадцатистрочной строфы до однострочной, но все это в пределах традиции. Уникальных строф, или так называемых твердых (типа терцин, рондо и пр.), в книге "Эдем" вообще нет, что также вполне соответствует общему развитию поэтического "Бронзового века", в отличие от более культурного в этом отношении "Серебряного века". В общем, строфика Цветкова занимает срединное положение — не совсем авангардное, но и не слишком консервативное. Для поэтической системы Цветкова эта срединность не случайна. Ко множеству включенных в эту систему контрастов добавляется еще один: контраст между авангардной философией слова и довольно консервативной строфикой.

Подобная же ситуация наблюдается и в метрике. По существующим подсчетам, в современной русской поэзии решительно преобладают четырехстопные и пятистопные ямбы и хореи. В смысле метрики они столь же стандартны, как четвёристишия в смысле строфики. У Цветкова и в том, и в другом случае заметный, но не слишком решительный отход от этих стандартов. В его наиболее совершенной книге "Эдем" преобладают трехстопники, а наиболее часто используемым метром является не ямб или хорей, а амфибрахий, на наш взгляд, более приспособленный к современной разговорной интонации. 53 стихотворения и пять прозаических отрывков, составляющих "Эдем", представляют собой редкий жанр мемуарной стихотворной повести. И самый жанр, и отсутствие специально поэтической лексики, и новая философия слова, направленная к его прозаизации и снижению стиля, и, наконец, включение в книгу прозаических отрывков обнаруживают тенденцию к сближению поэзии и прозы. В этом контексте амфибрахий как преобладающий размер прекрасно передает современную повествовательную интонацию. Прозаическая интонация последовательно вводится в традиционную стихотворную ритмику и метрику.

Цветков не часто прибегает к верлибру. В официальной поэзии верлибр до сих пор считается экспериментальной периферией стиха. Из обследованных 2203 сборников, вышедших в 60-ых и 70-ых годах, верлибр составлял только 0.3%. В неофициальной поэзии и в эмиграции частотность верлибра во много раз выше. И в этом смысле поэзия Цветкова занимает срединное, лишенное крайностей положение.

Итак, говоря о ритмике, метрике и строфике, можно сделать вывод, что поэзия Цветкова находится в центре, между авангардной и консервативной тенденциями. Тем контрастнее воспринимается цветковская рифма — самый вербальный элемент стихотворной формы. Рифма Цветкова полна контрастов, образующих напряженное эстетическое поле. Одновременно наблюдаются и крайне консервативная, и крайне авангардная тенденции, порой в одном и том же стихотворении. Еще в конце прошлого века чередование мужских и женских рифм составляло 76% рифмовки в опубликованных тогда сборниках. Примерно то же соотношение может быть найдено 100 лет спустя в книге Цветкова "Эдем", столь авангардной во многих других отношениях. Решительно преобладают парные (т.е. немногочисленные), открытые, перекрестные рифмы. Все эти характеристики являются крайне консервативными особенностями рифмы. Но с такими рифмами постоянно соседствуют оригинально найденные богатые ассонансы. Кроме того, встречается обилие неточных женских рифм типа "страды — стволы". На почве соседства точных и неточных рифм в характерной для Цветкова пропорции возникает впечатление еще одного типа контраста. То же самое может быть сказано о резком контрасте на основании соседства весьма обычных и крайне необычных рифм.

Но самое примечательное в рифмовке Цветкова — это новая грамматизация рифмы. Напомним, что весь ход русской поэзии с XVIII века был направлен в сторону деграмматизации рифмы. У Цветкова мы видим систематическое стремление в обратном направлении. Этот оригинальный процесс возможен только при условии радикального обновления поэтического словаря. Результатом явился некий стилистический Вавилон, смешение всех лексических рядов в пределах одного текста. Для русской рифмы это обстоятельство было чем-то вроде открытия нового ма-

терика. Возник процесс, который я называю новой грамматизацией русской рифмы.

У Цветкова эта грамматизация видна буквально в десятках более или менее новых приемов рифмовки. Назовем здесь лишь некоторые из них. Использование искусственного множественного числа: "Греций — парамеций". Неологизация существующих форм: "грибовный (вместо "грибной") — любовный". Очень свободная рифмовка иностранных слов: "героином — георгином". Использование собственных имен в качестве нарицательных: "вавилон — валидол". Использование в рифмовке аббревиатур: "жэдэ—желе". Рифмовка слов, принадлежащих к разным стилистическим уровням; так условно-поэтическое "чертог" рифмуется с диалектным "чехонь". Использование в рифмовке газетных клише, жаргона, вульгаризмов, варваризмов, вплоть до самых крайних стилистических контрастов.

Такая грамматизация рифмы, еще недавно казавшаяся невозможной, явилась результатом новой философии слова. Последняя же явилась результатом нового мироощущения, свойственного этой поэзии. Всякий поэт, достойный этого слова, создает свое поэтическое пространство. Но значительный поэт создает, кроме того, и свою поэтическую систему, которая прослеживается на всех уровнях, от онтологического до узкотехнического. Мироощущение в книгах Цветкова проецируется на каждый уровень — образный, лексико-грамматический, стиховой, с их многими под-уровнями ритмики, метрики, строфики, рифмы. На примере поэзии Цветкова можно наблюдать не только стабилизированное утверждение нового отношения к слову, но и другой в высшей степени примечательный факт. А именно: в новой поэтике с большей очевидностью, чем в предшествующие эпохи, конкретные художественно-технические приемы выступают как аспекты мировоззрения поэта.

Вадим Крейд

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ И З. Н. ГИППИУС КАК АВТОРЫ СЦЕНАРИЕВ

Публикация Темиры Пахмусс

Печатаемый ниже текст "Золотые сны", написанный Зинаидой Николаевной Гиппиус (1869-1945), одним из ранних оригинальных поэтов-символистов в России, от имени ее мужа, Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865-1941), выдающегося русского писателя на рубеже двух столетий, представляет собою соображения обоих писателей о существе и о будущем западноевропейского кинематографа. Как и во всех их произведениях, Гиппиус выражает здесь их общее убеждение, что литература не должна ограничиваться описанием одного быта, но быть "идейной в самом широком смысле слова". Она должна постоянно напоминать читателю об идеалах, о возвышающих его "золотых снах", а также воспитывать в нем просветленную волю, необходимую для претворения этих снов, идеалов в действительность.

Сознавая все потенциальные возможности воздействия на зрителя посредством кино, Гиппиус и Мережковский обратились к жанру сценария в годы своей жизни во Франции в эмиграции. В конце двадцатых-начале тридцатых годов Гиппиус написала сценарий "Невидимый луч, или воплощенный Будда",¹ в котором слышится ее тревожный голос по поводу будущего Европы. Темные силы на Востоке, пророчествует она, стремятся объединить народы Азии, чтобы бросить их на Запад, уже забывший опыт Первой мировой войны и русской большевистской революции 1917 года. Новое движение, начавшееся "под знаменем

1. См. публикацию Т. А. Пахмусс: "Зинаида Гиппиус: 'Невидимый луч, или воплощенный Будда'". — "Современник", N 24, Торонто, 1972 г., стр. 33-74.

национального освобождения от европейского ига", кончится "лишь построением на развалинах Европы всемирной Коммуны [большевизма]".

Сценарий свидетельствует о большом умении Зинаиды Гиппиус использовать занимательную интригу. Ему присуще быстрое развитие действия и прекрасный по своей психологической убедительности рисунок личности героя. Особый интерес сценария в том, что он является типичным произведением Гиппиус, поскольку содержит многие из главных положений ее метафизической философии: любовь — это мистическое отражение вечности в жизни человека на земле; тайна смерти — "самая окруженная оградой вещь"; воля человека и его свобода возможны только в свете любви Иисуса Христа.

"Невидимый луч" представляет собою интересный документ историко-литературного значения, так как он не только передает картину духовной жизни русской эмиграции в Париже, но также облик и мысли самой Зинаиды Гиппиус, ее горестные раздумья над судьбами человечества в условиях современных неразрешимых конфликтов, противоречий и постоянного роста военного вооружения во всех странах мира. Эти раздумья и горячее желание указать человеку на возможный путь спасения легли в основу всего ее художественного творчества, особенно в эмиграции.

Другим любопытным сценарием, написанным Гиппиус и Мережковским вместе, является "Борис Годунов", законченный в конце двадцатых — начале тридцатых годов, в период их материальных затруднений (особенно угнетавших Гиппиус) и конфликтов с редакторами русских газет и журналов, неохотно печатавших их статьи и рассказы на религиозные и общественно-политические темы. Их произведения метафизического характера считались "вышедшими из моды", а их политические сочинения, написанные в духе "непримиримости" по отношению к "большевистской государственности-безгосударственности", русская пресса считала более благоразумным не печатать. Доходов поэтому у Мережковских в это время было мало.

На первом плане в сценарии "Борис Годунов" стоит изображение тончайших психологических деталей внутренней жизни персонажей, сложности их личностей и проблема трансформации судьбы и характера человека в его столкновении с важными историческими событиями. Сценарий отличается занимательной интригой и быстро меняющимися сюжетными положениями. Это — историческое повествование о временах

"Смуты" в России XVII века и о противоречивом внутреннем облике царей Бориса и Лжедмитрия. Как и в пушкинском "Борисе Годунове", здесь мы имеем дело со своеобразным художественным гибридом исторического повествования, драмы, поэзии и прозы. История превращается в драму и, через трансформацию ее художественного воплощения, в миф. Идиоматический и выразительный диалог полон фольклорного колорита: народных сказаний, пословиц, поговорок, заклинаний, пьяных кабацких песен. Особняком в этом органическом художественном единстве стоит польская "Слава" святому Себастиану. В концепции "Бориса Годунова" мы видим ту гуманность, которая определяет глубокую метафизическую сосредоточенность произведений Гиппиус и Мережковского и их неустанные поиски Абсолютного во имя создания Человечества Третьего Завета.

По неизвестным мне причинам долголетний секретарь Мережковских, Владимир Ананьевич Злобин (1894-1967), опубликовал часть сценария "Борис Годунов" в сокращенном виде, выбрав восемь сцен из шестнадцати и переименовав заглавие на "Дмитрий-Самозванец"². В печати "Дмитрий-Самозванец" появился уже после смерти обоих писателей, в период сотрудничества Злобина в русском журнале в Париже "Возрождение".

В 1936-37 годах, находясь в Италии, Мережковский работал над сценариями "Леонардо да Винчи", "Микельанджело" и "Данте", в чем ему усердно, как всегда, помогала Гиппиус. В находящемся у меня архиве Мережковских сохранился только сценарий "Данте" на русском языке. Роберт Альтерман, берлинский и парижский коммерсант, специализировавшийся на экранизации произведений русских писателей в эмиграции для немецкого, французского и итальянского кино, особенно заинтересовался сценариями Мережковского, обозначенными выше. Почти во всех письмах Мережковского и Гиппиус из Флоренции и Рима оставшемуся в Париже Злобину упоминается имя Альтермана, на которого все они возлагали большие надежды по осуществлению проекта экранизации сценариев. Для данной публикации я выбрала только два письма Злобина Зинаиде Гиппиус от 30-го ноября и 2-го декабря 1936 года и ее ответ от 7-го декабря того же года.

Как и книга Мережковского "Данте"³, сценарий, конечно, в сжатой

2. "Возрождение", NN 36-38, Париж, 1957 г.

3. Брюссель, "Петрополис", 1939 г.

форме, с умело подобранными редкими выразительными деталями и в живых и рельефных сюжетных ситуациях и сценах — рисует личность Данте и его участие в религиозной и политической жизни Италии, как это видел Мережковский. Тут же находится краткая экспозиция основных религиозных и метафизических концепций Гиппиус и Мережковского таких, как "любовь-влюбленность" (не тождественные понятия в их философии), похоть, число "три", "Тайна Трех", Трех Ипостасей, Трех Заветов — Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа, Трех в Одним; Трех Царств — Царства Ветхого Завета, Царства Нового Завета и Царства Третьего Завета, или Царства Апокалиптического Христианства, таинственного слияния неба и земли.

Идея "двойника", карамазовского черта и идея "антипапства" представлены в сценарии как антиномии папы-антипапы, Христа-Антихриста и Данте-АнтидANTE. Страстное желание Мережковского предотвратить духовную гибель человечества и всемерно содействовать возникновению нового Царства — Любви, Красоты, Гармонии и вечного Мира — органически соединяет "Данте" со всем творчеством Мережковского *in toto*.

Публикуемые ниже два письма Злобина способствуют воссозданию атмосферы жизни русских писателей в эмиграции почти накануне Второй мировой войны, указывают на их материальную зависимость от государственной пенсии и на их тревогу по поводу углубляющихся коммунистических настроений во Франции того времени. Тут же упоминается созданное Мережковскими в Париже литературно-философское общество "Зеленая Лампа"⁴ и приводятся разные любопытные подробности личной жизни представителей русской интеллигенции на Западе. Письмо Гиппиус передает ее чувство юмора во всех ситуациях жизни, большой дар наблюдательности и живой, зоркий интерес ко всему, происходящему вокруг.

В свете этих предварительных замечаний и следует читать статью Гиппиус-Мережковского и письма, текст которых дан в современной орфографии. Подчеркнутое набрано курсивом.

Сценарии "Борис Годунов" и "Данте" готовятся к печати.

Темира Пахмусс

4. См.: Т. Pachmuss. Zinaida Hippus: An Intellectual Profile, 1971, pp. 188, 235, 238-239, 247, 249, 267-271, 278, 399.

Золотые сны

Меня спрашивают, и не без удивления: как могло случиться, что я интересуюсь синематографом? Уже одно то, что любимое это детище современности построено, главным образом, на технике и носит в себе известную механичность, должно бы меня отталкивать.

Но я совсем не враг механики. А на современные технические завоевания смотрю не только с интересом, но даже с упованием. В окончательную механизацию мира, которой принято бояться, я не особенно верю. Среди же органического мира человеческое творчество в области техники, создания нашей современности, — все это само по себе нейтрально. Каждое новое "завоевание" еще не добро и не зло; оно лишь *может* стать добром или злом — в зависимости от того, что с ним сделает человеческая *воля*, куда и на что его направит.

Синематограф так еще сравнительно молод, так неожиданно буен его рост, и так человечество этим ростом своего ребенка увлечено, что в сторону его внутренних возможностей посмотреть серьезно почти не успело. Никто, пожалуй, синематографа как следует не знает. И того значения, которое *может* он получить, не предвидит.

Хотя отчасти это происходит от молодости открытия, но виновата и леность человеческого воображения. Между тем, в силе воображения и таится будущая сила синематографа. Он открывает — потенциально — новые двери, ведущие куда-то на простор, к образам жизни не данной, а желанной и, быть может, не невозможной.

Таковы потенции. Сейчас синематограф находится в состоянии, соответствующем состоянию общей средней массы человечества. Она делает его по собственному подобию, в меру своей *сознательной* воли. А сознательная воля не идет очень далеко: она творит образ жизни, наивозможно более близкий к данной, реальной жизни, только чуть-чуть, по внешним обстоятельствам, лучшей; чуть-чуть менее серой, менее скучной или менее несчастной. Жажда "хороших концов" — праведная жажда; при всей детскости и бессознательности — это, однако, желание

видеть образ жизни *улучшенной*, т. е. желание, в существе своем, очень глубокое. Попробуем представить себе синематограф, достигший последнего технического совершенства, с полной и потрясающей точностью воспроизводящий формы жизни, — и при этом воспроизводящий жизнь и во всем внутреннем течении ее, как она есть сейчас, т. е. показывающий лишь то, что действительно бывает; да ведь это был бы конец синематографа!

Что же? Значит, фантастика? Рассказывать сказки? Навевать людям золотые сны? И тут главное предназначение синематографа?

Да, если мы признаем, что лишь благодаря "сказкам" и "золотым снам", которыми все века жило человечество, оно живо до сих пор; что лишь благодаря своим желаниям и порывам вперед, от того, что *есть*, к тому, чего еще *нет*, существует наша история, наша наука, искусство, да и вся наша техника. Идея и представление — что это как не "фантастика"? Воля к тому, чего еще нет, — что это как не "сказки"? И разве не были в свое время "сказками" человеческие крылья и тот же синематограф? Без "золотых снов" мы сейчас, конечно, еще раздирали бы зубами сырое мясо, может быть, человеческое; и уже, конечно, без "сказки" ничего подобного синематографу не было бы в помине.

Синематограф, в потенции, — великое орудие для расширения всех наших жизненных горизонтов. То, что еще слабо преподносится внутреннему взору, может быть показано, может стать видимо реальному глазу и насколько, поэтому, ярче воспринято сознанием! Не забудем и широту круга, захваченного синематографом: широта его, действительно, мировая.

Эти великие потенции, заключенные в синематографе, и волнуют меня. Они могут не осуществиться. Ведь и человечество может забыть свою способность видеть "золотые сны", забыть в сегодняшнем дне день вчерашний и завтрашний, медленно снизиться (или быстро провалиться). Но пока не исчезли из человеческой души *страх* и *надежда*, этого не будет. Ибо из страха и надежды родится сознание и родится *воля*.

Чтобы синематограф, при стольких возможностях, действительно послужил миру, он должен стать "идейным" в самом широком смысле этого слова. В самом широком — ибо задача его не учительствовать, не проповедовать, не просвещать и даже

не пророчествовать, — а только *просветлять* для человечества правду его собственных желаний и надежд, напоминать об истине его "золотых снов".

"Идейный" синематограф — это образы человека и жизни, — нашей же, — но не совсем еще нашей; и лучшей не случайно и не чуть-чуть (как рисуют теперешние фильмы). Это, кроме того, — образы тех опасностей, которыми мы сегодня окружены, не видя их, и которые отделяют нас от этой "не чуть-чуть" лучшей жизни. Невидимое, переведенное в видимый образ (что позволяет синематографу), часто кажется нам "фантастическим". Эта фантастика должна быть в синематографе: недаром только с ним открылись для нас технические возможности.

Во всяком случае, синематограф, который сейчас находится на скрещении многих путей, не минует и того, о котором я говорю. Чего он на нем достигнет, покажет будущее. В настоящее же время все мы, кто хочет и может помочь, должны с радостью идти навстречу хотя бы первым шагам синематографа в этом направлении.

Так иду я в моем желании помочь трудной и ответственной работе г. Иванова*. Грандиозный фильм "Конец мира", съемкой которого сейчас занят Художественный Синематограф (Н. В. или как его?), это, несомненно, первый шаг на нелегком, но правильном пути синематографа. Это — все тот же "золотой сон сердца", сбывающийся после избегнутой опасности. Избегнутой, правда, еще без участия человеческой воли, ибо опасности чисто внешней. Создание образов наших внутренних опасностей, по-

* *Примечание:* Мне неизвестно, о каком г. Иванове идет речь в этой статье. В конце 20-х—начале 30-х гг. во Франции происходила съемка фильма "*Fin du jour*" (режиссер Абель Ганс, оператор Жюль Крюгер). Абель Ганс работал вместе с русскими эмигрантами над постановкой нескольких фильмов ("*Наполеон*", 1927 г. — один из них), но участвовал в работе над фильмом "*Fin du jour*" русский режиссер Александр Иванович Иванов-Гай (1878-1926), мне неизвестно. Важно, что Мережковский был приглашен приложить свои силы к работе над этим фильмом, чем он был очень доволен.

беду над которыми одержит пробудившаяся и просветленная воля, — будет следующим шагом.

Пока, насколько я знаю, Художественное Синема с его директором г. Ивановым — единственное, избравшее этот трудный, полный препятствий, но внутренне правильный путь работы. И, повторяю, я буду счастлив, если сумею приложить к этой работе свои силы.

Dmitry Merejkovsky

(статья написана Зинаидой Гиппиус)

В. Злобин — З. Гиппиус

11 bis Av. Colonel Bonnet

Paris 16

30.XI.36

Только что, милая, получил ваше письмо от 27-го. В конце концов, может быть, оно и лучше, что вы возвращаетесь¹. Неизвестно, какими путями ведет вас маленькая Тереза². Но я ей верю и не "пру против рожна".

Я вам в прошлом письме писал, что собирался к Бюре³. Однако, передумал и поехал в министерство. Laugier действительно болен и отсутствует. Принял меня его заместитель, довольно приятный господин, типа Мутэ⁴. Т.к. вы возвращаетесь, то я решил хлопотать о восстановлении пенсии, вернее, о том, чтобы ее увеличили до 3.000 фр., ибо, в размере 2.000, она не

1. Злобин и все друзья Мережковских советовали им не возвращаться из Италии во Францию, чтобы не стать во второй раз невольными свидетелями возможного нового большевистского *coup d'état*.

2. Любимая католическая святая Мережковских.

3. Эмиль Бюре (1876-1952), французский журналист и редактор журналов "L'Ordre" и "Les Nouvelles". Депутат сената. В политике продолжал линию Бриана. Бюре оказывал финансовую помощь русским писателям во Франции.

4. М. Мутэ (1876-1968), французский адвокат и сенатор. Друг и защитник русских эмигрантов во Франции. Играл среди них большую роль. Социалистический депутат в сенате "правого направления". В парламенте — представитель Лиона с 1914 г. Перед и после Второй мировой войны — министр.

уничтожена... Есть еще один ход, довольно противный — это обратиться к самому Блюму⁵. Но это мы обсудим вместе.

А теперь следующее. Георгий Раевский⁶ мне пишет из Вены, что он устраивает кинематографические дела, что там интересуются "Леонардо"⁷, но т.к. "Леонардо" занят, то согласятся и на "Микель Анжело"⁸ (я предложил еще "*Тутанкамона*")⁹. Один из этих интересующихся, некто Docteur Jules Haudu, большой почитатель Дмитрия Сергеевича, выехал 28-го в Рим и желает говорить с Дмитрием Сергеевичем. Адрес этого господина в Риме Hotel Excelsior. Попросите Д. С-ча ему позвонить по телефону. Я же со своей стороны посылаю ему ваш римский адрес по авиону. Я не знаю, насколько это серьезно, но повидаться с этим господином следует. Может быть, он заинтересуется фильмом из жизни Данте. Как знать, какой пень выстрелит.

Ася¹⁰ сегодня утром заявила мне, что будет всячески препятствовать изданию вашего дневника¹¹ по-французски (я этим делом упорно занимаюсь), ибо это может повредить вашим сестрам. (Почему именно французское издание, когда уже было русское?). Я встал и ушел, не желая продолжать разговор. А на-

5. Леон Блюм (1872-1950), французский премьер-министр перед Второй мировой войной, лидер "Народного фронта". Ввел различные социальные реформы такие, как страхование и право на отпуск для работающего населения Франции. Гиппиус и Мережковский, считая его диктатором, относились к нему резко отрицательно.

6. Георгий Авдеевич Оцуп (псевдоним — Георгий Раевский, 1897-1963). Поэт, брат Николая Оцупа. Автор нескольких сборников стихов.

7. "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи" (СПб, 1901).

8. "Итальянские новеллы конца XV века. Микель Анжело. Святой Сатир" (Москва, 1902).

9. "Рождение богов. Тутанкамон на Крите" (Прага, 1925).

10. Анна Николаевна Гиппиус (псевдоним — Анна Гиз, 1872-1942), сестра З.Н. Гиппиус. Врач по профессии, автор книги "Святой Тихон Задонский" (Париж, 1927) и дневника "Обитель Соловецкая" ("Возрождение", Париж, 1958, № 83, стр. 13-27). См. о ней в книге: Temira Pachmuss, "Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus", Munich, 1972, pp. 518-530.

11. Зинаида Гиппиус, "Синяя книга: Петербургский дневник (1914-1918)" (Белград, 1929).

днях, увидав у меня на столе корректуру книги стихов Софиева¹², которую выпускает наш Союз¹³: "Это что? Стихи? Я тоже хочу издать свои стихи. Я их посвящу Владыке".

Хорошо. Жду ваших последних известий — о дне приезда.

Целую. Ваш Володя

В. Злобин — З. Гиппиус

11 bis Av. Colonel Bonnet
Paris 16
2.XII.36

Пишу вам, милая, опять, ибо не знаю, сколько времени вы еще останетесь в Риме. Жду извещения о вашем приезде со дня на день. Вчера Мамченко¹⁴ мне написал, что может на будущей неделе начать покраску квартиры... Я вам позавчера послал по авиону адрес некого Mr. Jules Haudu, австрийского писателя, поклонника Дмитрия Сергеевича, желающего говорить с Дмитрием Сергеевичем на кинематографические темы (я рекомендую предложить этому Haudu "Данте"). Одновременно я послал и Haudu ваш римский адрес. Так что, надеюсь, вы еще успеете встретиться с этим господином. Но что из этого выйдет, я не знаю. Однако, пренебрегать ничем не следует.

Был в прошлый четверг на докладе Адамовича¹⁵ о Жиде¹⁶.

12. Юрий Борисович Бек-Софиев (литературный псевдоним — Юрий Софиев), муж поэтессы Ирины Кнорринг. Сотрудник "Современных записок", "Русских записок", "Чисел", "Ковчега", "Круга". В Париже в 1937 г. напечатаны его "Горы и камни".

13. Союз молодых поэтов и писателей (1924-1956).

14. Виктор Андреевич Мамченко (1901-1982), близкий друг З. Н. Гиппиус, автор нескольких сборников стихов. См. о нем в "Intellect and Ideas in Action", pp. 448-460.

15. Георгий Викторович Адамович (1894-1972), влиятельный критик в эмиграции, автор нескольких сборников стихов. См. о нем в "Intellect and Ideas in Action", pp. 332-447.

16. Андре Жид (1869-1951), французский писатель, автор множества романов. Лауреат Нобелевской премии.

Но в антракт сбежал: Адамович так усыпил меня своей меледой, что я буквально чуть не свалился со стула. Народу, однако, было тьма. Вообще, публика сейчас опять заходила на собрания, и я уже мечтаю о "Зеленой Лампе".

О здешнем положении не пишу, чтобы вас не расстраивать, да вам почти все известно из итальянской газеты. Но положение здесь становится все безвыходнее.

Другие новости тоже незеселые. Смоленский¹⁷ лишился места (предприятие, где он служил, лопнуло). Кроме того, с ним разводится его жена. Алла Головина¹⁸ вся в туберкулезе и лежит, не двигаясь. Ее брат, Штейгер¹⁹, как будто поправился, во всяком случае, пополнел, но, как он мне сам признался: "Легких у меня, собственно говоря, уже нет, так, осталось что-то с левой стороны". Голенищев-Кутузов²⁰ стал младороссом, живет в Белграде и пишет подлые статейки в тамошней младоросской газетке. Прохаживается (анонимно) и насчет вас: "З. Гиппиус — эта эмигрантская Наина..." Словом, "полуподлец, но есть надежда...". Благодушествует лишь один Мандельштам²¹, ожидающий в январе прибавление семейства, да Кельберин²², через три месяца

17. Владимир Алексеевич Смоленский (1901-1961), автор четырех сборников стихов, редактор журнала "Орион" (Париж, 1947). См. о нем: Temira Pachmuss, "A Russian Cultural Revival: A Critical Anthology of Emigré Literature before 1939", pp. 378-383.

18. Алла Сергеевна Головина, сестра поэта Анатолия Штейгера, поэтесса и писательница. Печаталась в журналах: "Воля России", "Современные записки", в газетах. "Руль", "Россия и славянство", сб. "Ковчег" (N.Y.: 1942) N1. Сб. стихотворений "Лебединая карусель". Берлин, 1935.

19. Барон Анатолий Сергеевич Штейгер (1907-1944), поэт. См. о нем в "A Russian Cultural Revival", pp. 360-363.

20. Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, переводчик, поэт, ученый. Сотрудник журналов "Числа" и "Современные записки". Автор сборника стихов "Память" (Париж, 1935). Гиппиус дала ему насмешливое прозвище "Мышиный глаз". В 1955 г. Голенищев-Кутузов вернулся в Советский Союз, где опубликовал ряд статей о поэзии, кубизме и итальянском Ренессансе.

21. Юрий Владимирович Мандельштам (1908-1943), литературный критик и поэт. Умершвлен немецким гестапо в концентрационном лагере в Германии. См. о нем в "A Russian Cultural Revival", pp. 384-86.

22. Лазарь Израилович Кельберин (р. 1907), русский поэт и критик. Сотрудник "Чисел" и других эмигрантских изданий.

жнящийся на княжне Оболенской, которую я от всего сердца жалею. Алферов²³ же отовсюду исчез, смертельно обидевшись на весь мир.

А сейчас я совершенно определенно иду прямым рейсом к Эмилю²⁴, чтобы он звонил в министерство и напомнил министру об "обещании" увеличить пенсию, ибо в эту пятницу у меня решительное свидание с шефом кабинета.

Прощайте, милая. Целую вас. Пишите. Ваш Володя.

Кстати, я узнал адрес Шюзвиля²⁵. Он не в Риме.

3. Гиппиус — В. Злобину

1500 Hotel Boston. Roma

Понедельник, 7.XII.36

Дорогой Володя. Мы ждем, когда устроятся билеты, оттого и не едем. Нам все обещают, и все ничего! Здесь тоже явная "не малина"; под какую руку попадешь. "Шок" разочарования Дмитрия Сергеевича столь велик, что ему уж французская малина (или немалина) кажется порой малиннее. Мне особенно жалко уезжать из Рима потому, что он (Д. С.) говорит: "Теперь уж я сюда не вернусь... разве что фильм и Альтерман". Прибавление это мало утешает, ибо от Альтермана ни шерсти, ни молока. По крайней мере не видно. — Вчера Д. С-ча чествовали все римские писатели-фашисты, здешняя элита, обедали в Grand Hotel'e. Они все очень сердечные и приятные, но... робости невероятной. В известном смысле.

23. Анатолий Алферов, русский писатель в эмиграции. Печатался в журналах "Иллюстрированная Россия", "Числа", "Встречи" и в альманахе "Круг". Автор "Очерков по истории русской литературы 19-го века" (Прага, 1925), редактор журнала "Полярная звезда" (1935). Незадолго до Второй мировой войны переселился в Аргентину.

24. Эмиль Бюре.

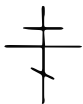
25. Жан де Шюзвиль, переводчик произведений Д. Мережковского, З. Гиппиус, К. Бальмонта, А. Пушкина и других русских писателей на французский язык. Автор книг "Dmitri Mérejkowski" (Париж, 1922) и "Rome et l'Internationale: Une Prédiction de Dostoievski" (Париж, 1927).

Я забыла вам написать, что Шюзвиль появился. Но после первого свидания — заболел, потом, немножко выздоровев, поймал нас на улице (не застав дома), обещал еще придти, но нейдет; вызвать его нельзя, ибо он куда-то переехал, но еще сам не знал тогда своего адреса: "Красный дом рядом с акушеркой". Между тем он очень нужен; у него, говорил он, приятель в синема, и если с Альтерманом ничего не выйдет, то от него Д. С. отнимет *option*, приятель сам сделает сценарий на "Леонардо" и поставит. От Франции все равно Альтерман капиталов не дожидется. "Данте" Шюзвиль переводить обещается.

А вы-то как обещаете! Сегодня, мол, не могу послать книг, уже поздно и темно, завтра. Вот вам и завтра! Пошлите *мгновенно*; всего Ал. Дюма я прикончила, если не пришлете — и на дорогу нечего будет взять для забвения разлуки с Италией. Я думаю, мы еще неделю побудем, билеты будут же, а если неделю или восемь дней ничего — тогда без даровых поедем.

Каждый день ждем ваших писем, но вы — то густо, то пусто. Общее положение — "кошка за хвост", Блюма коммунисты будут хранить елико возможно. Ширмы. К серьезным делам прибавилось еще, что "кухарка женится" (в смысле английского короля). "Да провались они!" — говорит Д. С.

Ну, вот все пока. Ася, конечно, глупости... А вот что моих стихов здесь нет у меня, это жаль. Целую, Ваша З.



**Редакция "Нового Журнала" с плубоким прискорбием
извещает о кончине 6 ноября 1987 г.**

Екатерины Леонидовны

Таубер,

писательницы и поэтессы, сотрудницы "Нового Журнала"

СОВЕТСКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ПУШКИНА

В начале 1929 г. Академия наук избрала 42 действительных члена. Не без скандала (в первом туре несколько кандидатов было забаллотировано) академиками стали, наряду с выдающимися и заслуженными учеными, Н.И. Бухарин, А.М. Деборин, Г.М. Кржижановский, Н.М. Лукин и другие светила коммунистической науки, — а затем в Академию была направлена знаменитая комиссия тов. Фигатнера, и "с помощью общественности, которую возглавлял академик В. Л. Комаров, был пересмотрен весь личный состав и проверена работа всех академических учреждений"¹. Проверка вскоре "превратилась в настоящую чистку", как с удовлетворением отмечалось большевистской печатью: "В рядах научных сотрудников Академии оказались лица, не имеющие никакой научной квалификации, но обладавшие в бывшем (?) громкими придворными и царскими чиновничьими титулами. Здесь можно встретить бывших камергеров и статс-дам, камер-юнкеров и фрейлин, полицейских и жандармов, губернаторов и шпионов (!), дьяков (?), иереев и т.п... Академия играла роль своеобразного приюта для антисоветского элемента." Больше 100 (из примерно 700) научных сотрудников было уволено, более 150 сотрудников, числившихся в Академии "по совместительству", были "освобождены" комиссией от работы.

* Печатается с сокращениями.

1. Г. Князев. "Краткий очерк истории Академии наук СССР", М.—Л., 1945, стр. 71.

Особому разгрому, наряду с другими гуманитарными учреждениями Академии, подвергся Пушкинский Дом. Обвинительный акт против него сформулирован в предисловии к 1-му тому "Литературного наследства" (М. 1931 г.) в следующих крепких выражениях: "Пушкинский Дом Академии наук под видом работы над историко-литературными материалами развил прямую контрреволюционную вредительскую деятельность. Бывшее руководство П. Д. во главе с Платоновым, являвшееся в то время верхушкой монархической организации..., проводило вредительскую тактику по отношению к ряду ценнейших архивных фондов. Были сокрыты архивы ЦК РСДРП за 1906 г., ЦК меньшевиков, ЦК кадетов, архивы Лаврова, Струве, Водовозова. Связки различных царских документов скрывались с прямыми контрреволюционными целями... В своей издательской деятельности руководство Пушкинского Дома занималось, в основном, печатанием материалов, относящихся к буржуазно-дворянской (!) линии истории литературы. Основная часть публикаций падала на *пушкинскую эпоху* (подчеркнуто мною — Л. Д.), и то работа шла больше по части крохоборческих разысканий" (и т.д. в том же роде). Академик С. Ф. Платонов и некоторые руководящие сотрудники Пушкинского Дома были вскоре арестованы и сосланы. Только скоропостижная смерть избавила его вдохновителя и фактического директора Б.Л. Модзалевского от кары (сын покойного, ныне тоже покойный Л.Б. Модзалевский — он скончался в 1949 г. на 47-м году жизни — не мог без содрогания вспоминать об этом страшном времени). В связи с результатами обследования Академии непереманный секретарь С. Ф. Ольденбург был вынужден покинуть свой пост и на его место был "выбран" историк-коммунист В. П. Волгин. Октябрьская революция докатилась до Академии.

Старый Пушкинский Дом прекратил свое существование. "На базе" его и некоторых других учреждений, в том числе и фактически находившейся в состоянии анабиоза Комиссии по изданию сочинений Пушкина, был организован Институт новой русской литературы, разделявшийся на два "сектора": заново созданный научно-исследовательский, ставший основным и главным, и "вспомогательный", которым сделалось то, что собственно было Пушкинским Домом — его великолепная, сильно

расширившаяся после революции путем конфискаций и пожертвований библиотека, его музей с бесценными сокровищами, начиная с библиотеки Пушкина, и несравненный *архив* рукописей (от Пушкина до Блока). Научно-исследовательский сектор, в свою очередь, был разделен на "секции" "по признакам социально-историческим, а не по признаку группировки вокруг того или иного крупного литературного имени" (В. П. Волгин. Реорганизация Академии наук — "Вестник Академии наук СССР", 1931, No 1, стр. 5). Это были секции "феодально-дворянской литературы", "литературы эпохи промышленного капитализма", "литературы эпохи буржуазной революции" и пр. Директором института стал академик (с 1930 г.) А. В. Луначарский, его заместителем Г. Е. Горбачев, научными сотрудниками были сделаны "литературоведы-марксисты" (Г. Лелевич, В. А. Строев-Десницкий и др.) — и работа закипела.

Впрочем, кипела она не слишком сильно, ибо тормозилась недостаточным числом штатных единиц и занятостью сотрудников в других местах ("литературоведы-марксисты" были еще наперечет), но как бы то ни было, вскоре появилось торжествующее сообщение о том, что "работа по приспособлению Института новой русской литературы к новым научно-исследовательским задачам ... в главных чертах закончилась: из замкнутого хранилища, каким был старый Пушкинский Дом, Институт становится центром исследовательских работ ... и базой для широкой политико-просветительной работы." Соответствующим образом была перестроена и экспозиция музея. "Старый биографический принцип, — говорится в той же реляции ("Вестник Академии наук СССР", 1931, No 1, стр. 53-54), — заменяется показом общего развития русской литературы с XVIII по XX вв. на основе четкого марксистского понимания литературного процесса как борьбы и смены общественных классов и более мелких группировок внутри этих классов ... Показано, как дворянская литература проходит через ряд изменений и в конце 30-х годов, под напором усилившейся буржуазной литературы, едва лишь намечавшейся в конце XVIII века, приходит к упадку. Пушкин показан на фоне всей литературы начала XIX в., но *не выделен из нее* (подчеркнуто мною — Л. Д.) и дан, как крупней-

ший поэт эпохи, а не биографически, как делалось в Пушкинском Доме”.

Пишущий эти строки имел случай, в качестве стороннего зрителя, познакомиться с этой новой экспозицией, произведшей на него неизгладимое впечатление: отдельные писатели вообще исчезли в море социологических экспонатов и цитат из классиков марксизма, и Пушкина, Лермонтова, Гоголя приходилось разыскивать по разрозненным кусочкам... Жертвой борьбы с буржуазным биографизмом стала и последняя квартира Пушкина (Мойка, 12), с трудом отвоеванная у жильцов и превращенная Пушкинским Домом в памятный музей: в декабре 1929 г. музей был свернут, и квартира использована в качестве жилого помещения.

Немудрено, что у *такого* Института русской литературы были дела поважнее, нежели издание сочинений Пушкина. Если уж надо было ему заниматься Пушкиным, то для того, чтобы заложить основы правильного осмысления дворянско-буржуазного поэта. Издание же сочинений Пушкина было предоставлено Госиздату. Последний, выпустивший к тому времени прекрасный однотомник избранных сочинений Пушкина под редакцией Б. В. Томашевского, задумал организовать, при руководящем участии П. Е. Щеголева, издание полного собрания сочинений в двух вариантах: большого, 12-томного, ”облегченного академического” типа и малого, 6-томного, без вариантов и черновых редакций, с кратким комментарием или совсем без него. Но если последнее издание более или менее благополучно осуществилось (в 1930-1932 и последующих годах) и выпускалось с различными улучшениями (а то и ухудшениями) раз за разом, то издание академического типа оказалось не под силу — а, может быть, и не по вкусу Госиздату, и дальше проектов, предварительных совещаний и ”подготовительных работ” дело не пошло. Но приближалось столетие вечно печальной даты — столетие гибели Пушкина. Любовь к Пушкину, пристальное изучение его творчества и всего, что имело к нему какое-либо отношение, словом, настоящий культ Пушкина, никогда не исчезавший в русском обществе и русском народе и значительно усилившийся после революции в связи с падением некоторых цензурных препон и

открытием многих раньше неизвестных произведений, писем и материалов, — все это должно было привести к тому, что столетний юбилей Пушкина страна готовилась отметить исключительным образом. Советское правительство, давно уже повернувшееся "лицом к классикам" и старавшееся их всемерно "освоить", не могло не считаться с этим и благоразумно решило возглавить готовившееся празднование. Во многом это, конечно, придало юбилею неизбежно казенный характер, но на осуществление академического издания имело несомненно положительное влияние.

С хронологическим моментом — приближением пушкинского юбилея, — совпал очередной зигзаг "генеральной линии": не успела завершиться торжественно возведенная перестройка Института новой русской литературы в цитадель истинно марксистского литературоведения, как застрельщики и ревнители этой перестройки были объявлены еретиками, "уклонистами" и вредителями. Оказалось, что "смена старого руководства Пушкинского Дома" ограничилась "по существу лишь переменой вывески", ибо "засевшая в нем группа б. литфронтовцев (троцкист Горбачев, Родов, Майзель и др.) ... за два года своей работы в крупнейшем в СССР хранилище архивов литературных и общественных деятелей прошлого века не подвинула марксистско-ленинскую разработку литературного наследства ни на шаг" ("Лит. наследство", 1-2, 1931, стр. 3). Горбачев и его сотрудники исчезли из института и вскоре с лица земли...

Хотя последовавшая новая "реорганизация" института проводилась, само собой разумеется, под лозунгом действительного внедрения истинного "марксизма-ленинизма" (отныне этот двуглавый термин стал обязательным) в академическое литературоведение, на самом деле, она представляла собой реакцию против уродливых форм заклеянного в качестве "вульгарного социологизма" течения. Конечно, в институт был введен ряд новых (большей частью "младших") научных сотрудников, разрабатывавших, главным образом, материалы по "революционно-демократическим" писателям, — но вместе с тем заняла должное место и работа над классиками, столь богато представленными в рукописных сокровищах бывшего Пушкинского Дома, и, в первую очередь, над грядущим юбиляром — Пушкиным.

Музей также подвергся перестройке — вновь появились залы Пушкина, Лермонтова и Гоголя, одобренные, правда, неизбежными цитатами из "основоположников марксизма-ленинизма" и социально-политическими данными. "Буржуазный биографизм" возрождался, как будто, в новом облики.

История советского академического издания Пушкина начинается с конференции пушкинистов, состоявшейся в Институте русской литературы в мае 1933 г. В конференции приняли участие 35 специалистов; на ней были представлены почти все литературоведы, имевшие то или иное отношение к изучению Пушкина, а также и лица, к нему отношения не имеющие, как, например, непреременный секретарь АН СССР В. П. Волгин и ученый секретарь ИРЛИ Ф. Ф. Канаев (вскоре исчезнувший как "уклонист"). Несколько имен, в прошлом и впоследствии украшавших пушкинские издания, мы не находим в списке участников конференции; таковы Н. В. Измайлов, В. В. Виноградов, В. Л. Комарович: в период конференции они либо отбывали ссылку, либо еще не были вполне восстановлены в правах. С другой стороны, если не считать нескольких молодых партийцев, ничем себя ни на конференции, ни после нее не проявивших, "марксистско-ленинское литературоведение" в то время было почти несуществующим в области изучения Пушкина.

Конференция приняла ряд постановлений, относящихся к структуре и организации будущего издания. Во главе издания должна была встать "общая редакция в части идеологической, равным образом, в части политической и художественной" (изящность формулировки оставляем на ответственности "Вестника Академии наук СССР", откуда заимствуем сведения о конференции — 1933, No 7, стр. 35-38).

Работа по подготовке академического издания началась далеко не сразу после конференции, хотя юбилей приближался быстро, и все яснее становилась полная невозможность закончить издание к столетней годовщине. Впрочем, эта мысль была вскоре оставлена, но вполне серьезно говорилось об осуществлении издания "ударными темпами", при максимальном применении коллективного метода работы, примерно в 4-5-летний срок —

нужно же было удивить мир и покрыть позором старую Академию, выпускавшую, в среднем, один том в пять лет.

“На верхах” решили, по-видимому, что и “новая” Академия без посторонней помощи не возьмет необходимых темпов, и признали за благо принять экстренные меры: возглавить дело издания академического Пушкина должен был Максим Горький! В конце 1933 г. появилось сообщение о том, что, “в связи с исполняющимся в 1937г. столетием со дня смерти А. С. Пушкина, Академия наук СССР приступает к выпуску академического издания произведений Пушкина. Утверждена общая редакция издания в составе А. М. Горького, акад. А. В. Луначарского, акад. В. П. Волгина и акад. А. С. Орлова”. Характерно, что о работниках, игравших фактически руководящую роль в деле подготовке издания и несших на себе всю тяжесть работы — Ю. Г. Оксмане, Б. В. Томашевском, М. А. Цявловском, Д. П. Якубовиче, С. М. Бонди — сообщение умалчивает. На деле участие Горького в издании свелось к нескольким совещаниям, да к поездкам к нему “на доклад” Ю. Г. Оксмана, вскоре оказавшегося негласным “организационным руководителем” издания и фактическим его главным редактором.

Здесь не мешает упомянуть о своеобразной традиции пушкинизма, завещанной дореволюционным пушкиноведением советскому. Традиция эта — взаимная вражда, начало которой положили еще первые “пушкинисты” — П. И. Бартенев и П. В. Анненков, люто ненавидевшие друг друга. П. А. Ефремов враждовал с П. О. Морозовым, П. О. Морозов — с В. Е. Якушкиным, П. Е. Щеголев — со всеми “писателями по пушкинским вопросам”. Порою кажется, что слова Баратынского “людей недружная судьба” относятся именно к пушкинистам...

Фактически работа над изданием началась в 1934 г. Первым вопросом, который должен был быть разрешен редакцией, был вопрос о плане издания, о размещении в нем произведений Пушкина. В этом отношении редакция резко разошлась с хаотически-хронологическим порядком старого академического издания и остановилась на размещении произведений по большим жанровым группам, внутри которых отдельные вещи располагались в хронологической последовательности. В противоположность госиздатским 6-томникам,

редакция академического Пушкина отказалась от деления прозы Пушкина на "напечатанную и подготовленную к печати", с одной стороны, и на "неизданную и черновую", с другой: после многих попыток сохранить это, в сущности, искусственное деление, советские редакторы вернулись к практике дореволюционных редакторов, печатавших и прозу, и стихи Пушкина в хронологическом порядке, независимо от степени завершенности тех или иных произведений. Из общего хронологического порядка (внутри жанровых групп) были выделены лишь наброски произведений, замысел которых еще совершенно не определился; такие наброски печатались в особых разделах томов.

В конце концов был принят следующий план издания, впоследствии осуществленный с некоторыми, в нескольких случаях довольно значительными, отклонениями:

тт. I-III. Стихотворения. Сказки

тт. IV-V. Поэмы от "Руслана и Людмилы" до "Медного Всадника"

т. VI. "Евгений Онегин"

т. VII. Драматические произведения

т. VIII. Художественная проза

т. IX. "История Пугачева"

тт. X-XII. Историческая, критическая и публицистическая проза

т. XIII. Автобиографическая проза, заметки и выписки из книг и пр.

тт. XIV-XVII. Переписка

т. XVIII. Указатели

В особый, дополнительный, том должны были войти все рисунки поэта

Работа над новым академическим изданием строилась с самого начала как широко коллективная. В этом отношении оно следовало, до известной степени, и методу, к которому по необходимости пришлось дореволюционное академическое издание, и традиции, установленной — тоже поневоле — другими советскими изданиями классиков. Но и помимо этого — сложные особенности академического издания — в частности, объем работы по "исследовательскому" прочтению и препарированию черновых вариантов и по комментированию — неминуемо

приводили к сугубой "коллективизации" работы. В том же направлении действовали и сжатые сроки подготовки издания, все время висевшие дамокловым мечом над редакцией: много времени было упущено, и, хотя "партия и правительство" спохватились слишком поздно, это не мешало им предъявлять совершенно невыполнимые требования в смысле сроков. По всем этим причинам редакция с самого начала приняла метод "раздачи в работу" отдельных произведений Пушкина отдельным исследователям, причем эти произведения, *с главным упором на комментирование*, поручались, по возможности, лицам, уже работавшим над ними в прошлом. Так, "Каменный гость" был поручен Б. В. Томашевскому, "Русалка" — С. М. Бонди, "Пир во время чумы" — Н. В. Яковлеву и т.д.

Хотя Президиум Академии наук принял постановление приступить к изданию полного собрания сочинений Пушкина еще в 1933 г., фактически работа над изданием началась не ранее 1934 г. Очень много времени поглотил "организационный период", и вначале на издание не было обращено должного внимания. Лишь в половине 1935 г. академическое издание было признано "первоочередной и основной задачей Института русской литературы, которой должны быть подчинены все остальные работы и задания". От требования закончить все издание к столетней годовщине, правда, хватило благоразумия вскоре отказаться, но все же вполне серьезно говорилось о выпуске 6-ти томов в течение 1934-1935 гг. "Каста пушкинистов" (как презрительно именовались ближайшие сотрудники издания в партийной и околопартийной печати) давно уже настаивала на необходимости широко развернуть работу по академическому изданию, но издательство Академии наук неохотно шло навстречу редакции и, отговариваясь недостатком средств, затягивало заключение договоров с комментаторами и текстологами.

Отражалось на издании и общеполитическое положение страны. Подготовительные работы начались в сравнительно спокойной обстановке 1933-1934 гг. — по сравнению с тем, что за ними последовало, эти годы представляются чуть ли не идиллическими, — но 1 декабря 1934 г. раздался выстрел в Смольном, положивший начало одному из самых страшных периодов в истории СССР и Ленинграда, в частности. Достаточно

сказать, что Л. Б. Каменев занимал в то время должность директора Института литературы Академии наук. Он был снят с работы и вскоре арестован. Развернулась чистка Ленинграда от "остатков бывших привилегированных классов", коснувшаяся многих сотрудников Академии наук, но странным образом пощадившая кадры пушкинистов. Необходимо, однако, учесть психологическое состояние интеллигенции в те месяцы, когда никто не мог быть уверен в завтрашнем дне, и никто не знал, когда настанет его черед... Все эти обстоятельства тормозили осуществление издания и их надобно принимать во внимание, оценивая медленность его подготовки.

Закончив первый тур расправы с "врагами народа", партия и правительство вспомнили о Пушкине. А когда вспомнили — поднялась обычная суeta. Но положение от этого не улучшилось: помощь "советской общественности" выражалась, главным образом, в бесконечных понуканиях, напоминаниях и требованиях отчета о ходе работ.

Из "намеченных к выпуску в 1934-1935 гг. шести томов" находились в наборе в 1935 г. только два тома: первый (Лицейские стихотворения. Редакторы тома — М. А. Цявловский и Т. Г. Зенгер) и седьмой (Драматические произведения. Общий редактор — Д. П. Якубович), но и они были далеки от завершения — комментарии не были вполне закончены, и целый ряд вопросов подачи материала и технического оформления решался, так сказать, "на ходу", что вызывало дополнительную корректуру, перегруппировки текста и вариантов и, зачастую, переверстку уже сверстанных листов.

Между прочим, принятый редакцией нового академического издания, по примеру старого, принцип сдачи томов в производство и, следовательно, выхода их в свет не в порядке их нумерации, а по мере подготовки, в зависимости от большей или меньшей сложности материала и от других обстоятельств, вызвал серьезные нарекания со стороны читающей публики, а также грозное неудовольствие начальства. Впоследствии редакциям классиков было категорически предложено положить конец такой практике и выпускать тома в строгой последовательности.

Наконец, после бесчисленных корректур и переделок, после ряда изменений внешнего вида издания, после технических

перекроек буквально в последнюю минуту, вышли, в самом конце 1935 г., первые экземпляры многострадального седьмого тома. Вместо шести томов, ожидавшихся в 1935 г., вышел один... Том лицейских стихотворений, сверстаный в части текста и вариантов, безнадежно отстал: комментарии, частично набранные, не были вполне закончены даже в рукописи, и никакой надежды на выход тома в начале 1936 г. не было.

Не считая кратких отзывов, о седьмом томе появилась только одна более или менее серьезная рецензия, принадлежавшая перу одного из сотрудников издания, Д. Д. Благого. Недостаток печатных отзывов восполнялся обсуждением тома в различных организациях, а также закулисными действиями... Так, в половине 1936 г. в Ленинграде состоялось совместное заседание Пушкинской комиссии Академии наук с Союзом советских писателей. Все выступавшие отмечали "громадное значение академического издания" и "ценность затраченной на него работы". Вновь назначенный ученый секретарь Института литературы коммунист-литературовед Н. Г. Свирин (погибший впоследствии в период ежовщины) предложил "вынести обсуждение томов академического издания в широкую рабочую аудиторию", и предложение это, разумеется, "встретило общее одобрение всех присутствовавших". Как правило, преобладали (на этих устных обсуждениях) хвалебные ноты — "общественность" не подозревала о собирающейся над изданием грозе и еще соответствующих директив не получила.

Сразу по выходе первых экземпляров седьмого тома из типографии, Ю. Г. Оксман повез пробные экземпляры тома в Москву, на благовозрение высшего начальства. Отправляясь в Москву, Оксман, несмотря на раздававшиеся со всех сторон нарекания бдительной "общественности" на весьма, действительно, медленные и мучительные "темпы" издания, был преисполнен радужных надежд: за работу, надо отдать справедливость, краснеть не приходилось. Предполагалось, что том несомненно будет полностью одобрен, а издание в целом заслужит "высочайшую" похвалу и с нею различные преимущества. Но на деле вышло совсем иначе.

Аудиенции у Сталина, на что, вероятно, рассчитывал Оксман, ему получить не удалось; том был отвезен в Кремль Межлауком,

занимавшим в то время, если не ошибаюсь, должность заместителя председателя Совнаркома. Спустя некоторое (и не очень малое) время последовала "высочайшая" резолюция. Том был вконец раскритикован, и издание забраковано. Прежде всего, совершенно не понравилось и даже вызвало возмущение его "внешнее оформление": что это за формат, что за переплет, что за бумага!

Но особое возмущение вызвали комментарии, занявшие половину тома. Здесь, надо полагать, сыграли свою роль закулисные ходы "марксистско-ленинской" части Института литературы, с партийной верхушкой которого Оксман ввязался в сложную борьбу, очень для него печально окончившуюся. Вероятно, московскому начальству было указано на немарксистский и, следовательно, антимарксистский характер комментариев. Как бы то ни было, объем комментария был признан совершенно недопустимым. "Кого мы, в конце концов, издаем, — был задан негодующий вопрос, — Пушкина или пушкинистов?" И предписано было: в следующих томах комментарии значительно сократить — или издавать их уменьшенным тиражом в виде отдельных томов.

На этом этапе окончательного решения об издании в том варианте, в который оно вылилось в седьмом, "пробном" (как стали его называть) томе, вынесено не было — но постановлено было впредь выпускать издание *в двух вариантах*: 1) полным, комментированном, и 2) сокращенном — то ли совсем без комментария, замененного краткими текстологическими справками, то ли с весьма урезанными до "необходимого" минимума примечаниями текстологического, историко-литературного и реального содержания. Последний, "сокращенный" вариант и должен был стать юбилейным академическим изданием: его формат предписано было увеличить до надлежащей пышности, бумагу взять плотную, наивысшего качества (такая бумага изготовлялась в то время одной на весь СССР фабрикой), переплет улучшить и сделать более "роскошным" и проч.

Участь комментариев академического Пушкина представлялась, после чреватых многими последствиями поездок Ю. Г. Оксмана в Москву, не вполне ясной — то ли их надо будет сильно сократить, то ли не очень сильно, то ли издание будет выходить

и с комментариями, то ли последние будут выпускаться отдельно, и таким образом два варианта издания сведутся к одному.

Злополучный 7-й том сыграл роковую роль для других комментированных изданий классиков в Советском Союзе и решил их судьбу "всерьез и надолго". Были урезаны и фактически "зарезаны" многие прекрасные издания. Пострадало и издание сочинений Гоголя, предпринятое Академией наук почти одновременно с пушкинским изданием (к слову сказать, единственное *полное* собрание сочинений Гоголя, изданное в советскую эпоху и до сих пор не вполне законченное): в нем комментарии были сокращены, потеряв свой академический характер.

Примерно с середины 1936 г. Советский Союз вступил в очередную кровавую пору, которую народ прозвал ежовщиной. Начались массовые аресты и расправы с "врагами народа" по "суду" и без суда, продолжавшиеся почти без передышки до 1939 г. включительно — и позже. Не пощадили они и Академии наук. В мае 1936 г. был арестован ряд сотрудников академических институтов. Особенно пострадали Институт истории науки и техники и Институт антропологии и этнографии. Первый был "переведен" в Москву и впоследствии, после ликвидации Н. И. Бухарина (его директора), закрыт, все сотрудники были уволены, почти вся партийная верхушка посажена за решетку и исчезла с лица земли. В августе того же года по приговору военной коллегии Верховного суда СССР были расстреляны бывший директор Института литературы Каменев, а также Зиновьев, Евдокимов и тринадцать их "сообщников". В "Вестнике Академии наук СССР", органе партийного руководства Академии, появлялись передовицы, одна кровожаднее другой, призывавшие к "усилению революционной бдительности" и к беспощадной расправе с "отъявленными врагами и предателями нашей родины". В этих передовицах рассказывалось о том, как Каменев организовывал террористическую группу в Академии наук, и перечислялись фамилии научных сотрудников Академии, завербованных в террористическую организацию. Сообщалось, что "врагам народа удалось расставить своих преступных сообщников на ряде важнейших участков работы Академии", что из "среды этих сообщников — японо-немецких шпионов и диверсантов — главари контрреволюционной банды пытались

организовывать диверсионные группы для борьбы с советской властью", и повествовалось, как в "Трудах" Института истории науки и техники обнаглевший лютый враг Бухарин и его выкормыши упражнялись в рафинированной фальсификации материала в сочетании с наглой и развязной пропагандой фашистских "теориек" — и т.д. и т.п., в том же и еще более крепком стиле.

В такой атмосфере готовилась страна к сотой годовщине гибели Пушкина, и под аккомпанимент таких воплей работала редакция над очередными томами академического издания. Каждый задавал себе вопрос: не является ли он одним из "преступных сообщников" на одном из "важнейших участков работы Академии" и не наступит ли завтра его очередь сознаваться в адских замыслах? И пришел день, когда подобная перспектива приобрела весьма реальные очертания для всех ближайших сотрудников редакции: накануне Октябрьской годовщины 1936 г. был арестован Ю. Г. Оксман. Арест явился полной неожиданностью для Оксмана — настолько, что, считая визит агентов ГПУ "простым недоразумением", он взял с собой в тюрьму очередные корректуры издания: он был совершенно уверен, что недоразумение вскоре разъяснится и он не сегодня-завтра вернется домой вместе с корректурами. Но, по крылатому слову, "ГПУ никогда не ошибается" — и Юлиан Григорьевич исчез надолго. Его кабинет, в котором осталось много корректур и других материалов академического издания, был опечатан, так что издание накануне юбилея очутилось в положении "всадника без головы" и было парализовано. Из членов "главной редакции" в Ленинграде проживал один лишь Б. В. Томашевский, к которому и перешло временное руководство изданием.

До юбилея оставалось ровно три месяца. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, в отдаленном прошлом — собиратель материалов по русскому сектантству и старообрядчеству, перед революцией — руководитель (а может быть, и владелец) большевистского издательства "Жизнь и Знание", после революции — управляющий делами Совнаркома при Ленине (до 1920 г.), в сталинскую эпоху переключился — или был переключен — на литературоведение и основал Литературный музей в Москве. Надо отдать ему справедливость: наделенный кипучей энергией

и несомненными организаторскими способностями, а также большим умением раздобывать необходимые и немалые денежные средства, он сумел в сравнительно короткое время создать замечательное собрание рукописей, книг и иконографических материалов. С такой же энергией и готовностью безоговорочно выполнять самые абсурдные директивы "партии и правительства" принялся он и за академическое издание Пушкина.

В конце ноября Бонч-Бруевич приехал в Ленинград для получения редакционного портфеля. Им было объявлено окончательное решение высших органов: комментированное издание ликвидируется "целиком и полностью"; вместо него выпускается тем же тиражом "роскошное" юбилейное издание "без какого бы то ни было комментария редакторов", заменяемого краткими текстологическими справками.

Ввиду перевода редакции в Москву были уволены ближайшие сотрудники Ю. Г. Оксмана — С. Я. Гессен (талантливейший "декабристовед" и пушкинист, трагически погибший под колесами автобуса в январе 1937 г.) и пишущий эти строки (они выполняли функции секретарей редакции) — и Бонч укатил в Москву, где в ближайшие дни состоялось первое заседание редакционного комитета в новом составе.

В комитет этот вошли следующие лица: П. И. Лебедев-Полянский (впоследствии "академик", один из столпов партийного литературоведения, назначенный председателем комитета), В. Д. Бонч-Бруевич (заместитель председателя и заведующий редакцией), Н. П. Горбунов (новый неприменный секретарь Академии, заменивший впавшего в немилость и едва не угодившего в места не столь отдаленные В. П. Волгина), А. И. Деборин (чудом уцелевший приятель Н. И. Бухарина, его заместитель по Институту истории науки и техники), Н. Е. Свирин (незадолго до того назначенный ученым секретарем Института литературы и вскоре затем погибший в разгар ежовщины), П. И. Чагин (заведующий издательством Академии наук). Из пушкинистов в него были включены Д. Д. Благой, С. М. Бонди, Г. О. Винокур, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский и Д. П. Якубович. Кроме того, в черной рамке на всех томах издания, вплоть до последних, вышедших к 150-летию со дня рождения Пушкина, неизмен-

но фигурировало имя М. Горького, умершего в июне 1936 г., задолго до выхода в свет первого тома нового юбилейного издания и не имевшего к нему никакого отношения.

Настоящим "администратором" издания и правительственным толкачом все время оставался Бонч-Бруевич. Он был действительно хорошим организатором и, пользуясь содействием во всем шедшего ему навстречу (до поры до времени) издательства, в короткий срок "роздал в работу" почти все, бывшие еще "беспризорными" или ставшие таковыми после ареста Оксмана, произведения Пушкина. Ввиду загруженности пушкинистов (в узком смысле слова) работой — в предюбилейные дни готовился ряд изданий сочинений Пушкина и сборников статей, так что бедные пушкиноведы буквально разрывались на части — Бонч не останавливался перед привлечением литературоведов, к "касте пушкинистов" не принадлежавших, и в большинстве случаев его выбор был вполне удачен. Так, "История Пугачева" была поручена специалисту по древней русской литературе В. Л. Комаровичу, успешно справившемуся с подачей сложного и наполовину неизданного материала (кстати сказать, Комарович был отнюдь не "своим человеком": его лишь недавно восстановили в правах после тюремного заключения и ссылки; в 1942 г. он умер от голода в осажденном Ленинграде, не дождавшись эвакуации). К редактированию сложного в текстологическом отношении одиннадцатого тома (критическая и публицистическая проза) был привлечен Б. М. Эйхенбаум, обладавший большим опытом по изданию классиков, но Пушкина до того не издававший, так же как и его соредактор по тому В. В. Гиппиус (в 1942 г. В. В. Гиппиус погиб в Ленинграде). В собственно редакционную работу Бонч-Бруевич почти не вмешивался, предоставив ее специалистам. Главная же его роль состояла во всемерном понукании редакторов и в требованиях безоговорочного выполнения сроков, как бы нелепы последние не были.

На первом же заседании нового редакционного комитета надо было прежде всего установить, какие тома могут быть, при максимальном напряжении сил, выпущены к юбилею. В наборе находились только три тома: первый (с апреля 1935 г.), четвертый и четырнадцатый (переименованный, по новому распределению произведений, в тринадцатый). Из них выход первого и че-

твертого томов, ввиду ликвидации комментариев, представлялся вполне возможным, выход же тринадцатого тома — весьма сомнительным. На очереди стоял том шестой — “Евгений Онегин”, но он был еще далеко не готов, так как время и внимание его редактора было отвлечено переизданием однотомника Пушкина. Остальные тома никак не могли принять участия в приказанной скачке с препятствиями.

Оставался единственно возможный выход из положения: для того, чтобы к 10 февраля 1937 г. показать на лихорадочно готовившейся Всесоюзной Пушкинской выставке первые экземпляры пяти томов великолепного юбилейного издания Пушкина, необходимо было, во-первых, во что бы то ни стало “убедить” Б. В. Томашевского сделать почти немыслимое усилие и выпустить шестой том в два месяца, и, во-вторых, включить в сакраментальное число уже готовый седьмой том, с заменой трехсот пятидесяти страниц комментария несколькими страницами текстологических примечаний.

Много труднее было выпустить шестой том, но в конце концов Бонч-Бруевичу, для которого выход к юбилею давно обещанного и все откладывавшегося академического “Онегина” стал вопросом чести, удалось уговорить Томашевского — и тот взял на себя соответствующее обязательство.

После моего увольнения не прошло и двух недель, как прибыло длиннейшее письмо от В. Д. Бонч-Бруевича. Содержание его сводилось к следующему: ввиду того, что издание печатается в Ленинграде, где, помимо того, проживает ряд руководящих сотрудников, он, Бонч-Бруевич, пришел к заключению о необходимости иметь представителя редакции в Ленинграде и предлагает мне занять это место.

Далее говорилось, что он не сомневается в моем согласии и потому сообщает сведения о положении издания и о ближайших срочных мерах — на шести страницах. Письмо заканчивалось характерным абзацем: “рабочее место” ленинградского уполномоченного редакции будет в Пушкинском Доме Академии наук, администрации коего послано соответствующее распоряжение. Непременным условием работы ставится: все материалы по изданию (рукописи, корректуру, переписку и пр.) держать в Академии, ни под каким видом не унося ничего к себе на дом.

Смысл этого предписания вполне понятен: Бонч-Бруевич считал весьма вероятным, что его "уполномоченного" тоже не сегодня-завтра арестуют, и тогда редакция в столь горячее время вновь попадет в тяжелое положение, придется хлопотать о снятии печатей с квартиры, добывать оттуда рукописи и корректуры и т.д. Пошел же Бонч на приглашение Домгерра просто потому, что другого подходящего кандидата у него не было. Разумеется, при создавшихся условиях нечего было и думать об отказе, да я о нем и не помышлял, хотя отдавал себе отчет в предстоящих трудностях и неприятностях. Ведь силою вещей я должен был играть роль посредника между тремя зачастую враждовавшими стихиями: Бонч-Бруевичем, редакторами-текстологами и издательством, — того, кто так хорошо называется по-американски "модератором". Не раз и не два приходилось переживать трудные, иногда жуткие минуты. Но, несмотря ни на что, я не могу не признать время моей многолетней работы в Академии наук и, в частности, в редакциях пушкинского и других академических изданий, лучшим временем моей небогатой радостями жизни в Советской России.

Основное внимание в предъюбилейные месяцы было обращено на шестой том, ибо три других уже давно находились в производстве, были почти полностью сверстаны в части основного текста и "других редакций и вариантов", т.е. в части, подлежащей печатанию после отсечения комментариев, и, казалось, могут быть готовы к юбилейной дате усилиями одних только редакторов. На самом деле, это оказалось далеко не так, и они тоже потребовали немалой работы со стороны всего редакционно-го и издательского аппарата. Вскоре выяснилось, что тринадцатый том никоим образом не будет готов к юбилею: его редактор Д. Д. Благой — в данном случае нельзя не воздать должное его гражданскому мужеству — продолжал, невзирая ни на какие громы и молнии, невозмутимо сверять корректуры с подлинниками и открывал все новые и новые ошибки в тексте предшественников. В конце концов Благому была дарована индульгенция, и его том тихо исчез из списка выпускаемых к юбилею. Так пять томов превратились в четыре, из которых только три были действительно новыми.

В последние предъюбилейные дни все, причастные к изданию,

почти не знали сна, но "задание" было выполнено. Четыре тома нарядного академического Пушкина украсили собою Пушкинские выставки в Москве и Ленинграде, опоздав, правда, на несколько дней к их открытию.

Миновали юбилейные дни, отзвучали речи, на все лады повторявшие данные "Правдой" определения: Пушкин — "создатель русского литературного языка", "родоначальник новой русской литературы" и пр., кончились торжества — и для академического издания Пушкина наступили трудовые будни. Вышедшие тома издания заслужили высокую оценку академического и прочего начальства, Вл. Бонч-Бруевич и весь редакторский коллектив получили благодарности, техническому персоналу были даже выданы скромные денежные премии.

Но если редакция, подгоняемая Бонч-Бруевичем, не ослабляла "темпов", то в издательстве появились совершенно другие настроения. Как известно, в Советской России всеобъемлющее значение имеют кампании — посевные, уборочные, по выполнению плана и т.д. до бесконечности, — словом, "штурмовщина" всякого рода. По окончании соответствующей кампании о ней быстро забывают — и начинают следующую. То же произошло и с Пушкиным — юбилейная кампания кончилась, и издательство переключилось на другие "ударные задания". Приближалось 20-летие советской власти, и все издательские ресурсы Академии наук были брошены на выпуск юбилейной литературы.

Тем не менее, редакционная работа шла полным ходом. Задание выпустить все издание в два года изменено не было. Заседания редакционного комитета происходили регулярно, не реже одного раза в месяц в Москве, не считая менее формальных совещаний в Москве и Ленинграде. На этих заседаниях нередко происходили бурные сцены: редакторы яростно доказывали физическую невозможность выполнить ту или иную работу в сроки, выдвигаемые, с неизменными ссылками на предписания высших органов, Бонч-Бруевичем (он особенно любил ссылаться во всех случаях на Совнарком).

Однажды, помнится, М. А. Цявловский, щепетильный ученый и честнейший человек, возмущенный очередным нажимом Бонч-Бруевича, заявил громогласно: "Да что вы мне твердите — Совнарком да Совнарком! Если Совнарком прикажет мне по-

ложить в карман этот стул (а стул был монументальный, доставшийся Академии наук, кажется, в наследство от московского присутствия Сената), я все равно никак не смогу такое распоряжение выполнить”, — за что был немедленно призван к порядку, ибо советское правительство нелепых и невыполнимых распоряжений не отдает. Не раз сотрудники издания, выведенные из терпения невозможными сроками, просили освободить их от обязанностей, на что Бонч-Бруевич невозмутимо отвечал: “Вздор, во время переправы лошадей не перепрягают”. В свете создавшегося в издательстве положения подобная спешка представлялась еще более бессмысленной (подготовленные тома все равно лежали в издательском портфеле и в набор не сдавались).

Несмотря на все усилия, в два года, конечно, издание подготовлено не было, но в 1937 и 1938 годах издательством был сдан ряд томов. Тем временем “эра продолжалась прежняя” — страна переживала разгар ежовщины. В юбилейных пушкинских номерах журналов на первом месте печатались сообщения о процессах “врагов народа” и о десятках смертных приговоров с соответствующими комментариями, а затем уж шли посвященные Пушкину статьи.

“Вестник Академии наук” под заголовком “Если враг не сдается, его уничтожают”, писал, например: “Приговором военной коллегии Верховного суда СССР уничтожены злейшие враги советского народа — ”правотроцкистский блок”. ...Разоблаченные шпионы и предатели Бухарин, Рыков, Крестинский, Розенгольц, Ягода и другие презренные торговцы родиной ... с развязностью профессиональных убийц вынуждены были признать на суде свои кошмарные преступления. ...Подлые фашистские наемники хотели пройти огнем и мечом по советской земле, оставляя за собой пепелища городов и деревень, уничтоженные посевы, разрушенные фабрики и заводы. Они намечали в своих злодейских планах отторжение Украины, Белоруссии, Приморья, Грузии, Азербайджана и Среднеазиатских республик в пользу империалистических государств. Тщетно! Советская разведка под руководством сталинского наркома, верного и преданнейшего сына советского народа Николая Ивановича Ежова нанесла жестокое поражение фашистским наймитам и их хозяевам”.

Свое вступительное слово на заседании отделения общественных наук Академии, посвященном 20-летию Октябрьской революции, акад. Г. М. Кржижановский закончил так: "Великое счастье выпало на нашу долю — жить и работать под знаменем научного социализма в сталинскую эпоху! Вопреки всем трудностям, советская Академия с честью выполнит тот долг, который на нее возложен страной. Вся наша общественность переживает особо ответственную полосу жизни. Везде кипит напряженная работа для того, чтобы окончательно выкорчевать в нашей среде жалкие остатки презренной троцкистско-бухаринской шайки изменников и сомкнуть ряды всех честных тружеников в том небывалом моральном и политическом единстве, о котором с такой четкостью говорил тов. Молотов". Аресты шли непрерывно, и, возвращаясь ночью с редакционных совещаний, их участники нередко замечали черный автомобиль ГПУ у какого-нибудь подъезда. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, уславливаясь встретиться на другой день для продолжения работы, сотрудники издания часто говорили друг другу: "Да, Н.Н., но не забывайте: между *сегодня* и *завтра* пройдет еще *ночь!*".

От расправы едва не пострадал заведующий издательством Академии наук, старый партиец П. И. Чагин. Ему с трудом удалось оправдаться от обвинений во вредительстве, но из редакционного комитета его "вывели" и перевели в другое издательство. Директором издательства Академии был назначен бывший заведующий какой-то кинофабрикой, которую он сумел "развалить". Новому директору показалась весьма подозрительной возня с вариантами, наполнявшими нередко добрую половину пушкинских томов. Он начал усиленно допытываться, что это такое. Когда ему разъяснили, он резюмировал: "Ну да, это то, что Пушкин отбросил, забраковал. Вы печатаете пушкинский брак!" Подобное отношение явно не благоприятствовало изданию и, действительно, в 1939 г. из печати не вышло ни одного тома академического Пушкина. Назревал серьезный конфликт между редакцией и издательством, но кинодиректора скоро убрали.

Только в 1940 г. издательские перспективы несколько улучшились, и из печати вышли полными тиражами вторые пол тома

восьмого и девятого томов. Но эти тиражи были уменьшены до 27 тысяч экземпляров. Весьма знаменательно, каким путем издательство пришло к уменьшению тиражей. Принимая во внимание произведенную между 1936 и 1940 гг. "переборку" населения, коснувшуюся преимущественно интеллигенции, издательство решило разослать всем подписчикам письма с просьбой подтвердить подписку (разумеется, о приведенной мотивировке письма умалчивали), причем неполучение такого подтверждения считалось отказом от подписки. И вот, приблизительно от пяти тысяч подписчиков ответов не поступило. Так как в числе подписчиков было много учреждений (библиотек, учебных заведений и проч.), подтвердивших, как правило, подписку, то процент оказавшихся в нетях подписчиков нельзя не признать высоким. Не беремся судить, в каком соотношении он находится с числом пострадавших от чисток, но, во всяком случае, эти данные могут пригодиться будущему историку ежовщины.

В 1940 г. все издание было в редакционном отношении закончено. Таким образом, если принять во внимание, что интенсивная работа по академическому Пушкину началась в 1936 г. (до того, в 1934-35 гг., работа сосредотачивалась, в сущности, лишь над двумя томами), то можно сказать, что "основная масса" издания была подготовлена редакторами в пять лет с необходимой оговоркой о "доработке" в корректурной стадии — результат, несомненно, внушительный. Разумеется, нельзя забывать, что "по не зависящим от редакции обстоятельствам" издание лишилось комментариев и что это значительно упростило задачу. Но и без комментария работа по подготовке издания, вследствие поставленной редакцией цели расшифровки и доведения до читателя всех автографов Пушкина, была исключительно большой и сложной, и потому ее выполнение в указанный срок нельзя не признать крупнейшей заслугой редакторского коллектива.

Но совсем иначе обстояло дело с печатанием издания. Готовые тома годами лежали без движения и шли в набор весьма туго, как ни настаивала редакция на скорейшем выпуске издания. Все упиралось в обычные в советских условиях "объективные причины" всеобщего недостатка во всем.

Последние листы четырнадцатого тома были подписаны к

печати 20 июня 1941 г. Заканчивалось печатание уже под немецкими бомбами, но тираж удалось отпечатать полностью. Однако, в свет том не вышел, так как переплетных материалов не было. Сброшюрованный том остался лежать на складе до окончания войны.

Первые месяцы войны работа шла по инерции. Набор второго тома продолжался, поступали и правились корректуры. Но связь с Москвой, отбивавшей налеты немецкой авиации, вскоре прервалась. С началом осады Ленинграда все замерло. Издательская деятельность Академии наук была сведена к минимуму, почти все сотрудники уволены, а оставшиеся несли дежурства на крыше во время почти непрерывных налетов, участвовали в окопных работах и т.п. Академическое издание Пушкина, вместе с другими академическими изданиями — Гоголя, Лермонтова, Гл. Успенского, — было "законсервировано". Набор второго тома был приостановлен и рассыпан. Все материалы по изданию — рукописи, корректурные гранки и сверстанные листы — предложено было сдать в архив Академии для хранения в бетонированных подвалах. Пишущий эти строки был отставлен от издания — на сей раз окончательно. Вскоре наступили ужасы голода и медленного умирания осажденного Ленинграда.

Только в 1949 г. издание было доведено до конца — не совсем благополучного, но все же до конца: вышли вторые полутома второго и третьего томов и многострадальный одиннадцатый, превратившийся в два тома — одиннадцатый и двенадцатый, за счет исчезнувшего неизвестно куда первоначального двенадцатого тома. В двенадцатый том должны были войти, во-первых, автобиографическая проза Пушкина и, во-вторых, отдел всевозможных записей "нетворческого" порядка, обычно не включаемых в собрания сочинений поэта, вплоть до переписанных его рукой чужих произведений, отчеркиваний в книгах, различных документов и т.п. И вот, весь материал тома, кроме автобиографических заметок и дневников, оказался устранным из издания. Этим ему был нанесен серьезный ущерб. Не говоря уже о том, что таким образом не было соблюдено данное в предисловии к первому тому обещание ввести в издание ре-

шительно *все*, написанное рукою Пушкина, — из издания выпал ряд весьма важных материалов. Достаточно назвать собранные и частично собственноручно записанные Пушкиным народные сказки и песни, его переводы на французский язык русских песен для Леве-Веймара, его записи в альбомы, составлявшиеся им по разным поводам списки собственных произведений, и т.д. и т.п. Часть подобных материалов, чрезвычайно ценных для изучения биографии и творчества поэта, входила в некоторые издания сочинений Пушкина, далеко по охвату уступавшие академическому, часть была подобрана в сборнике "Рукою Пушкина", часть должна была впервые быть опубликована. Даже при исключении из издания, по разным мотивам, всевозможных "нетворческих" записей, целый ряд перечисленных материалов необходимо было ввести в состав издания. Отсутствие их следует объяснить только "штурмовщиной", царившей, можно в том не сомневаться, при выпуске последних томов, которые должны были выйти к юбилею 1949 г. О спешке свидетельствует и изрядное количество опечаток, бросающееся в глаза при просмотре этих томов. Не вышли и обещанные указатели ко всему изданию (произведений Пушкина и сводный указатель имен), а также том рисунков поэта.

Но, как бы то ни было, первое за 112 лет, протекших со дня смерти Пушкина, действительно академическое полное собрание его сочинений было "со славой, хоть с уроном", закончено. Впервые были прочитаны и наглядным, ясным способом доведены до читателя все его рукописи, впервые тщательнейшим образом выверенный текст его произведений был сопровожден всеми ранними редакциями и вариантами, вплоть до самых незначительных, впервые были приведены и все разночтения прижизненных изданий. В академическом издании читатель и исследователь получили прочную и солидную базу для работы, и впредь ни одно серьезное исследование творчества и биографии Пушкина немыслимо без обращения к сокровищнице академического издания. Разумеется, в нем много недостатков и основным из них является отсутствие комментария, сильно снижающее ценность издания в глазах многих читателей. Много в нем и других изъянов, недоделок, несогласованностей. Они в значительной степени объясняются отмеченными обстоятельством

ми его сложной истории и среди них — нездоровой спешкой, сопутствовавшей ему на протяжении всех лет. Наконец, многие недочеты издания являются следствием "коллективности" работы, разностью подхода к ней со стороны отдельных редакторов и невозможностью для "общих редакторов" (и для осуществлявшего "редакционное наблюдение" автора настоящего обзора) сгладить индивидуальные различия. Это — неизбежный недостаток "коллективных" начинаний, но не следует упускать из виду, что без таких коллективных усилий никогда бы не удалось осуществить издание. Одно представляется несомненным: достоинства издания далеко перевешивают его недостатки, и достоинствами этими оно обязано "старой гвардии" пушкиноведения, вынесшей на своих плечах академического Пушкина.

Многие из этой гвардии не дожили до завершения академического издания. С каждым томом все больше и больше черных рамок появлялось вокруг фамилий редакторов. К концу издания покойные члены редакционного комитета сравнились численно с оставшимися в живых. За безвременно скончавшимся в 1940 г. Д. П. Якубовичем последовали Г. О. Винокур и М. А. Цявловский, а также П. И. Лебедев-Полянский. От голода в осажденном Ленинграде умерли В. В. Гиппиус, В. Л. Комарович, Б. И. Коплан, после окончания войны — Л. Б. Модзалевский, П. И. Заозерский; не дожил до конца войны тяжело больной Ю. Н. Тынянов. Боюсь, что этот печальный список далеко не полон.

Л. Л. Домгерр



Редакция "Нового Журнала"
с глубоким прискорбием извещает
о кончине большого друга
журнала
Веры Евсеевны Домгерр

НАЕДИНЕ С ПЕРЕЖИТЫМ

Шел второй год войны. Москва была затемнена. Фронт приближался к столице. Днем я работала (в здании Дома Союзов на Пушкинской улице), а через день там же оставалась на ночное дежурство. Редкое дежурство проходило без бомбежки.

И вот, когда на вторую ночь я, голодная, одинокая, кое-как добиралась до дома, сил уже не было, чтобы заняться домашними делами, я валилась на постель, чтобы хоть немного отдохнуть перед новым трудовым днем.

В один из таких вечеров или, вернее, ночей раздался звонок в передней. Я еще не успела лечь и быстро открыла. Это были "они", несколько молодых людей, приехавших, чтобы взять меня. Они предъявили мне ордер на арест. Собственно, я ни в чем не обвинялась. Меня отправляли в ссылку на пять лет в Красноярский край как члена семьи (мать) "изменника родины такого-то". И, кажется, там еще стояло "враг народа".

Это он-то! Совсем еще мальчик, безусый, жизнерадостный, веселый и удивительно ко всем приветливый и доброжелательный. Прошло около четырех месяцев как его взяли. Когда я спросила у следователя, в чем его обвиняют, он сухо ответил: "Этого Вам знать не полагается". Вот так: матери этого знать не надо. И вот потянулась вереница печальных и тяжелых дней, таких печальных и тяжелых, каких ни до, ни после у меня в жизни не было.

— А где это Красноярский край? — спросила я. — Это ближе или дальше Байкала?

* Рукопись получена из СССР. Печатается без ведома и разрешения автора.

— Дальше, дальше, — скороговоркой ответили мне и стали торопить меня с укладкой. Они очень спешили. Очевидно, в ту же ночь им предстояла еще подобная же "работа".

Я была совершенно одна. Мои соседи (они же и родственники по мужу) притаились за запертой дверью. Телефон у нас незадолго перед тем сняли.

Я не так испугалась, как растерялась от неожиданности. Собственно, самое худшее — разлука с сыном — было уже позади, а мое одинокое существование, голод, холод, темнота, маскировка — не все ли равно? Может ли быть, чтобы там было еще хуже?

— Берите только самое необходимое, — сказали мне. — Носильщиков у Вас не будет.

Я покидала в два чемодана то, что попало под руку и довольно бестолково. Тюлевые занавески, например. К чему мне они? Не буду же я "там" вешать их на окна? А мне и в голову не пришло, что их можно будет выгодно продать и жить на эти деньги, может быть, долгое время.

Паспорт у меня отобрали. Фотографии тоже. К счастью, мне удалось сунуть на дно чемодана небольшой узелок, с которым я всегда бегала во время бомбежек в бомбоубежище. В узелке были: смена белья, самые дорогие мне фотографии и несколько штук маминых золотых вещей. Кроме носильных вещей я уложила английские словари, драгоценный для меня "Круг чтения" и несколько тетрадей с моими стихами.

Долго раздумывать мне не дали, очень торопили, усадили в легковую машину и повезли через весь город. Куда — я не знала. Оказалось — на Красную Пресню, в пересыльную тюрьму.

Загромыхал огромный замок на двери, и меня ввели в большую камеру с решетками на окнах. Была уже поздняя ночь, когда мы туда приехали, и в камере все уже спали. Народу (женщин) было очень много, но странно: все они спали вповалку на полу, а трехъярусные нары справа и слева оставались свободными. Мне помогли поднять вещи на нары и ушли, заперев опять двери на замок.

Я огляделась. На потолке ярко горела ничем не защищенная электрическая лампочка. Женщины на полу спали беспокойно, ворочались, но не поднимались. В углу стоял огромный ушат,

знаменитая "параша". Не успела я разложить постель и лечь, как уже поняла, в чем дело, почему никто не мог спать на нарах. Они кишмя кишели клопами. Их было такое несметное количество, что можно было их загребать ладонью, черпая по постели. Я пришла в ужас, но делать было нечего — на полу уже не оставалось свободного места. Утром и все последующие дни народ все прибывал и прибывал, и теперь уже и нары стали все больше и больше заполняться.

Я почти не спала эту ночь, но не могу сказать, что у меня было очень горько и тяжело на душе. Я старалась ни о чем не думать, как-то вся сжалась и не позволяла себе страдать и томиться. Наоборот, я с интересом осматривалась кругом, разглядывала людей, знакомилась со многими, мне хотелось быть бодрой и других подбадривать. Мне хотелось даже шутить.

В первый же день мне сказали, что моя очередь выносить парашу. Это было трудным делом. Дверь отперли, и мы — несколько женщин — взялись на противную вонючую тяжелую кадушку, поволокли ее коридором мимо мужской камеры в уборную.

— Ну, иди-иди, не упирайся, матушка Прасковья Ивановна, — уговаривала я.

Уборная была ужасна. Это была какая-то вонючая клоака, вся залитая мочой. Рядом была мужская уборная, не лучше нашей. Когда через несколько дней я проходила мимо, то увидела труп умершего арестанта, лежащего прямо на полу в луже.

Парашу надо было опорожнить, ополоснуть и прикатить обратно.

— Ну, становись на место, Прасковья Ивановна, — приговариваю я.

И вдруг вижу — стоит возле меня маленькая, очень чистенькая и благообразная старушка и укоризненно качает головой:

— Что уж ты так ее называешь? — говорит она с ласковым упреком. — Ведь это меня так зовут: Прасковья Ивановна!

Я сконфузилась.

— Я больше не буду, — сказала я. — Ведь я не знала.

Это было мое первое знакомство. С Прасковьей Ивановной находилась дочь, молодая женщина, которая очень о ней заботилась. Много ей пришлось перенести дорогой. Но об этом

после. Обе они (так же, как и я) ни в чем не обвинялись, а ссылались как члены семьи какого-то провинившегося незадачливого человека. Может быть, это был сын Прасковьи Ивановны, а, может быть, ее зять. Впрочем, как после оказалось, вся партия, собиравшаяся в это время в пересыльной тюрьме, подвергалась ссылке не за себя, а за кого-нибудь из своей семьи.

Вторым моим знакомством оказались мать и дочь Мальцевы. Они сидели прямо против меня на нарах, и понравились мне с первого взгляда. Мать — невысокая худенькая черноволосая и черноглазая, показалась мне спокойной и приятной. Ее дочь, Таня, девушка лет 18, очень маленького роста, не отходила от матери. На коленях они держали целую кучу старых чулок и, чтобы не терять времени напрасно, штопали их. Что-то в них было домовитое, даже уютное. Я подошла и познакомилась с ними. У них было очень много вещей, два больших сундука.

Очевидно, не в пример мне, им было дано время, чтобы уложить вещи, и ими было все припасено и обдумано по-хозяйски. Это знакомство продолжалось до самого конца моей ссылки и даже дольше, когда они приезжали по делам в Москву.

Еще выше на тех же нарах сидела и плакала молодая красивая женщина с мальчиком лет одиннадцати — Антонина Дмитриевна Черешко. Она была буквально завалена вещами. Мы пробыли в этой пересыльной тюрьме дней десять, и почти каждый день ее навещал какой-то молодой человек, брат, как она говорила. Он каждый раз приносил ей множество вещей, всякой одежды и обуви. В особенности было много разных калош. С этой Черешко и ее сыном мне тоже пришлось в дальнейшем сталкиваться.

Я очень жалела, что не могла сообщить моим родным о моем аресте, никто не знал, куда я девалась. Письмо, которое я дала для отправки брату Черешко, не дошло до моей сестры почему-то, и, только уже приехав на место, я сообщила ей о случившемся.

Все мы с нетерпением ждали нашей отправки — уж очень плохо нам показалось в этой камере. Но дни проходили за днями, к нам сажали все новых и новых арестованных, многих собирали, проверяли по списку и увозили, а мы все сидели на месте. Больше всего нас донимали клопы. От них не было

спасенья. Со мной рядом сидела молодая женщина с очень капризным и избалованным мальчиком лет шести. Он забавлялся тем, что собирал и сбрасывал насекомых вниз, прямо на спящих на полу женщин. Мать его не останавливала. У нее было много продуктов с собой, и она все подкармливала сына. Больше я их никогда не встречала.

Если сравнить наше тюремное питание с тем, чем я питалась в то время дома, то оно было даже лучше. Нам давали хлеб и рыбный суп. Но многие к нему не прикасались.

Один раз в день нас водили гулять в небольшой тюремный дворик, обнесенный высокой стеной с вышкой на углу. На вышке прохаживалась молодая женщина-часовой. Время от времени она грубо и резко подавала нам команды со своей высоты. Вообще же я не помню, чтобы кто-либо из тюремных служащих был с нами груб. Дверь отпирала и запирали, пищу приносили и уносили — все это спокойно и без брани.

Наконец, настал день — если не ошибаюсь, это было 28-го октября 1942 года — когда по списку выкликнули мою фамилию, фамилию Прасковьи Ивановны и ее дочери, Мальцевых и многих других. Был уже поздний вечер. Нас повели и погрузили в черную карету с решетками, так называемый "черный ворон". Мы не сидели, а стояли в большой тесноте. И вдруг у меня мелькнула мысль, что мы все неминуемо должны задохнуться в этой карете. Это была тяжелая мысль, и мучила она меня всю дорогу, которая оказалась неближней. Нас высадили на каком-то вокзале (может быть, Ярославском) и привели на дальний конец железнодорожной платформы, где уже стоял довольно длинный состав товарных вагонов. Дверь одного из них отодвинули, и нас втолкнули внутрь. Все ринулись скорей, чтобы занять места получше.

Что это был за вагон! Грязь невероятная. Из двух небольших продолговатых окон величиной с форточку одно было наглухо забито фанерой. В центре стояла железная печка, в углу — параша и больше ничего; внизу не было ни лавок, ни нар, ни даже соломы на полу. На втором этаже поперек вагона были узенькие нары, их моментально заняли. На одной из этих полок поместилась какая-то гражданка, загородив собой единственное в вагоне окошко, тоже величиной с форточку. Впоследствии как

мы ни просили ее подвинуться немного, чтобы дать свет всем остальным, она на это не соглашалась. Так и ехали мы почти в полной темноте, светились только щели в стенах да огонек в печурке. Фамилия ее была Майер, Фаина Майер, и она рассказывала нам, что она будто бы артистка Московского Художественного театра. Впоследствии мне не раз приходилось слышать всякие небылицы, которые любили рассказывать женщины, чтобы хоть этим прикрасить свою невеселую жизнь.

Всех нас в вагоне было 44 человека, в том числе одиннадцать детей, один старик — остальные женщины. Это считая с теми, кого подсаживали к нам по дороге. Все ехали за кого-нибудь, по большей части за мужей, проявивших себя неблагоприятно на фронте. Жены почти никогда не знали, что они там наделали. Струсили? Дезертировали? Или сдались в плен? Обычно бывало так: мужья переставали вдруг писать, и долгое время о них ничего не было известно. Потом в одну прекрасную ночь за их женами приходили и увозили в ссылку за мужей, изменивших родине.

Старик — единственный мужчина во всем вагоне — был сослан за жену. Она была виновата в том, что дала поесть пленному немецкому солдату. К ней применили, если я не ошибаюсь, высшую меру наказания, а старика выслали. И как же он ругал ее всю дорогу! Ругал самыми последними словами. Но вскоре он утешился — женился на одной пожилой ссыльной, которая ехала с нами же. Она была хозяйственная женщина: везла с собой несколько мешков картофеля, замерзшего и превратившегося в камешки.

Некоторым из нас удалось кое-как устроиться на ночь. Я всю ночь, а также и последующие провела, скрючившись у печки на своих чемоданах.

Сначала мы очень стеснялись в присутствии старика пользоваться парашей: это была просто сквозная труба, выведенная под пол вагона с раструбом наверху. А потом.. что было делать? Пришлось с этим примириться... Скажешь ему только: "Дедушка, отвернись..."

Ехали мы очень медленно и подолгу стояли на каких-то остановках. Три раза в день громыхал засов на дверях, отодвигалась дверь, и нам подавали еду в одном ведре, воду — в

другом и уголь. Еду выливали в обыкновенную детскую металлическую ванночку, которая висела и со стуком раскачивалась на стене вагона. Подавали и хлеб — целое богатство — 600 граммов на человека. Пока принимали еду, часовые направляли на нас штыки, чтобы мы не сбежали. Хлеб и воду делила какая-то женщина (ссыльная), выбранная нами. У большинства были собственные мисочки и кружки, а также несколько штук "казенных" глиняных мисок. Еды было достаточно.

На другой день после нашего отъезда из Москвы, когда в вагоне стало чуть-чуть светлее, мы стали знакомиться друг с другом. Так познакомились мы с матерью и дочерью Шиловыми, с которыми потом в течение всех пяти лет часто виделись и дружески общались. Тут же на полу, недалеко от меня, устроились на своих сундуках мать и дочь Мальцевы, с которыми потом и жить мне пришлось вместе... Была среди нас и молодая красивая женщина-врач Лиманова — ее впоследствии усадили еще куда-то дальше на Север. Совсем рядом со мной сидела молодая женщина с двумя маленькими детьми на руках. Одному было около двух лет, а другой был совсем малютка — грудной. Прасковья Ивановна с дочерью и Черешко ехали в соседнем вагоне.

На другой день, оглядевшись, мы обнаружили несколько больших неприятностей. Во-первых, оказалось, что рядом с нами, на открытой площадке вагона, ехал красноармеец с винтовкой и собакой — немецкой овчаркой. На остановках он пускал собаку бегать по крыше вагона. Но главная неприятность была в том, что собачья моча проходила в щель к нам в вагон, и лужа разливалась с каждым днем все больше и больше, а ведь сидели мы на полу, на собственных вещах, и нам некуда было спастись от этой вонючей жидкости.

Второй неприятностью была печь, т.е. собственно не печь, а уголь, который ссыпался на пол у печки. Мы все топили, шуровали и подсыпали уголь в печку по очереди. В конце концов мы все перепачкались невероятно, умыться же было почти невозможно, да и воды часто не хватало.

Третьей и самой большой неприятностью были напавшие на нас вши. От клопов, мучивших нас в пересыльной тюрьме, мы избавились, но от вшей не было никакого спасенья. Мы все были

ими заражены. Мы не могли даже как следует осмотреть нашу одежду, потому что в вагоне было почти совсем темно. "Какое счастье, — думала я, — что я еще в тюрьме отрезала и выбросила в уборную свою большую толстую косу. Что бы я стала делать теперь с моими длинными волосами?"

Читать мы тоже не могли. Оставалось знакомиться друг с другом и заниматься разговорами. Я предложила рассказывать сказки, и весь вагон слушал меня с большим вниманием. Потом я сочинила стихи и прочла их вслух. А так как тема стихов всех близко касалась, то многие плакали. Вот эти стихи:

Не разбойники, не воры
В тесный брошены вагон.
Отчего ж крепки запоры,
Нет огня и нет окон?

Отчего там крик ребячий
И у двери часовой?
И стоит вагон телячий
На разъезде под Москвой?

Целый день сидят во мраке
Бабы, дети, старики...
Охраняют их собаки
И железные штыки.

Оторвали их от пашен,
От труда и от семей,
В путь их гонят дальний, страшный,
В Красноярск на Енисей.

Плачут бабы и ребята,
Жалко им родной страны,
Мы ни в чем не виноваты,
Мы страдаем без вины!

Иногда откроют двери,
Принесут в ведре обед.
И глядим мы, точно звери,
На широкий белый свет.

Видно солнце, видно поле,
Свод небесный голубой.
Но не пустит нас на волю
Беспощадный часовой.

Бесконечна ночь в темнице,
Мчатся мимо поезда...
Только нам родной столицы
Не увидеть никогда.

Потом все понемножку засыпали, а я долго лежала без сна, с моими горькими думами. Преобладающим моим чувством было удивление — сильное удивление тому, что со мной случилось. Как это могло произойти? Ведь я ни в чем не была виновата!

А мы все ехали-ехали... Подолгу стояли на каких-то запасных путях. Во время подачи пищи старались разглядеть, где мы, но не могли понять. Спрашивали — нам не отвечали. И чем дальше мы ехали, тем небрежнее нас обслуживали. Часто совсем забывали подавать нам воду, а ведь иногда давали на обед селедку. На остановке поглядишь в щелку — вот она, водокачка, совсем рядом, и из крана так заманчиво каплет вода, а пить так хочется! Начинали стучать и кричать: "Дайте воды!"

В ответ — только ругательства.

Заболел маленький грудной ребенок на руках у сидящей рядом со мной матери. Ночью, в полной темноте, он умер. Мать заплакала. Кто-то из запасливых, сохранивших немного воды от последней подачи, пожертвовал ей кружечку воды, чтобы она обмыла ребенка. Другая женщина подала ей маленький свечной огарок. Он недолго погорел и погас. Стали ждать утра. Мать заливалась, плакала и причитала.

Утром на остановке стали громко стучать и звать кого-нибудь. Долго никто не отзывался. Наконец, грубо спросили:

— Чего вы стучите, так вашу мать!

— Отворите, у нас покойник!

— Подумаешь!

Но все-таки отодвинули дверь.

— Где покойник?

Один из них вскочил в вагон и забрал маленький трупик. Мать не захотела отдавать и выпрыгнула за ним из вагона. Ее грубо схватили и водворили обратно, а трупик унесли. Поезд снова тронулся, а бедная мать долго еще плакала и причитала.

Однажды ночью на одной остановке к нам в вагон втокнули еще одну нестарую женщину с четырьмя детьми. Одета она

была странно: на ней были валенки, полушубок, а под полушубком нательная рубашка — и больше ничего. Ни юбки, ни чулок. Дети тоже были одеты кое-как. Она рассказала нам, что жила и работала с мужем в колхозе. Мужа забрали на войну, и вскоре она перестала получать от него письма. А вот сегодня ночью пришли, забрали ее за мужа, забрали и детей и так торопили, что не дали ей даже одеться.

Через год или два после нашего водворения в село, где мы отбывали ссылку, я случайно встретила эту женщину на улице. Ей повезло. Вскоре после нашего приезда ее и детей с целой партией других ссыльных отправили в ближайший колхоз, дали ей помещение, дали продуктов, и она с энергией принялась там за привычную ей колхозную работу, заработала много трудодней, оделась сама и детей одела. Младших детей ей удалось отправить домой, к родным. Старшие стали помогать ей в колхозе. Я поглядела на нее и порадовалась: действительно, она была хорошо и тепло одета. Приезжала она в наше село по каким-то делам. Больше я ее не видела.

Хоть и плохо нам было в нашем телячьем вагоне, но все же было терпимо до тех пор, пока не наступили холода. Чем дальше мы ехали на восток, тем холоднее и холоднее становилось. Когда дверь нашего вагона отодвигалась, мы видели, что кругом лежит белый снег и люди все тепло одеты в полушубки и валенки. Мы уже и счет дням потеряли. Где мы находимся и долго ли еще ехать — мы не знали.

В вагоне тоже становилось все холоднее и холоднее. В щели вагона дуло, со свистом задувало нас снегом, уголь нам подавали почему-то реже и меньше, чем раньше, и мы, натянув на себя все, что у нас было, зябли и дрожали. К счастью, у меня сохранилась еще мамина плюшевая, переделанная из ротонды старинная шубка на лисьем меху. Она была очень старая, ей было, наверное, лет сорок, и она местами уже вытерлась. Но в те годы она меня не раз спасала. Все же думалось со страхом: вот мы все едем и едем, идут недели за неделями — и сколько еще проедем — неизвестно. В один прекрасный день отодвинут нашу дверь на остановке и найдут только замерзшие трупы.

— Ах, скорее бы доехать до места! — мечтали некоторые.

— А вы думаете, будет лучше? А вдруг еще хуже?

На это я горячо возражала:

— Не может быть хуже! Ведь над нами будет небо, будет светло, мы будем свободно двигаться, кругом будет природа. И бомбежек не будет, затемнения не будет! Как может быть хуже?

Потом одного за другим нас стала валить какая-то болезнь. Поднималась высокая температура, болело все тело, наступала сильная слабость, некоторые бредили. Заболела и я. На одной из остановок нас посетила ехавшая в поезде молодая женщина-врач. Она дала нам какие-то таблетки. Что она могла больше сделать? Ведь заболели мы от окружающей нас обстановки, от холода, а этого изменить она не могла.

Кто-то сжалился и переместил меня с грязного мокрого пола на нары. Здесь было гораздо лучше, суше, чище. Но вытянуться во весь рост я не могла. На тех же нарах с другой стороны расположился старик, и когда мне хотелось вытянуть затекшие ноги, он сердито отпихивал их, и я опять свертывалась калачиком.

Я лежала и бредила. Перед глазами на стене вагона висела детская ванночка, в которую нам сливали еду; пятна и разводы на ее дне складывались так удивительно, что я все время видела перед собой княжну Тарakanову, как на картине художника Флавицкого. Вода бьет в разбитое окно и подступает уже к самой кровати, на которую в ужасе забралась княжна Тараканова. Мыши бегут и карабкаются к ней на постель. Какой ужас! Я с детства боялась мышей. Закроешь глаза — все исчезнет. Откроешь — и опять в полутьме та же картина. Но мало-помалу болезнь прошла, мы все поднялись. Хуже было в соседнем вагоне, в котором везли мужчин, и везли не в ссылку, а в лагерь. Там болели гораздо серьезнее, чем мы, может быть, тифом или дизентерией. Однажды, когда наша дверь открылась, мы посмотрели, как оттуда выносили покойника.

На какой-то станции нам сказали, что нас поведут в город, в баню. Мы все очень обрадовались, мы так давно не мылись. Но город проехали мимо, и никто за нами не пришел. Едем дальше еще долго-долго. И, наконец: "Собирайтесь в баню!"

Оказывается, большой город Красноярск. Нас построили в ряды — кажется, по четыре человека — и повели довольно далеко по улицам Красноярска. По бокам шли солдаты с

ружьями наперевес и собаками. Прохожие с удивлением на нас оглядывались. А я и сама не могла опомниться от удивления — как это я попала в такое положение, о котором раньше только читала?

Баня была мужская, но в это время в ней никто, кроме нас, не мылся. Только банщики были мужчины, но почему-то нас это не задевало. Мы так были поглощены своими собственными бедами и огорчениями, что не обратили на это внимания.

В предбаннике у нас отобрали наши вещи для дезинфекции — и белье, и валенки, которые называли "катанками", и шубы. Когда же мы попали собственно в баню, первое, что мы сделали — это бросились к кранам пить. Два дня перед этим нам приносили селедку на обед, а пить не давали, и мы все изнывали от жажды. Мы пили, пили... а потом стали мыться. Какое это было наслаждение! Продолжалось оно долго. Только поздно вечером нас привели в том же порядке, с солдатами и собаками, "домой" в наш вагон, где без нас была тоже проделана дезинфекция. Некоторое время было легче, насекомые не так донимали, но отделаться от них нам удалось только гораздо позже, уже когда мы приехали на место.

Город нашего назначения был Канск — это не так далеко за Красноярском, но по какому-то недоразумению мы проехали мимо и ехали довольно долго, а потом пришлось возвращаться обратно. Поэтому в наш дальнейший путь, на грузовых машинах, мы выехали уже близко к вечеру.

В Канск мы прибыли 1 декабря 1942 года; наше тяжелое путешествие продолжалось пять недель. Все мы были очень измучены. На дворе стояла холодная сибирская зима, было около 40° мороза.

В Канске нам объявили, что мы должны сами оплатить наш дальнейший проезд на машинах (90 км до места назначения — села Дзержинское). Я теперь уже не помню, какая это была сумма, но у меня таких денег не было, и я отказалась. Я была возмущена тем, что нас везут подневольно так далеко да еще заставляют платить за проезд. И меня очень удивило то обстоятельство, что большинство наших гражданок легко и охотно заплатило эту сумму. Это были те самые женщины, которые дорогой вынимали из чемоданов и питались домашней прови-

зией, и все у них было. К общему питанию они относились презрительно.

Пока со мной и еще несколькими женщинами, у которых не было денег на проезд, велись переговоры, остальные уже заняли места получше на грузовиках. А мне было даже интересно: что же со мной сделают? Не оставят же меня в Канске из-за того, что я не могу оплатить проезд? Нет, не оставили. Но я очутилась на открытом грузовике уже в последнюю очередь, и кругом были незнакомые мне ссыльные из других вагонов.

Когда я была уже наверху на машине, из соседнего с нами вагона вынесли и погрузили поперек нашей машины завернутого во что-то покойника. Боже мой! Это оказалась Прасковья Ивановна! Та самая Прасковья Ивановна, которую я так обидела на пересыльной, назвав ее именем "парашу". Она умерла уже несколько дней назад в вагоне. С ней была ее дочь, она выхлопотала разрешение везти покойницу в Дзержинское, чтобы похоронить уже на месте назначения. Пока мы ехали на машине, мороз все крепчал и крепчал, труп замерз, машину трясло, и он перекачивался туда и сюда и то и дело наваливался нам на ноги.

Я очутилась среди совсем незнакомых мне людей: те, с которыми я успела познакомиться за пять недель в вагоне, ехали на другой машине. Рядом со мной ехала молодая худенькая женщина с тремя маленькими ребятишками. Это были все мальчики, все были одеты плохо и буквально замерзали. Тут я поняла, что в отношении одежды я была еще куда в лучшем положении, чем некоторые. На многих была легкомысленная городская одежда, а у меня были валенки, правда, очень старенькие, мамина лисья шубка и два одеяла, которые я вынула из чемодана. Одно из них я уступила мальчишкам. Мне очень хотелось с кем-нибудь сблизиться, подружиться, я чувствовала себя очень одинокой.

Дул сильный, пронзительный ветер, и ехали мы очень долго. Дорогой остановились у какой-то чайной.

Было уже около 12 часов ночи, когда мы приехали в большое село Дзержинское, где нам предстояло прожить пять лет. Это была жуткая ночь: тишина, черные окна домов, никакого освещения, полное безлюдье. Нам сказали:

— Можете здесь жить свободно, только от села далеко

никуда не уходите. С этого дня хлебный паек вам прекращается.

Хорошенькое дело! Мы свободны! 12 часов ночи, полная темнота, незнакомое село, кругом ни души, 40° мороза и хлеба больше не дадут!

Машины завернули и уехали обратно в Канск, а мы уселись на своих чемоданах прямо на улице под открытым небом и стали ждать неизвестно чего.

II

Просидели мы так недолго. Вдруг дошла до нас приятная весть: где-то совсем близко, на следующей улице, находится так называемый "заезжий двор", где можно в тепле подождать до утра. Мы подхватили свои вещи и направились туда. Действительно, там была изба, двери в которую были не заперты. Мы прошли через обширные сени и очутились в довольно большом помещении, битком набитом народом. Освещения не было, но в одном углу жарко горела железная печь. Кто-то все время подкладывал в нее дрова, и в помещении было очень тепло, отсветы бегали по комнате, освещая молчаливых людей и разные их вещи, нагроможденные почти до потолка.

Дочь Прасковьи Ивановны кое-как пристроила свою покойницу мать в холодных сенях — в тепло вносить ее было нельзя (дня через два она ее похоронила на местном кладбище), а сама прошла внутрь избы. Сесть было негде, так было тесно. Большинство стояло, но люди все подходили и подходили, и даже стоять было трудно.

Я стояла, переминаясь с ноги на ногу, — обе ноги сразу поставить на пол было негде. Я засыпала стоя, радуясь теплу, исходившему от печки. Возле самой печки я заметила странного вида старуху, сидевшую на каком-то чурбане. Вещей у нее не было, одежда была самая жалкая, но всем своим видом она производила впечатление, что обжилась, привыкла и проводит здесь не первую ночь. Она что-то подогревала или варила на огне в консервной банке и ела. В последующие дни я ее часто встречала повсюду. Ее почему-то называли баронессой. Была ли она на самом деле баронессой, или это было только ее прозвище — я не знаю. И хотя первое впечатление от нее было жуткое, так

она напоминала какую-то колдунью из сказки, потом оказалось, что, несмотря на крайне бедственное свое положение, она очень добродушна и жизнерадостна и отнюдь не приходит в отчаяние.

Вот что о ней рассказывали: она была москвичкой и жила одиноко. Специальностью ее были пиявки, обыкновенные лечебные пиявки, которые она ставила всем нуждающимся в них больным, разъезжая по домам. Пиявки эти она держала у себя на квартире. Когда однажды ночью к ней приехали, чтобы ее арестовать и отправить в ссылку, она до такой степени не была к этому подготовлена (а кто из нас, не чувствуя за собой никакой вины, был к этому готов?) что только спросила: а пиявки брать с собой? Ей отвечали: "Берите, берите." Что это было? Насмешка над старухой или просто какая-то неразбериха, но в результате она очутилась в ссылке за тридцать земель с одной только банкой пиявок вместо всяких вещей. Жила она подаянием, собирая какие-то кусочки, но летом бродила у речки, разыскивая живых пиявок, которыми хотела кого-то лечить. Конечно, у нее были не все дома.

Начало декабря — самое темное время года. Когда на другое утро рассвело, было уже поздно. Публика начала шевелиться в избе. Передавали друг другу новости, говорили, что местные женщины — колхозницы — охотно берут к себе ссыльных на квартиру, и многие побежали устраиваться.

Очень хотелось есть. Кто-то сказал, что неподалеку большой воскресный базар (а было воскресенье) и что там можно что-нибудь продать и купить съестного.

Я поручила свои вещи той маленькой худенькой женщине, матери трех мальчиков, с которой мы ехали на грузовике, и пошла на базар.

Народу на базаре было очень много. В то время все магазины в селе были закрыты, купить что-либо было невозможно. Но зато на базар выносили множество вещей и продуктов. Из окрестных колхозов привозили картофель, овощи, молочные продукты и прочую снедь, между прочим, похожее на половинки голландского сыра мороженое молоко. А ссыльные, которых было очень много, приносили белье, одежду и самые разнообразные вещи. Я захватила с собой старенькую бумажную линючую кофту, которую у меня тут ж выхватили; 250 рублей,

которые я за нее запросила, показались дешевкой. В то время это была цена одного ведра картофеля.

За три рубля я купила себе стакан очень вкусного варенца и еще не помню что. Вернувшись, я поела и немного приободрилась. Кое-какие вещи у меня все же были: если продавать понемногу, то можно будет прожить некоторое время, а там видно будет.

Стали возвращаться на "заезжий двор" ссыльные, побывавшие устраиваться на квартиры: многим повезло, они забирали свои вещи и уходили. Говорили, что квартиры сдают преимущественно тем, у кого много вещей, а у некоторых были большие сундуки. Дело в том, что деревня к этому времени сильно поизносилась: мы удивлялись — почему? Ведь шел только второй год войны, но одежда деревенских женщин, которых мы встречали потом на улицах, буквально превратилась в лохмотья. Хорошо, если фуфайки (так назывались ватные телогрейки) и женские юбки пестрели разноцветными заплатами: но у большинства не было тряпок для заплат, не было и ниток для того, чтобы их наложить. Вот они и налетали на базаре на всякую одежду и охотно брали ее за продукты. Дело доходило до курьезов: идет, например, по улице женщина в совершенно рваном платье, а сверху у нее надета новая мужская жилетка с коленкоровой спинкой. Или рваная кофта надета на хорошую новую шерстяную юбку. А летом я видела девочек в стареньких ситцевых платьях, поверх которых вместо сарафана была надета беленькая рубашонка на бретельках. Самое удивительное видела я однажды на базаре; издали я заметила что-то пестрое, разноцветное, блестящее. Когда подошла ближе, догадалась. Эта женщина соорудила себе юбку из новых шелковых мужских галстуков разных цветов, сшив их сверху между собой, а ниже колен распустив в виде цветочных лепестков. Получилось что-то очень оригинальное и яркое.

Мужчины были все на войне. В селе оставались одни женщины и дети. Они говорили про себя, что голодают. Однако, это было далеко не так: им, правда, не давали хлеба, но у них были запасы картофеля, овощей, у большинства имелись коровы и, стало быть, молочные продукты, у некоторых были свиньи, поросята, куры, овцы. В этом отношении нас, москвичек (за

немногим исключением), нельзя было с ними сравнить, так мы изголодались. Недаром они удивлялись, наблюдая, с какой жадностью мы набрасываемся на картошку и едим ее с шелухой.

Я набрала себе довольно большой узел самых простых прочных носильных вещей и обуви, вынув их из чемодана. Такие вещи требовались больше всего на базаре, и я хотела их продать в первую очередь. Присмотр за ними я поручила той же женщине, матери трех мальчиков, но она небрежно отнеслась к моей просьбе и, когда я вернулась из вторичной моей вылазки из избы по каким-то неотложным делам, оказалось, что узел мой украли. Я была ужасно огорчена. Вероятно, около половины моих вещей пропало.

С квартирами дело обстояло тоже плохо. Ссылных было очень много, одни приехали гораздо раньше нас, другие — после и быстро расселились по квартирам; многих развезли на работу в ближайшие колхозы. А мне пришлось остаться на "заезжем дворе" и на вторую, и на третью ночь, но теперь здесь было уже гораздо просторнее.

На третий день ко мне заглянула Галя Шилова. Они с матерью, Анной Александровной, устроились на одной половине дома, а на другой половине, за глухой стенкой, жила какая-то родственница их хозяйки, которая изъявила желание пустить к себе кого-нибудь из ссылных. Мы с Галей живо перетасчили мои вещи на новое место, и я познакомилась с моими хозяевами. Это были: муж (кажется, он был инвалид, а потому избежал войны), его жена Мария, сын, мальчик лет десяти, и старуха на печке. Единственная комната была небольшая, длинная, много места занимала русская печь, в углу стояла хозяйская кровать, под окном — стол, несколько табуреток. Посередине комнаты была другая, железная печь, умывальник на стене. Больше ничего не было. Мне предстояло спать на полу. Но я и этому была рада.

Плату за квартиру с меня спросили небольшую, если не ошибаюсь, рублей 150 или 200 в месяц, т.е. меньше, чем стоило ведро картошки на базаре. Я вскоре поняла, почему меня пустили — хозяйке нужна была физическая помощь по дому. Но в этом она сильно ошиблась. Я была совершенно неприспособлена к деревенским условиям и к физической работе. Я не умела топить

русскую печь и пилить дрова (этому последнему я научилась позже). Да и вообще, чем могла ей помочь такая старуха-москвичка, как я? Помимо всего прочего, я была очень слабой после голодовки.

Кое-как я устроилась на ночь на полу на своих двух полупустых чемоданах. У потухающей железной печки было тепло, но я долго не могла уснуть от волнения. Помню, сочиняла стихи — это было мое единственное утешение. Если бы не эта моя способность, мне было бы еще гораздо хуже.

Весь день колодезь журавлиный
На улице моей скрипит.
Подходит вечер — длинный-длинный,
Селенье сумрачное спит.

Но долго-долго мне не спится,
Сиж у печки на полу,
Гляжу, как пламя — хвост лисицы —
Метет горячую золу.

Как разгораются пожаром
Селенья — зданья и мосты.
Как голубым цветут угаром
Уголья — знойные цветы.

Но вот и все. Пожар потушен,
Угас огонь, закрыта печь.
И мой волшебный мир нарушен,
Темно и тихо, надо лечь.

О чем же думать в эти ночи,
Без сна, без друга, без огня?
На чем мне мысль сосредоточить?
Кто может научить меня?

Ведь жить и думать — нераздельно...
И если надо как-то жить,
То надо и тянуть бесцельно
Тяжелых дум скупую нить...

Желать? Желанья, как жар-птица
Сверкая, не даются мне...
А сны? Но ничего не снится
В суровой этой стороне.

Воспоминаньям не позволю
Мутить прозрачные ключи.
Не дам слезам горячим волю,
Пусть сердце знает и молчит.

Ведь лишь когда глаза сухие,
Когда душа в стальной броне,
Могу опять писать стихи я
О снах, о дружбе, об огне.

На другое утро, очень рано, часа в четыре, хозяйка разбудила меня и послала за водой к журавлиному колодцу. Была еще черная ночь и очень холодно. Я тут же утопила ведро в колодце, и меня за это очень ругали.

Дальше — больше. Меня послали во двор за дровами: дрова были мерзлые, холодные, покрытые корочкой льда. Что-то опять я сделала не то, разроняла, кажется, дрова и уложила их в избе не там и не так, как было надо, и меня опять ругали. Оказалось, что и печку топить я не умею. Помыться с дороги мне дома не позволили, и уже только через несколько дней я сходила в баню. Дома можно было лишь помыть лицо и руки под умывальником. Я сделала открытие, что в местной чайной можно за рубль получить довольно большую миску капустного супа (без хлеба, конечно). Кроме капусты в супе ничего не было, но я была и этим очень довольна и стала ходить туда каждый день. Но это продолжалось недолго. Потом продажа супа почему-то прекратилась. В следующее воскресенье я купила на базаре ведро картошки, сама варила суп в русской печке и старалась растянуть эту картошку на неделю. Так оно дальше и повелось: продашь в воскресенье на базаре что-нибудь из вещей, притащишь домой ведро картошки и считаешь себя сытой на целую неделю. А больше ничего не было.

Так потянулся первый месяц моей жизни в Дзержинском. Каждое утро без стука открывалась дверь, и в нашу комнату влетала приятельница хозяйки, чтобы вместе с ней идти на работу. Она не говорила: "Здравствуй!", а вместо приветствия громко выкрикала известные три слова площадного ругательства. Говорилось это без злобы, скорее, добродушно, как что-то очень привычное и даже необходимое. Этому ругательству учили маленьких детей — так просто, для забавы, и очень смеялись и

радовались, когда малыш, не умеющий еще говорить "папа" и "мама", повторял за ними эти слова. Впоследствии я их слышала повсюду и так к ним привыкла, что они уже утратили для меня характер ругательства.

Хозяйка относилась ко мне все хуже и хуже; я стала замечать, что у меня в мое отсутствие пропадают вещи из чемоданов; мальчишка утащил у меня две пары резиновых подвязок для стрельбы из рогатки, и мне пришлось сделать себе тряпичные. Старуха, лежавшая на печке (с ней очень плохо обращались), рассказывала Гале, что каждый раз, как я уходила из дома, хозяйка открывала замки на моих чемоданах и копалась в моих вещах.

Много позже, когда я жила уже на других квартирах, старуха эта (она, должно быть, была матерью хозяина) умерла, и меня в числе прочих гостей пригласили на поминки. На столе было много еды — и кутья, и блины, и еще что-то, теперь не помню. А я думала о том, как все это жестоко и несправедливо. Ведь со старухой так плохо обращались при жизни. Она была бы так счастлива, если бы ей когда-нибудь перепал хоть кусочек от того угощения, которое было подано на ее поминках.

Однажды хозяйка обвинила меня в краже соли. Сначала я даже не поняла, в чем дело. А дело было в том, что соль в селе была в большой цене, если не ошибаюсь, она стоила один рубль стакан на базаре.

— Когда я брала у вас соль? — спросила я хозяйку. Может быть, посолила себе суп по ошибке из вашей солонки?

Но хозяйка объяснила мне, что я украла не щепотку соли, а большое количество. Галя уговаривала меня не огорчаться. Она рассказала мне, что в селе все друг у друга ташат, что попало, и что все друг друга подозревают в краже, — это в порядке вещей. Когда позднее мне поручили обойти какую-то часть улицы — несколько домов — и провести с какой-то целью перепись населения, то выяснилась очень печальная картина: женщины были почти поголовно неграмотные, почти в каждом доме какие-нибудь члены семьи находились в заключении — за кражу, за хулиганство и даже за убийство. Первое впечатление о жителях села (а их было около 10 тысяч) было самое тяжелое: темнота,

крайнее суеверие, невежество, матерщина. Только гораздо позднее я разглядела и светлые стороны, и доброту в их характерах.

III

Забегая вперед, я расскажу в этой главе вообще о селе Дзержинском, о его обитателях, о моих поисках работы и всяких встречах и столкновениях.

Дзержинское раньше называлось Рождественским. Это было большое село с тремя параллельными широкими улицами. Зелени у домов почти нигде не было; кругом была бесконечная угрюмая и местами непроходимая тайга с высоченными деревьями — елями, соснами, пихтами и кедрами, в которой можно было заблудиться. Но лес вырубали, и с каждым годом он все дальше и дальше отступал от села.

Я слышала в детстве, что в некоторых сибирских селах принято делать тройные рамы в окнах, что в домах у них очень тепло даже в самую суровую зиму. Оказалось совсем не так. Даже двойные рамы здесь были редкостью, большинство домов было совсем раскрыто, щепы с крыши пошла на топливо. Правда, в домах было тепло, но за счет небольших железных печек, которые топились целыми днями. Всюду чувствовались отсутствие мужчин и нехватка транспорта. Правда, лес был близко, но лошадей ни у кого не было, и вывозить дрова из лесу можно было только на ручных тележках или санках. Лес был величайшей помощью для населения, и он же был источником несчастий. Кроме дров, он давал людям в большом изобилии грибы, ягоды, орехи, всякие дикие корешки — лук, черемшу, саранку и прочие съедобные растения. Но летом он кишел великим множеством комаров, и в особенности было много мошки, от которой не было спасения. Зимой близко к селу подходили волки и даже, говорят, забегали на улицы села. Я часто по ночам слышала зловещий их вой. Однажды я близко видела волка, привезенного охотниками из лесу. Огромный, мохнатый, он лежал, обвязанный веревками на розвальнях. Не могу забыть взгляда его глаз, до того он был выразительный. В нем были злоба, отчаяние, презрение к людям.

Забегая вперед, скажу, на какие работы нас брали охотно.

Летом, если мы не работали в учреждении, нас посылали на разные работы в поля и лес. В лугах мы убирали сено, в полях пололи пшеницу (причем нас заставляли разуваться, чтобы не повредить всходов), а в конце лета вязали снопы. В лесу мы собирали сучья и расчищали от бурелома путь сенокосилкам там, где было возможно косить конными граблями. Это было трудной работой, главным образом, из-за мошки. Она лезла в уши, глаза, нос и рот. Это был настоящий бич, от которого спастись было невозможно. От ее укусов на ногах и других незащищенных местах образовывались огромные кровоточащие нарывы, которые не заживали иногда и зимой. Исчезала мошка только с первым снегом, а начиналась, примерно, в июне. Спасались мы от нее или дымом от костра, или же надевали на лицо особые, сделанные из конского волоса сетки. То и другое мало помогало. У костров мы не могли стоять долго, так как должны были работать, а в сетках было очень душно. Я тоже приобрела себе такую сетку, выменяв ее на базаре на привезенную из Москвы застежку-молнию. Иногда мы должны были идти на эти работы в принудительном порядке, но часто, когда нам давали что-нибудь на обед, работали добровольно.

Один раз, в первое лето моего пребывания в Дзержинском, мы отправились в лес сгребать сучья. Бригадиром у нас был очень снисходительный и милый человек, который, видя, как нам трудно работать, развел большой костер и назначал частые "перекуры". Кроме ссыльных работали и местные женщины, в большинстве, молодые девушки.

Во время обеденного перерыва мы разыскали в лесу маленькую избушку, в которой находилась плита, стояли лавки и стол. Нас было, должно быть, человек десять-двенадцать. Продукты нам были выданы заранее. Распоряжалась нами, и очень властно, местная девочка лет пятнадцати. Она распределила между нами обязанности: кто должен был принести воду, кто заготовить сучья, кто почистить картошку, кто топить печь. Я выполнила свое задание — принесла сухих сучьев для топки, картошка была начищена, и суп уже кипел. Не зная, что делать дальше, я спросила:

— А суп не забыли посолить? Давайте я посолою!

— Ну ты, ссыльная! — грубо ответила девчонка. — Не смей

подходить близко к чугуну! Еще отравишь нас всех!

Вот такое было отношение к нам в первое время, нас считали способными на все самое низкое, и ни в чем нам не доверяли. Конечно, все это было инспирировано. Это внушение мы чувствовали на каждом шагу.

Другой случай: однажды мы пилили дрова во дворе одного учреждения. Было очень холодно, и, несмотря на физическую работу, мы сильно зябли. А рядом была какая-то мастерская, столярная или бондарная — большое помещение, жарко горели дрова в печи, и мы зашли туда погреться. Раза два нас пускали довольно охотно. А потом стали выгонять: "Уходите, уходите, вы, сыльные! А то вчера у нас тут полотенце пропало!"

И мы шли опять на мороз.

Только гораздо позже, когда нас получше узнали, стали относиться к нам доброжелательно и с доверием. А в последние годы, случись со мной что-нибудь — скажем, пожар, или вообще я бы осталась без крова — я не представляю себе ни одного дома в селе, куда бы меня не пустили охотно ночевать. Но это было гораздо позже.

И еще один случай, показывающий уровень развития местных жителей. Это было тоже в первое мое лето. Я работала в Заготскоте, тоже в лесу. Работа продолжалась несколько дней, но кормить нас не полагалось. Местные жители приносили с собой молоко, картошку, еще что-то на завтрак, а у нас ничего не было. Обеденный перерыв длился очень долго. Рядом со мной сидело несколько местных женщин, они пили, ели, смеялись и рассказывали друг другу похабные анекдоты, такие глупые и однообразные, что я поражалась, что они в них находили смешного. Надо было только назвать своим именем какую-нибудь не совсем пристойную часть человеческого тела, и они уже закатывались смехом. Рядом со мной сидела моя первая хозяйка, Мария, которая когда-то заподозрила меня в воровстве соли. Я заметила на ее ногах пропавшие у меня чулки, узнала их по штопке.

Не зная, чем заняться во время обеденного перерыва, я стала писать письмо сестре в Москву. Письмо вышло длинным.

— Что это ты все пишешь? — спросила меня Мария.

— Письмо пишу своим.

— Письмо? — усумнилась она. — Разве такие бывают письма? Что ты врешь! Это же целый телеграмм!

На другой день она нажаловалась на меня моему заготскотскому начальнику. Он вызвал меня к себе.

— Что это ты вчера делала в лесу? — спросил он меня.

— Я работала.

— Знаю, работала. А во время обеденного перерыва?

— Письмо писала.

— Что ты врешь? Не письмо ты писала, а телеграммы. Чтобы у меня этого не было! Чтобы у меня в лесу не смела ничего писать!

Чего он боялся? Каких-нибудь жалоб с моей стороны или контрреволюции? Но в то время в этом селе, где мало кто умел даже читать, вообще боялись грамотных людей. Даже газеты боялись читать — как бы чего не вышло. Вообще газеты были редкостью. Мы узнавали новости только по радио.

Он уволил меня с работы, чему я была только рада. Ведь нас там не кормили.

Одно время, правда, очень недолго, я работала в каком-то учреждении (не помню, в каком). Мы резали и сушили картофель для фронта. Особым станочком с проволочками мы нарезали картофель на очень тонкие пластинки, а потом относили его в сушилку. Работа была легкая и приятная. Мы все сидели за большим столом и пели хором. В сушилке, куда мы относили картофель, была 80-ти градусная жара. Как там работали люди, я не знаю. Нам надо было только поставить наши противни с картофелем и уйти, и то мы могли едва вытерпеть такую жару.

Под осень как-то нас всех послали в поле вязать пшеницу. С непривычки это было трудно, и мы все очень устали, но колхоз был богатый, и нас очень хорошо накормили. На обратном пути меня схватила сильная боль в правом боку. Все ушли, а я осталась одна в поле, упала на краю дороги и чуть не кричала от сильнейшей боли. Это был первый приступ болезни печени, от которой я впоследствии сильно страдала.

Что меня радовало — так это чудесная природа, нас окружавшая, эти могучие, прямые, гигантские деревья в лесу, в особенности кедры, извилистая речка, сплошь покрытая цветущими кувшинками, густые заросли черной смородины по берегам

и низкое небо с бегущими облаками и такими великолепными закатами, каких я нигде больше не видала. Глаз нельзя было оторвать от богатых, разнообразных, меняющихся красок, захватывающих полнеба.

С местными жителями мы потом тоже примирились или, вернее, они примирились с нами. Бывало, идешь по улице, а какая-нибудь хозяйка стучит в окно — зазывает к себе, просит или письмо написать, или с ребенком посидеть. Много раз я писала также всякие прошения и заявления — о пропавших на фронте мужьях и другие. За это меня всегда хорошо кормили.

Нигде я не встречала так много предрассудков, как в Дзержинском. Я даже не могла себе раньше и представить, как можно свою жизнь строить в зависимости от этих предрассудков. Бывало, они ни за что не покажут нам только что родившегося теленка или ягненка, боясь "дурного глаза". А уж хуже всего, если мы случайно увидим да похвалим. Тогда, если с новорожденным случится какая-нибудь беда — берегись! Во всем мы окажемся виноватыми.

Вспоминаю как курьез такой случай: пришла на работу одна из местных женщин и стала всех обходить и спрашивать:

— Ты меня вчера в такое-то время не ругала? И ты не ругала? И ты не ругала?

— Да нет, никто не ругал. А в чем дело?

— А я сильно икала. Уж обязательно кто-нибудь ругал!

— Неужели ты думаешь, что икота бывает от этого?

Она сильно удивилась.

— А как же иначе? Конечно! Отчего же ей быть еще? Ну да я дознаюсь, кто меня ругал!

Слухов и сплетен по селу ходило великое множество. С первых же дней нашей ссылки ссыльные, встречавшиеся на улице, делились новостями:

— Вы слышали? Нас скоро отпустят домой!

— Откуда вы это знаете?

— Ну, на этот раз это уже факт. Ведь у хозяйки такой-то ссыльной — дочь, а у той — подруга, а у подруги — тетка... (и т.д. и т.д., идет целая цепочка), а та работает *там*. Ну вот, она и говорила, что это уже решенное дело, нас скоро отпустят.

Это повторялось много раз, вначале мы прислушивались,

ведь приятные новости приятно и слушать, а потом нам это надоело, и мы перестали верить.

Устроившись более или менее с квартирой, мы стали искать работу. Это было очень трудным делом. По специальности, конечно, нас никуда не брали. Я знала машинопись, языки. Но это было никому не нужно. К культурным учреждениям, таким, как школа, библиотека нас близко не подпускали. Сначала я размышляла преподавать английский язык в школе (я преподавала английский язык одно время в московской школе), но оказалось, что это — несбыточная фантазия. Тогда я снизила уровень желаний и стала мечтать о должности уборщицы в местной библиотеке — помещение было маленькое, уютное, заведующая была симпатичная и охотно брала меня. Но и в этом мне было отказано.

Некоторые из ссыльных устроились в какую-то артель делать деревянные ложки. Но число свободных мест было ограничено и оказалось, что научиться "бить баклуши" не так-то легко. Дело у них не пошло.

Один раз в поисках работы я пошла в больницу, мечтая устроиться санитаркой. Но и там не взяли. Во время этих походов у меня совсем развалились валенки, в дыры вылезли все намотанные на ноги тряпки, и я ступала голыми пятками по снегу.

Я понемногу распродала на базаре вещи и тем жила. Однажды мне повезло. К нам на квартиру зашел какой-то здоровенный мужик из деревни и купил у меня для дочери мое парадное черное шелковое платье, которое никто не хотел покупать на базаре (нарядных вещей вообще не покупали, всем нужны были простые, прочные вещи).

Правда, дочка этого мужика мечтала купить не черное, а голубое шелковое платье, но я уговорила папашу, что черное практичнее и что дочка может сделать к нему голубую отделку. Он привез мне за платье большой мешок пшеничной муки — целое богатство, и я решила отнюдь не печь из этой муки хлеба, это было бы непростительным транжирством. Я делала из нее болтушку и понемножку подсыпала ее в картофельный суп. Впоследствии, при моих многократных сменах квартир, я возила этот постепенно уменьшающийся запас муки с квартиры на

квартиру, многие мне завидовали, и многие приложили к нему руки.

В другой раз этот же самый мужик (право, у него был вид кулака) увидел у меня в руках колоду карт, прибывшую со мной из Москвы. Я иногда раскладывала пасьянсы, а иногда даже гадала моим хозяйкам или соседкам, которые тосковали в разлуке с мужьями. Хотя я и могла наговорить им всякой чепухи, но мне было совестно это делать, и я никогда не брала за это ничего. Однажды дверь нашей хаты отворилась, и в комнату вошла незнакомая мне ссыльная, одетая очень бедно. В руках у нее были карты. "Погадать Вам?" — спросила она у меня. Потом она поняла, что я с ней одного поля ягода и мне гадать не стоит. Оказалось, что она специально этим делом занимается, обходит всю деревню от избы к избе и всем предлагает гадать — все на одну и ту же тему: жив ли муж (или сын)? убит? убьют? не убьют? скоро ли вернется домой? И она всем гадала, и за это ее кормят или что-нибудь подают. Нет, на это я пойти не могла.

Богатый мужик, увидев у меня в руках карты, просто оторопел от радости. Он привез мне за них масла и еще каких-то продуктов и почти вырвал их из рук.

Мне сначала было немного жаль своих карт, но потом я придумала: купила на почте 18 простых трехкопеечных открыток, каждую разделила пополам и цветными карандашами нарисовала на них фигуры и разные знаки, одним словом, все, что полагается. Долго у меня жили эти карты.

С каждым днем жизнь моя на этой первой моей квартире в Дзержинском становилась все хуже и хуже. Дело дошло до того, что я не смела уходить из дому, когда хотела, все время мне давали что-либо делать. Но я все же отлучалась из дому и каждый день обходила село в поисках квартир.

И вот удача. Мать и дочь Мальцевы, с которыми я часто встречалась, устроились на квартиру к одному старику-священнику, и он согласился принять к себе еще одну ссыльную.

Н. Страхова

(продолжение следует)

БИБЛИОГРАФИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ТЕМЕ

J. Hoffmann. Die Geschichte der Wlassow-Armee. Einzelschriften zur militärischen Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Verlag Rombach, Freiburg, 1984.

В 1982 году Александр Некрич в своей книге "Утопия у власти" писал:

«Среди наиболее сложных проблем истории СССР периода Второй мировой войны едва ли не самой сложной, к тому же еще запретной для советских историков, является сотрудничество с врагом советских граждан».

Проблема сложна не только для советских историков, поскольку первоисточники не собраны в одном архиве, а находятся в многочисленных учреждениях и библиотеках, разбросанных, главным образом, по Западной Германии и США. К тому же, тема эта возбуждает сильные страсти и вызывает ожесточенную полемику. Не ограничиваясь трезвыми историческими суждениями, дискуссия неизменно переходит в более общий план рассуждений о морально-политических проблемах. Многим до сих пор остается непонятным, каким образом и при каких обстоятельствах советские военнопленные могли согласиться сотрудничать с нацистскими захватчиками.

На эту тему писал польский исследователь генерал Андерс, который во время войны находился в ситуации, сходной с положением генерала А. А. Власова, так как к нему враждебно относились и Гитлер, и Сталин. Отмечая, что "измена никому легко не дается", он указывал на то, что Власовское движение было "одним из важнейших идеологиче-

ских движений нашей эры” и не только вследствие многочисленности своих сторонников.

Ввиду таких крайностей в суждениях и продолжающегося спора по поводу Русского освободительного движения (РОД), так называемого Власовского движения, особенно важно появление книги д-ра Иоахима Гофмана, директора Военно-Исторического института во Фрайбурге в Западной Германии. Книга посвящена истории формирования воинских частей так называемой РОА (Русской освободительной армии). Термин РОА появляется впервые в Смоленской декларации, подписанной Власовым в декабре 1942 г. Декларацию в виде листовок сбрасывали с самолетов и, таким образом, русские в Германии и на оккупированных территориях СССР узнали о существовании генерала Власова. Тщательно анализируя немецкие архивные данные, Гофман сумел показать создание и подробную картину организации РОА, и, опираясь на используемый материал, выразить свое мнение, иногда спорное, но всегда интересное, о моральной и политической сути движения.

Автор сосредотачивает свое внимание на действиях власовцев после 14-ого ноября 1944 года, то есть после обнародования Пражского манифеста. Событие это означало крутую перемену нацистской политики, ибо, наконец, генерал-лейтенанту А.А. Власову было разрешено сформировать русские военные части под названием ВС КОНР (Военные силы комитета освобождения народов России).

С первых дней плена люди, ставшие во главе РОД, мечтали о создании военных частей, которые составили бы ядро освободительной борьбы. Многие стремились вступить в ряды РОА. Те, кто уже служили в немецкой армии, считали, что они — подчиненные Власова и охотнее признавали его авторитет, чем авторитет немецких властей. Но до ноября 1944 года назначение Власова командующим РОА было чисто фиктивным.

В отделе немецкой военной пропаганды находились офицеры, которые не соглашались с официальной нацистской политикой в отношении СССР, ставившей своей целью полную эксплуатацию территорий и граждан СССР в пользу Третьего рейха. Эти военные считали, что такой подход к русским неэффективен при управлении оккупированными территориями, так как эта политика усугубляет русское сопротивление. Поэтому они предлагали учитывать политические чаяния русского населения, но не в действительных интересах русских, а лишь постольку, поскольку это могло облегчить военную задачу завоевания

СССР. Таким образом в истории развития РОД выявляется конфликт между политическими интересами нацистских инстанций и прагматическими соображениями, не носившими идеологического характера. Русские, которые вначале плохо разбирались во всей сложности этой обстановки, старались защищать русские интересы и программу действий.

В книге описывается формирование власовских боевых единиц, включая военно-воздушные силы, их военные действия и их расформирование, приведшее в случае Первой дивизии к немедленному взятию ее в плен Красной армией, а в случае Второй дивизии, попавшей в американские руки, к последующему насильственному возвращению на родину. Гофман мастерски анализирует мировоззрение приверженцев РОД и рассматривает реакцию советских властей на эту почвенную оппозицию советских граждан.

Он считает, что политический авторитет, завоеванный РОД, является главным достижением Освободительного движения. Такое истолкование событий совпадает с оценкой его самими участниками движения. До сих пор историками было принято обсуждать действия РОД лишь с точки зрения немецкой стратегии и рассматривать их как часть нацистской политики в оккупированных районах.

В глазах советского правительства советские военнопленные являлись изменниками родины и, следовательно, лишались гражданских прав и государственной защиты. Те немецкие офицеры, которые приходили в ужас от условий в лагерях, где держали советских военнопленных, ничего не могли предпринять в защиту этих несчастных, поскольку советское правительство отказалось подписать Женевскую конвенцию 1929 года (в которой определялись условия содержания военнопленных) и этим развязало нацистам руки. Гофман показывает, что пренебрежительное отношение советских властей к судьбе своих солдат как на фронте, так и в лагерях военнопленных усиливало политическую неудовлетворенность советским режимом и побуждало присоединяться к Власовскому движению.

Автор утверждает, что в идеологии РОД не ощущалось нацистских влияний. Программные заявления РОД подтверждают это мнение. К тому же русским было бы невозможно принять идеологию, олицетворяемую нацистской расовой теорией. Гофман указывает на то, что советская печать постоянно уходит от точного изложения истории РОД, никогда не приводя полностью текстов его политических

программ и заявлений. Наоборот, она дает нарочито неверные и капризные данные о намерениях Власова, тем самым подтверждая, что программа РОД была потенциально опасной угрозой советскому режиму во время войны. Автор высказывает предположение, что резко отрицательная реакция на Власова в советской прессе в 1943 году доказывала, что даже после Сталинградского сражения настроение в армии в отношении к советскому режиму не было благонадежным. Воспоминания советских военных и количество дезертиров даже во время последних месяцев войны свидетельствовали о силе притяжения власовской идеи. Исследуя Пражское восстание, когда Первая дивизия воевала вместе с чешскими националистами против немецких войск, среди которых находились части СС, автор приходит к заключению, что именно давление международной политики, а не военная немошь заставило власовцев отступить.

Анализ заново проверенных источников значительно расширяет наши знания об еще недостаточно исследованном последнем периоде действий РОД. По мнению Гофмана, реакция советских властей на движение показывает, что они отдавали себе отчет в той опасности, которую несла в себе эта оппозиция для советского режима. Как видим, автор значительно отличается от других западных историков пониманием того, что нельзя изучать РОА или РОД без учета характера советской действительности.

Западные военные историки склонны рассматривать феномен Власова как незначительный эпизод в советско-нацистском конфликте и не хотят понять, что советские граждане, примкнувшие к немцам, воевали на их стороне не потому, что они сочувствовали нацизму, а потому, что Германия была единственной силой, которая боролась против Сталина. Концепция "кто не с нами, тот против нас" очень усложняет понимание точки зрения власовцев.

Следует горячо приветствовать новый труд немецкого ученого и пожелать, чтобы эта ценная книга, необходимая для изучения антисталинской оппозиции во время Второй мировой войны, была переведена на русский и на английский языки.

Екатерина Андреева

Catherine Andreyev. Vlasov and the Russian Liberation Movement Soviet Realities and Emigre Theories. Cambridge University Press, 1987.

Jane Burbank. Intelligentsia and Revolution — Russian Views of Bolshevism 1917-1922. Oxford University Press, 1986.

А. П. Столыпин. "На службе России — Очерки по истории НТС". Франкфурт, "Посев", 1986.

О Русском освободительном движении, о его армии (РОА) и ее командире А. А. Власове писалось довольно, споров и полемических выпадов тоже было много (много их было и на страницах "Нового Журнала"). Сегодня же, более сорока лет спустя, пора подойти спокойнее и беспристрастнее к этому интересному и немаловажному эпизоду Второй мировой войны.

Беспристрастный и гуманный тон — главное достоинство книги Е.Н. Андреевой — молодого историка, преподающего в Оксфордском университете, дочери покойного профессора Н.Е. Андреева, который сам был свидетелем последнего эпизода РОА в Праге. Пользуясь всеми доступными печатными и неопубликованными материалами (по известной причине, советские архивы ей были недоступны), дополнив их интервью со многими участниками, Е.Н. Андреева дает наиболее полное и объективное изложение надежд, идей, планов, действий и событий периода русского сотрудничества с немцами и сопротивления сталинскому режиму в годы войны. Зарубежному читателю основные факты хорошо известны. Многие детали еще не выяснены и останутся невыясненными, пока не откроются советские архивы; но это не меняет уже в основном известной картины.

Теперь исчерпывающе установлены и документированы отношения между Русским освободительным движением и РОА, с одной стороны, и немецкими и нацистскими военными и правительственными властями, — с другой. Я намеренно пишу "немецкие" и "нацистские" власти: из книги Андреевой ясно, что немецкие военные круги думали не только использовать недовольство и сопротивление сталинскому режиму для успешного (с их точки зрения, конечно) ведения военных операций, но и предполагали, что, сбросив советский режим, Россия станет фактором безопасности и экономической выгоды для Германии как во время, так и после войны с Англией и США. Однако, как свидетельствуют приведенные Андреевой факты, сам Гитлер запретил проведение такой поли-

тики по чисто идеологическим (т.е. расовым) соображениям: всякое сближение с организованными русскими политическими или военными кругами было запрещено. Только в единичных случаях, и то лишь кратковременно, местным немецким военным властям удавалось воспользоваться антисталинскими настроениями в народе и среди военнопленных. Как известно, только в самые последние месяцы войны немцы дали возможность Власову организовать три дивизии. Но к этому времени это уже было бессмысленным жестом. До этого все попытки вооружить и создать боеспособную силу из русских военнопленных были обречены на неудачу из-за отказа Власова начать формирование русских частей, не заручившись обещанием немцев о соблюдении русских национальных интересов.

Е. Н. Андреева — несмотря на все свои симпатии к трагической судьбе не только самого Власова и его приверженцев, но и русских военнопленных и населения оккупированных областей — хорошо понимает и ясно излагает основную политическую антиномию Русского освободительного движения: лозунг "ни Сталин, ни Гитлер" в условиях Второй мировой войны не имел реального содержания, не предоставлял никакой серьезной практической альтернативы. Все конкретные политические заявления Русского освободительного движения и Власова на поверку оказались наивными, половинчатыми и противоречивыми. И это не только в вопросах международной политики (полное непонимание, из-за незнания, сути военного конфликта между нацистской Германией и западными державами), но и в вопросах внутреннего устройства постсталинской России. Единственной эмигрантской группой, которая, казалось бы, была в состоянии помочь разобраться в обстановке и выработать идеологически и политически жизнеспособную программу, был Народный трудовой союз (НТС). Но, как это хорошо показывают воспоминания А. П. Столыпина, НТС предлагал лишь продуманную смесь авторитарных и корпоративных антикапиталистических теорий, которые недостаточно конкретно учитывали сложную политическую и социальную обстановку того времени.

Ненависть к Сталину как олицетворению советского большевизма — недостаточная почва для построения политических планов и программ. По справедливости, нельзя ставить в вину Власову и его соратникам этот их коренной политический просчет. Во-первых, они формировались в полной изоляции не только от внешнего мира, но и без надлежащего знания истории русской общественной мысли. Их трагедия

заклучалась еще и в том, что в зарубежной русской публицистике они не нашли ни тех мыслителей, ни тех идей, которые могли бы им дать конкретные наставления или направить на путь творческого политического размышления и анализа.

Частичное объяснение такого положения вещей дает монография Дж. Бэрбанк. В своем солидно документированном труде автор подробно излагает "идеологические реакции" на события и большевистскую политику в первые пять лет существования советской власти — т.е. захват власти, военный коммунизм и гражданскую войну, введение НЭПа. Книга охватывает весь спектр политических настроений эмиграции: левый (Ю. Мартов) и правый (А. Потресов, П. Аксельрод, Ст. Иванович), меньшевизм, партия СР (В. Чернов, М. Вишняк), анархизм (П. Кропоткин), либерализм (П. Милюков, П. Струве), философско-религиозный идеализм (Н. Бердяев), евразийство (Н. С. Трубецкой), сменовеховство (Н. Устрялов) и монархизм (Ф. Винберг, С. Ольденбург). Поражает хилость — если не говорить о фактическом ее отсутствии — монархической мысли (что не исключает, конечно, симпатии или пиетета по отношению к царской семье и ее трагической судьбе). И это знаменательно не только для исторической судьбы царской России, но и как показатель важного "пробела" в русской консервативной политической мысли до революции.

Но интересно другое. Революция — в смысле свержения старого режима — никем не отвергалась, все ее приветствовали как неизбежную и желанную развязку кризиса; правда, некоторые (например, П. Струве) сознавали, что высокая цена гражданской войны ставит под вопрос моральное оправдание революции.

Приятие революции имело своим следствием некоторую двойственность в суждениях, касающихся советского режима. Само собой разумеется, что разрушение ценностей и жестокость террора делали этот режим абсолютно неприемлемым. Но, с другой стороны, его "идеалы" и многие из его целей вызывали двойственную реакцию даже в "либеральном" и "идеалистическом" лагере. Эта двойственность приводила социалистов всех толков к политическому параличу; к тому же, впрочем, результату приводил и великодержавный национализм некоторых правых либералов, евразийцев, не говоря о сменовеховцах.

Но более глубокая, на мой взгляд, причина идейной несостоятельности эмигрантской оппозиции большевизму коренилась в другом. В книге Бэрбанк обстоятельно излагается содержание основных идеологи-

ческих выступлений и публикаций эмиграции, ярко документируя неразвитость русской политической философии и ее словаря. Это, в свою очередь, объясняется недостаточным структурированием дореволюционного русского общества. В материалах, приведенных Бэрбанк, пишется и говорится только о "власти" (или государстве) и о "народе" (или интеллигенции). Не упоминаются ни правительственные учреждения, ни общественные структуры, вроде союзов, обществ, корпораций, профессиональных объединений и т.д. "Народ" (или интеллигенция) — собирательные понятия, которые приобретают в мышлении и писаниях эмиграции характер абстракций, лишенных конкретного эмпирического содержания. Эмигрантские публицисты были не в состоянии сформулировать конкретные программы, которые могли бы привлечь на свою сторону разные слои или группы населения на почве защиты их специфических интересов.

События XX века доказали, что политические идеологии и теоретические принципы оказываются действенными только тогда, когда они способствуют формулировке конкретной программы в пользу (чаемую или действительную) определенных групп и опираясь на определенные общественные структуры. В умении сочетать идеи и интересы политической важной части общества и ее учреждений — сила всех демагогических и "популистских" политических течений или систем.

Эту истину русская эмиграция 20-х (и последующих) годов не постигла (в чем, может быть, ее моральное превосходство). Поэтому политические усилия русской эмиграции — в отличие от ее культурной деятельности и философского вклада — были обречены на стерильность. Не печальный ли парадокс, что идейно Власовское движение оказалось невинной жертвой неспособности эмиграции творчески осмыслить революцию, гражданскую войну и советский режим?

Марк Раев

George Leggett. The Cheka: Lenin's Political Police. Oxford, Clarendon Press, 1986.

Написать подробную историю Чека — своего рода научный подвиг. Понятно, что важнейшие документы этой организации никогда не были доступны. Исследователь вынужден иметь дело с ограниченностью ис-

точников. Впрочем, это не количественная ограниченность. В книге Джорджа Леггетта читатель найдет библиографию — список, превышающий три сотни названий. Это мемуары беглых чекистов и тех заключенных, которым повезло вырваться из объятий спрута. Это — газетные сообщения и писания самих доблестных чекистов, применяющих все доступные им уловки демонической хитрости для оправдания идеологического антигуманизма, массового садизма и сатанинского вероисповедания — трех китов, на которых создана была эта организация. Сориентироваться во всей этой литературе, критически оценить ее, отделить суть от шелухи, выстроить факты в исторической последовательности и в тематические структуры, найти причины и следствия — в этом состоит задача историка.

Труд Джорджа Леггетта фундаментальный. До него еще никто не написал такой подробной, документированной, аргументированной истории Чека. Несколько ранее в Филадельфии была напечатана книга профессора Герсона "Тайная полиция в ленинской России". Она охватывала большой исторический период и носила обзорный характер. Книга Леггетта, прослеживающая шаг за шагом "деятельность" славных органов на протяжении первых четырех лет их существования — от времени возникновения в декабре 1917 и до февраля 1922 года — является более детализированным исследованием.

Выше я упомянул о библиографии, которая представляет собой лишь небольшую часть обширного научного аппарата: хронологических таблиц, подробных комментариев, именного и предметного указателей, биографических материалов. Словом, это без всяких скидок серьезное научное исследование, причем в некоторых отношениях первое в своем роде.

Метод этого исследования вполне обычный для современных исторических сочинений: автор стремится избежать моральных и иных оценочных суждений и документировать любое из своих утверждений. Для меня лично ценность этого исторического метода сомнительна, ибо объект наблюдения не может быть начисто, стерильно отделен от наблюдателя. Однако, эта игра в максимальную безличность наблюдателя-историка является широко распространенной современной модой, и только время излечит от приверженности к ней. Человечество накопило немало более ценных историко-философских концепций, чем те, которыми может снабдить историков позитивизм во всех его многочисленных видах и подвидах.

Именно в силу этого метода, примененного Джорджем Леггеттом, вначале мне было трудно читать в его книгу. Его бесстрастное, не принимающее предпочтений, безоценочное, безличное повествование вызывает порой ту улыбку, которая возникает, когда мы должны как-то реагировать на черный юмор. В самом деле, каково было бы читать скрупулезное, суперобъективное исследование о людоеде-садисте, готовящем себе завтрак, скажем, из детских пупков. Неточность этого сравнения состоит в том, что подобное зверство следует умножить в миллионы раз, но человеческое воображение имеет пределы, и арифметика мало помогает в расширении его границ.

Однако, когда от глав, полных сведений о внутренних административных преобразованиях и усовершенствованиях, переходишь к таким главам, как "Допрос и разбирательство", "Казнь", "Пытки", бесстрастный тон повествования может оказаться вполне уместным фоном, ибо вопиют факты. "Официально методы физического давления, — пишет Леггетт, — были запрещены советским правительством в октябре 1918 года. Президиум ВЦИК даже запретил издание "Еженедельного бюллетеня ВЧК", поскольку в нем сообщалось, что провинциальные Чeka защищают пытку для добывания таким путем информации у заключенных. Этот метод в принципе оправдывался в передовой статье, напечатанной в этом чекистском "Бюллетене". Далее следует одна из тех фраз, которая заставила меня горько усмехнуться: "Очевидно, в штабе Чeka существовала *школа мысли*, которая принимала пытку как необходимое средство". Ничего не скажешь — действительно *школа мысли*! Разрядка, разумеется, моя. Автор, кажется, не чувствует того черного юмора, который против его воли следует из "безупречно академического" умозаключения. Скажем так: среди канибалов гулагских островов существовали три школы мысли. Одни мыслители предлагали сначала снять с пленника кожу, а потом его сварить. Другие, более гуманные, предлагали сначала варить живьем, а потом снимать кожу. Третьи же, принадлежащие к неритуальной школе мысли, настаивали на поедании невареных людей вместе с кожей.

Но все подобного рода вкрапления наукообразности в целом не уменьшают важности этой книги, в том числе ее гуманистической ценности. Вот передо мной страница о пытках — одна из самых потрясающих. Некоторые местные Чeka, пишет Леггетт, славились особыми видами пыток, на которых они специализировались. Так, харьковская "школа мысли" предпочитала снимать скальпы. В Воронеже

чекисты запихивали голого человека в бочку, которая изнутри была утыкана острыми гвоздями, затем бочку с жертвой долго катали. Здесь же, в Воронеже, были чекисты, специализировавшиеся на вырезании пятиконечной звезды на лбу заключенного. Священникам "возлагали" на голову венцы из колючей проволоки. Кременчугская Чека закапывала крестьян живьем в землю. В Екатеринославе чекисты любили распинать заключенных и побивать камнями. Одесская "школа мысли" сжигала захваченных офицеров на медленном огне. Эта "школа мысли" практиковала и другой садистический метод: окунала человека в чан с кипящей водой, затем в ледяную соленую воду и потом опять в кипятки. В Армавире специализировались на "венке смерти". Каким-то приспособлением охватывали голову жертвы и постепенно сжимали, пока не лопался череп. В Орле чекисты играли "в снегурочку": выгоняли голого человека на мороз и поливали его водой, пока он не превращался в ледяную статую. В Киеве изобрели новую пытку: запихивали подследственного в гроб с разложившимся трупом, и гроб закрывали крышкой. Там же в Киеве резвились чекисты-китайцы: ловили крысу, сажали в трубу, один конец трубы закрывали, другой конец приставляли к животу жертвы. Трубу нагревали, и обезумевшая от жара крыса вгрызалась в живот заключенного. Негр, по фамилии Джонсон, служивший палачом в одесской Чеке, принадлежал к другой "школе мысли": он получал удовольствие, снимая кожу с живого человека. Там же "работала" некая Вера Гребенюкова, известная одесситам под именем Доры. Дочь полковника, красавица, она придерживалась другой "школы мысли". Она любила стрелять. За два с половиной месяца в одесском Чека она собственноручно пристрелила семьсот мужчин.

Вот она, самая суть истории Чека. Но немаловажны и другие ее аспекты. Ведь история Чека и история несчастной страны переплетаются. Книга Леггетта показывает, что Чека имела несколько источников своего происхождения, но дух этой организации был един. Вдохнул этот дух в Чека ее истинный создатель и вдохновитель, Владимир Ильич Ленин. Автор книги едва ли не с избыточной обстоятельностью, с документами в руках показывает, что Чека действовала не только с ведома, но и по прямому наущению Ильича. "Пока мы не применим террор к спекулянтам — расстреливая их на месте — мы не сдвинемся с места", — писал Ленин (обратный перевод с английского). Вот еще один блестящий образец ленинской мысли, дается тоже в переводе с английского: "Надо расстреливать на месте каждого десятого человека,

повинного в нерасторопности". В беседе с Лениным нарком юстиции Штейнберг сказал: "Зачем мы затеяли всю эту возню с комиссариатом юстиции? Давайте назовем его правдиво: комиссариат уничтожения". Лицо Ленина просветлело, и он ответил: "Хорошо сказано... это именно то, что нам надо, но говорить этого вслух не следует".

Сначала я открыл эту книгу со специфической целью — найти информацию о Таганцевском заговоре, одним из участников которого, по официальной версии, был Николай Гумилев. Действительно, я нашел в этой книге короткую главу о Таганцевском деле.

Кажется ничего существенного с исторической точки зрения в книге Леггетта не опущено. В этом смысле она универсальна как справочное пособие, будучи ограниченной лишь заданными хронологическими рамками. Обширность информации в этой книге поразительна. Однако, качество ее отбора вызывает некоторые возражения. Об этом качестве в иных случаях я не берусь судить, но вот в главе о Таганцевском деле, где мне виден источник каждого из фактов, которыми оперирует Леггетт, мне становится понятным и кое-что между строк. Мы смотрим на автора как на эксперта в своей области, и обычный читатель не настолько компетентен, чтобы судить о пределах авторской эрудиции. Но если этот же читатель встречает в книге некую тему, которую он знает детальнее, чем автор, то в этом случае он может сделать более правильные выводы о методе всей книги в целом.

Итак, читая маленькую главу о Таганцевском деле, я вижу, что Леггетт при всей своей критичности часто излишне доверяет советским официальным источникам. Говоря конкретно о Таганцевском деле, я вижу, что Джордж Леггетт слишком прямолинейно принял официальную версию всей этой истории. Прежде всего, историкам еще предстоит доказать, существовал ли заговор на самом деле. В соответствии с версией Леггетта, Петербургская боевая организация возникла в 1919 году и возглавлялась профессором географии Владимиром Таганцевым, полковником В. Г. Шведовым и Юрием Германом. Боевая организация (ПБО) готовила вооруженное восстание в Петрограде. Политически она охватывала широкий идеологический спектр — от левых эсеров до парижских эмигрантов-кадетов. Имелись связи с генералом Врангелем. Через Финляндию ПБО налаживала контакты с британской, французской и американской разведками. Имелась также связь с организацией Савинкова. Деньги ПБО получала из кадетских кругов эмиграции. Всю эту информацию о ПБО, которая насчитывала 200 уча-

стников, в том числе Гумилева, Джордж Леггетт подытоживает следующей примечательной фразой: "Такова, во всяком случае, была советская версия об этом заговоре". Эта советская версия почерпнута исследователем из официального сообщения Чека, опубликованного в Петрограде 1 сентября 1921 года через неделю после расстрела Гумилева и шестидесяти других участников заговора. Но если со всей хладнокровной объективностью вчитаться в это большое сообщение Чека, то поражает огромное количество натяжек. Читая в свое время это сообщение, я хорошо понял, что либо Чека не имела времени более тщательно отредактировать сообщение о разгроме ПБО, которое надо было по ряду причин срочно опубликовать в Петрограде, либо, чувствуя свою безответственность, не пожелала сгладить даже вопиющие противоречия.

В любом случае этот документ об убийстве 61 петроградца требует *исключительно* критического прочтения и анализа. Леггетт в своей книге просто берет на веру существование заговора в тех масштабах, которые ему приписала Чека. Ему даже не приходит в голову вопрос: "А был ли мальчик-то"? А не состряпан ли заговор, во всяком случае в том виде, как он был представлен в советской печати самими чекистами?

Впрочем, отсутствие подобного критического подхода в книге следовало бы ожидать. Джордж Леггетт, как и всякий высококвалифицированный историк, считает своей заслугой документированность, а это значит, что каждое свое слово он готов защитить соответствующими *словами на кем-то исписанной бумаге*. Против этого метода нельзя ничего иметь, если речь идет о нормальной истории — скажем, об истории русской лесоторговли. Но мы говорим об истории Чека, и, следовательно, речь идет не о рубке леса, а о рубке человеческих голов; и в этом случае Чека всегда делала все возможное, чтобы упрятать концы в воду. Надо быть гораздо более смелым и независимым в своих суждениях, чтобы не попасться на приманку чекистских фальсификаций. Это та сфера, где главный козырь историка — документ как главная предпосылка — парадоксально оборачивается против самого исследователя. Сама тема истории Чека диктует исследователю применение каких-то иных методов поисков, критики и умозаключений. Джордж Леггетт, оставаясь на традиционном пути, сделал, пожалуй, все, что в данном случае можно было сделать. Но этот традиционный путь сам по себе означает недостаток критичности, когда ученый имеет дело с такой специфической темой, как история Чека.

Что же касается Таганцевского заговора, то сообщения о нем полны противоречий. Почти на каждое документированное сведение можно найти два других документированных сведения, противоречащих первому. Неизвестно даже, был ли Гумилев расстрелян 24 августа, как говорит большинство историков, или был расстрелян позднее. И был ли он расстрелян? Есть сведения, что он был забит насмерть прикладами. Был ли он расстрелян в подвале на Гороховой улице 2 или на охтинском полигоне? Был ли он убит непосредственно чекистами или рабочими Ириновской железной дороги, которые подрабатывали на полигоне в должности палачей — за спирт и за одежду убитой ими жертвы. Кто вел следствие — чекист Агранов или чекист Якобсон, или тот и другой? Действительно ли Горький просил Ленина о помиловании Гумилева или это слух, распушенный о "добренском" отце социалистического реализма? Наконец, действительно ли профессор Таганцев, милый и добрый человек, известный среди знакомых как "Володя-болтушка", человек порядочный, но слабый мог стать во главе Петербургской боевой организации рядом с профессиональным военным, георгиевским кавалером, человеком железной закалки Юрием Германом? Множество вопросов, относящихся к этой теме, до сих пор остаются без ответа. Ответов нет и в книге Леггетта. Хуже то, что этот серьезный ученый думает, что он дает ответы, излагая чьи-то мнения. Справедливее было бы выстроить противоречивость этих мнений, весь спектр их, что, конечно, трудно сделать в книге обзорного характера, написанной, тем не менее, со всей научной строгостью, на которую автор был способен.

Вадим Крейд

*О НЕУДАЧНОМ ИЗДАНИИ СТИХОТВОРЕНИЙ
ГЕОРГИЯ ИВАНОВА*

Читаю "Стихотворения" Георгия Иванова, изданные "ИМКА-Пресс" в 1987 году. Составитель и автор предисловия к этой книге — Ю. М. Кублановский. Итак, читаю и дивлюсь, а более недоумеваю. Первый раздел: стихи 1914-1922 годов. Редактор-составитель вообще не указывает, из какого сборника Георгия Иванова взято для этого нового издания то или иное стихотворение. Возможно, это и не грех — не ссылаться же в популярном издании на источники! Но книга открывается стихотворениями, взятыми из "Горницы" — теми из них, которые были написаны до 1914 года. Словом, с самого начала читатель введен в заблуждение.

Во второй раздел сборника вошли стихи 1930-1958 годов. Сама эта периодизация несостоятельна. Где же стихи, написанные Ивановым между 1922 и 1930 годами? На каком логическом основании весь долгий опыт эмигрантской жизни поэта объединен в одно нерасчленимое хронологическое целое? Ведь довоенные стихи Иванова и писавшиеся им после войны столь же различны, как различны его книги "Вереск" (1916) и "Розы" (1931).

Читаю второй раздел по порядку. Стихотворение "Глядя на огонь или дремля..." Но ведь оно было написано в январе 1927 года. О датировке позаботился сам поэт, проставив под ним дату при публикации в журнале "Новый дом". Как же можно включать это стихотворение в раздел "1930-1958"? Далее в сборник включено стихотворение "Не было измены" — и опять путаница. Впервые оно было напечатано в "Современных записках", N 31 за 1927 год. Стихотворение "Балтийское море дымилось" также написано задолго до 1930 года. Им заканчивается глава о Л. Каннегиссере в "Петербургских зимах", первым изданием вышедших в 1928 году. "Черная кровь из открытых жил" также не вмещается в предложенные редактором хронологические рамки. Оно написано не в 1930 году и отнюдь не позднее. Впервые оно напечатано в журнале "Звено", N 6 за 1928 год. Кроме того, журнальная публикация отличается от варианта в "Розах". Стихотворение "В тринадцатом году..." дано тоже с неверной датировкой. Впервые оно было опубликовано, увы, не в 1930, а в 1926 году. 16 мая, если уж пожелать педантичной точности. Затем следует еще более существенный

хронологический ляп. "Так тихо гаснул этот день" написано не в 1930 году, а за восемь лет до того. Напечатано оно было в альманахе "Цеха поэтов" (выпуск четвертый). Стихотворение "Как лед наше бедное счастье растает" также не может быть включено в раздел "1930-1958", поскольку появилось оно впервые в журнале "Благонамеренный" в феврале 1926 года, а написано, самое позднее, в 1925 году.

Далее следует "Январский день" — особенно хорошо известное стихотворение, перепечатанное в самых разных изданиях. Георгий Иванов собственноручно пометил его 1922-ым годом, и с этой датой оно появилось в печати в 1923 году. Вариант, включенный Кублановским, отнюдь не тот, который Георгий Иванов считал окончательным. В более поздней публикации поэт опустил две последние строки:

Но Всеволода Князева они
Не вспомнят в дорогой ему тени.

Речь шла, в частности, об Ахматовой. И сокращение Георгия Иванова оказалось providentialным, ибо Ахматова вспомнила о Князеве в своей "Поэме без героя".

Ирония всей этой хронологической сумятицы подчеркивается еще и тем обстоятельством, что на каждом развороте этого раздела крупным шрифтом напечатано: "1930-1958" да еще подчеркнуто. Следующим в этот раздел включено стихотворение "Синеватое облако", одно из лучших в "Розах", хотя и целиком вышедшее из Иннокентия Анненского. Мы не знаем, когда оно было написано; появилось же оно впервые в "Современных записках" в 1927 году. Все эти даты нам важны и сами по себе, и в связи с предисловием Ю. М. Кублановского, где утверждается, что "вся вторая половина 20-ых годов для Иванова — период молчания". Откуда вообще берутся подобные выводы? Ведь в этот "период молчания" написана по меньшей мере половина "Роз". Готов поспорить с Кублановским, что можно заполнить одним только перечнем всего написанного Ивановым в этот "период молчания" целую журнальную страницу. Мне конкретно известно не менее 25 стихотворений поэта — одно лучше другого — из числа опубликованных им в периодике с 1926 по 1929 годы. О прозе и говорить не приходится: десятки мемуарных очерков, статьи, участие в книге о Каннегиссере, том воспоминаний, роман "Третий Рим" и др.

Открываю третий раздел, озаглавленный "Из стихов, не вошедших

в прижизненные сборники Г. Иванова". Первым идет "Это только бессмысленный рай". Под ним в квадратных скобках: "20-е гг.?" К чему эти спиритические гадания? Не проще ли пролистать эмигрантские журналы? И времени не надо много, ибо досконально известно, в каких журналах печатал свои стихи Георгий Иванов. Данное же стихотворение было опубликовано в "Современных записках" в 1930 году и написано либо в том же году, либо, действительно, в 20-ые годы, но спиритический метод в литературоведении себя не оправдывает, и поэтому гадать мы не будем.

Стихотворение "Упал крестоносец" таким же манером, но уже без вопросительного знака, датируется сороковыми годами. Стихотворение это перепечатано, как и все другие в этой книге, из сборника, вышедшего под редакцией В. Сечкарева и М. Дальтон. Если бы составитель потратил минуту и заглянул на стр. 345, он увидел бы, что профессор Сечкарев взял это стихотворение для своего издания из альманаха "Круг", вышедшего в 1936 году. Как я узнал, что при подготовке книги редактор Кублановский не пользовался первыми изданиями книг Иванова, но лишь их переизданиями, составившими книгу под ред. В. Сечкарева и М. Дальтон? Догадался я об этом на основе многих признаков. Например, в книге Сечкарева имеются опечатки, и эти опечатки добросовестно перенесены Кублановским в его издание. Например, опечатка в дате под стихотворением "Видишь мост".

Стихотворение "Россия тридцать лет живет в тюрьме" датируется составителем сороковыми годами. Сосчитать нетрудно: 1917 год плюс тридцать лет. Но не лучше ли знать первую публикацию: напечатано оно было в "Возрождении", N 5, 1949. Стихотворение "Несколько поэтов" датировано тем же методом догадок. Варианты всех стихотворений полностью в этом сборнике игнорированы. Я предвижу возражения: издание популярное, вариантам же место в академическом издании. В общем, это так. Но в таком случае издание, о котором идет речь, вообще ничем не оправдано. Ведь сравнительно недавно вышла книга "Избранных стихов" Георгия Иванова — вполне популярное издание и, кажется, по сей день нераскупленное. Между тем имеется очень примечательный вариант этого стихотворения ("Несколько поэтов"), сообщенный К. Померанцевым и опубликованный в "Русской мысли" 20 мая 1976 года:

Широка на Соловки дорога.
Но царю и Богу изменивший
Не достоин ни царя, ни Бога.

Далее в книге, вышедшей под редакцией Кублановского, следуют "Стансы". К ним Георгий Иванов сделал примечание: "Первое стихотворение написано незадолго до смерти Сталина, второе — после его смерти". В издании Кублановского это примечание почему-то опущено. Откуда составителем взята столь уверенно проставленная им дата под "Стансами" — 1953 ? Не важнее ли для читателя "хронологическое" примечание самого Иванова? Затем стихотворение "Деревья, автомобили". В квадратных скобках под ним стоит дата — 1954 со знаком вопроса. Зачем нужен этот знак вопроса и "академические" квадратные скобки, когда сам Иванов при публикации стихотворения указал с определенностью, что оно вошло в цикл "Дневник (1954)". Стихотворение "Жизнь продолжается рассудку вопреки" таким же образом датируется 1955 годом, поставленным в гадательные квадратные скобки. Невольно возникает впечатление, что дата в скобках принадлежит редактору, т.е. некоторым образом это его открытие. Но и это стихотворение датировано самим Ивановым: достаточно открыть на стр. 101 "Новый Журнал", N 42.

Под стихотворением "И сорок лет спустя мы спорим" поставлена дата с вопросительным знаком: 1956. Но "арифметический" метод подвел редактора. Имеется другой вариант этого стихотворения, начинающийся строкой: "И тридцать лет спустя мы спорим". Стихотворение "За столько лет такого маяня" смело, без квадратных скобок датируется 1958 годом. На каком основании — никто не знает, кроме составителя. Но ведь довольно хорошо известен вариант этого же стихотворения, начинающегося строкой "За тридцать лет такого маяня"; следуя арифметическому методу, надо к дате эмиграции (1922) прибавить тридцать лет, и мы получим не пятьдесят восьмой, а пятьдесят второй год. Чтобы проследить более точно историю этого стихотворения, нужно было свериться с "Гранями", N 46 и с "Новым Журналом", N 63. Стихотворение "Теперь бы чуточку беспечности" датируется 1958 годом в неуверенных квадратных скобках. В данном случае — совершенно правильно. Но зачем нужны эти квадратные догадки, если, открыв журнал "Возрождение" за май 1959 года, мы видим это сти-

хотворение, датированное не просто 1958 годом, но даже точнее — августом 1958 года. А это значит, что оно было написано за несколько дней до смерти Георгия Иванова.

Стихотворение "Я не хочу быть куклой восковой" датируется без всяких скобок 1958 годом. Возможно, редактор прав, но его источники для нас в высшей степени загадочны, ибо дата эта осталась неизвестной научному редактору "Собрания стихотворений" Иванова (1975 г.) профессору Сечкареву; неизвестной осталась она и Ирине Агуши, написавшей первую докторскую диссертацию об Иванове. Это стихотворение Агуши получила, очевидно, от Ирины Одоевцевой. В. М. Сечкарев узнал о нем от Агуши, на которую он и ссылается в своей книге. Кублановский же заимствует это стихотворение из книги Сечкарева и датирует его на основании данных, никому не известных. Может быть, его датировка и правильная, ибо Кублановский сам — отличный поэт, замечательно глубоко чувствующий стихи других поэтов. Но спиритический метод датировки все рано никого не может устроить.

Столь же любопытна и двадцатистрочная биография Георгия Иванова в этом неудачном издании. Сообщается, например, что Иванов эмигрировал в 1921 году, тогда как дата его эмиграции (1922) хорошо известна. Говорится также, что с 1921 года поэт жил во Франции. На самом же деле он в 1922 году приехал в Германию и, прожив год в Берлине, в 1923 году переехал в Париж. "Прижизненно на чужбине, — пишет Ю. Кублановский, — у Иванова вышло шесть стихотворных книг". Точнее же — только три: "Розы", "Отплытие на остров Цитеру", "Портрет без сходства". Тем не менее, можно насчитать и шесть, если включить вторые издания книг, написанных еще в петербургский период. Книга "Отплытие на остров Цитеру", вопреки утверждению Кублановского, называлась не совсем так, как самый первый сборник, выпущенный, кстати, не восемнадцатилетним, а семнадцатилетним Георгием Ивановым. Сборник "Стихи" (1958) вообще никогда не существовал. Есть, как правильно говорит Кублановский, "увидевший свет после смерти автора" сборник с несколько другим названием: "1943-1958. Стихи". Затем сказано, что "вышеприведенные данные" взяты из книги под редакцией В. Сечкарева и М. Дальтон. И сказано напрасно, ибо кроме опечатки в дате эмиграции, всех этих данных в книге Сечкарева нет, и автором этих данных является сам редактор-составитель.

Аналогичные неувязки находим и в предисловии, озаглавленном "Голос, обретенный от скорби". Сообщается, например, что свою

раннюю лирику Георгий Иванов ни в грош не ставил. Для чего же тогда, совсем незадолго до смерти, работая над несостоявшимся собранием сочинений, он перерабатывал (и — увы — ухудшал!) свои ранние стихотворения? Зачем же тогда так ценил свое раннее стихотворение "Горлица пела"? В одном своем письме ко мне Ирина Одоевцева свидетельствовала, что эта оценка не изменилась у Георгия Иванова и в поздние годы. Зачем же тогда в свою совершенно зрелую книгу "Отплытие на остров Цитеру" (1937) Иванов включил около двадцати стихотворений из "Вереска" и "Садов" — его лучших доэмигрантских книг. Я могу еще и еще задавать подобные вопросы. Миф о том, что Иванов не ценил свои доэмигрантские стихи, с чьей-то тяжелой руки кочует из статьи в статью и с забавным упорством повторяется многие десятилетия. Добавлю, впрочем, только еще одно "зачем-почему". Почему Ю. Кублановский не включил в составленную им книгу стихотворение "Горлица пела"? Если бы от акмеизма осталось лишь оно одно, а все остальное кануло б в Лету, то и тогда мы могли бы многое понять в природе акмеизма.

Непонятно мне и то, о каком таком "эгофутуристическом мирискустничестве" говорит Кублановский. Еще никто из историков русской культуры не пытался соединить в нечто единое Александра Бенуа и Игоря Северянина. "Революция, — далее пишет Кублановский, — как ни странно, не пробудила ивановскую музу от общеэстетической спячки". Я не уверен, понимаю ли я, что это такое — "общеэстетическая спячка", но все же смею заверить, что время с осени 1917 до осени 1922 года для Иванова было периодом интенсивнейших поисков.

В том же предисловии встречается еще одно категорическое и столь же рискованное утверждение: "Собственно, "по-детски" проста и сама философия Г. Иванова", — пишет Ю. Кублановский. К. Померанцев, знавший Иванова лично и посвятивший философии Иванова отдельную статью, напротив, приходит к выводу, что его стихи зашифрованы наподобие эзотерических трактатов. За видимой простотой Померанцев находит глубины, не уступающие самым утонченным и проникновенным мыслям философов-экзистенциалистов. Я не берусь переубеждать автора предисловия — он имеет право на свое оригинальное мнение. Но на фоне существующей о Георгии Иванове литературы это мнение звучит слишком уж вразрез с чем-то очевидным и устоявшимся и, мне кажется, "вопреки" стихам самого Георгия Иванова.

Вадим Крейд

Татьяна Фесенко. "Двойное зрение", "Альбатрос", Париж, 1987.

Только что прилетела ко мне под ненавязчивой голубой обложкой работы превосходного мастера С. Голлербаха книга стихотворений памятной по альманаху "Содружество" Татьяны Фесенко "Двойное зрение". Стихи эти эмоциональны, скорее, сердечны, чем умственны, и отнюдь не заумны. Женские в хорошем смысле: отчасти сходные с творчеством Лидии Алексеевой, Гизеллы Лахман, Марии Визи, Нонны Белавиной, но никогда не подражательные: даже от влияния Ахматовой Татьяна Фесенко свободна. Стихи о нежности (особенно об оставшейся где-то в былом матери), о памяти сердца. Стихи о природе, о бренности жизни, о попытках вернуться — мысленно — в прежний мир, с оттенком ностальгии, о боли и просветлении — алхимии, ведомой каждому поэту. Никакой "политики". И — на дне души — приятие этого мира, который для нее перестал быть угластым и неудобным, в котором она "констатирует наличие и высокого, и низкого — для того и даровано ей двойное зрение поэта.

С горечью вспоминает она сороковые годы — годы беженских лагерей, выдач на расправу "родине" — но это только антитеза. Показательно, что предложенные нам стихи, написанные преимущественно бесцезурным пятистопным ямбом или трехстопным анапестом, но также и дольником или вообще без выдержанного размера, почти сразу вынуждают отнести их именно к тридцатым и сороковым годам, хотя стихи не датированы. Хороши, очень хороши или почти прекрасны стихотворения на страницах 27, 34, 36, 38-41, 45, 46, 48, 49, 51-59. Очевидно усиление, повышение качества к концу книги, что свидетельствует о росте требовательности поэта к себе (конечно, если стихи расположены в хронологическом или близком к нему порядке, а не "как придется"). Думаю, что делаю верную догадку: ассонансами и шаткими созвучиями поэтесса не злоупотребляет. Напротив, дважды порадовала слух рифмой-эхом: "подсказал — зал", "стражей — ражий".

В книге есть кое-какие стилистические погрешности, но, к счастью, их очень мало: "тенты" вместо "палатки", "автострада" (дорога), "фармы" (усадыбы). Не стильно звучит: "Согреваясь талантом чужим". Русский синоним "дарованьем" в строку не уместится; так, может быть, "волненьем"? В XIX веке испанского языка русские писатели не знали, и пушкинский "Гвадалквивир" пришел к нам через Германию. В наши дни знанием испанского языка никого не удивишь и пора смело писать

”Гвадалкивир”, а лермонтовский ”Аранжуэц” сменить на ”Аранхуэс”, поскольку ни звука ”ж”, ни звука ”ц” в испанском языке не существует.

Лучше отмечу находки Татьяны Фесенко: ”Мой край родной, где корни глубоки / И край иной — свершений и тоски”; ”Пронесусь над болью и былью”; ”На планете моей земноводной”.

Умеет поэтесса дать в одной строфе целую картину. Вот, например, ее осень:

Мелкие росинки словно слезы
На засохших стебельках травы.
Сорван ветром с белых плеч березы
Плащ нарядный золотой листвы.

Или — сопоставление осени с началом старости:

Уж дань отдав весне и зною,
Я завершаю путь земной,
И древо жизни надо мною
Шумит желтеющей листвою.

В заключение приведу целиком одно из лучших (опять же, на мой вкус) стихотворений в сборнике:

Почему-то не верится мне,
Что живешь ты в далекой стране
И уже примирился давно
С тем, что встретиться нам не дано.

Примирился.

А может быть, нет?
Если в сердце оставила след
Та дорожка, которой не шли
На другой стороне земли?

Или помнится скрытая боль,
На губах черноморская соль,
Вереница студенческих дней?
И не сделало время бледней
Рыжеватую мягкую прядь...

Как узнать?

Впрочем, лучше не знать.

Валерий Перелешин

Список книг, полученных на рецензию

- В. Перелешин, *Из глубины воззвах...*, Нью Ингланд, 1987.
- В. Перелешин, *"Двое — и снова один?"*, Холиок, 1987.
- П. Палий, *В немецком плену*. Н. Ващенко, *Из жизни военнопленного*, УМСА-Пресс, Париж, 1987.
- Ф. Черон, *Немецкий плен и советское освобождение*. И. Лугин, *Пол-глотка свободы*, УМСА-Пресс, Париж, 1987.
- Л. Успенский, *На путях к единству*, УМСА-Пресс, Париж, 1987.
- Георгий Иванов, *Избранная поэзия*, УМСА-Пресс, Париж, 1987.
- С. Булгаков, *Жизнь за гробом*, УМСА-Пресс, Париж, 1987.
- Д. Штурман, *Наш новый мир*, Иерусалим, 1986.
- Г.М. Катков, *Февральская революция*, Париж, 1984.
- В. Волков, *Операция "Твердый знак"*, Лондон, 1987.
- Д. Филатьев, *Катастрофа белого движения в Сибири*, УМСА-Пресс, Париж, 1985.
- Е. Евельсон, *Судебные процессы по экономическим делам в СССР*, Лондон, 1986.
- М. Лопинский и др., *Нелегалы*, "Польская библиотека", Лондон, 1987.
- Г.М. Катков, *Дело Корнилова*, Париж, 1987.
- В.В. Леонтович, *История либерализма в России, 1762-1914*, Париж, 1980.
- Генерал Г. Квинитадзе, *Воспоминания, 1917-1921*, УМСА-Пресс, Париж, 1985.
- П. Шевченко, *Стихи*, Сидней, 1986.
- Инзель фон "Хаити", *Ада*, Вена, 1982.
- Н. Васильева, *Старая Москва*. Стихи, 1987.
- Михаил Агурский и др., *За чей счет?*. Сост. Ю. Фельштинский, "Эр-митаж", 1986.
- Д. Антонов, *Возвращение, 1988, "Чеховград"*, 1987.
- Д. Антонов, *Сегодня, "Чеховград"*, 1986.
- Д. Антонов, *Агенты, и перестройка, "Чеховград"*, 1987.
- Эдмонд Тэри, *Россия в 1914 г. Экономический обзор*, УМСА-Пресс, Париж, 1986.
- С. Булгаков, *Православие*, УМСА-Пресс, Париж 1985.
- С.Л. Франк, *Этюды о Пушкине*, УМСА-Пресс, Париж, 1986.

К гражданам Советского Союза, "Самиздат", Лондон, 1987.
 Жак Росси, *Справочник по Гулагу*, Лондон, 1987.
 М. Геллер, А. Некрич, *Утопия у власти*, Лондон, 1986.
 Л. Троицкий, *Дневники и письма*, "Эрмитаж", 1986.
 Юр Лоз, *Мозг человека и главная проблема современности*, Нью-Йорк, 1987.
 В. Андреева, *Сон тверди*. Стихи, "Гнозис Пресс", Нью-Йорк, 1986.
 Л. Чертков, *Огнепарк*, Стихи, Кёльн, 1987.

S. D. Hoch, *Serfdom and Social Control in Russia. Petrovskoye, a Village in Tambov*, University of Chicago Press, 1986.
 Jane Burbank, *Intelligentsia and Revolution. Russian View of Bolshevism, 1917-1922*, Oxford University Press, 1986.
 Tatiana Goricheva, *Talking about God is Dangerous. The Diary of a Russian Dissident*, Crossroads, N.Y., 1986.
 Stephen Fortescue, *The Communist Party and Soviet Science*, The J. Hopkins University Press, 1986.
 Leslie Holmes, *Politics in the Communist World*, Clarendon Press, Oxford, 1986.
 Bernhard Lauer, *Das lyrische Frühwerk von Fedor Sologub*, Schmitz Verlag in Giessen, 1983.
 V. Tschebotarioff Bill, Chekhov, the Silent Voice of Freedom, Philosophical Library, N.Y. 1986.
 Lynne Viola, *The Best Sons of the Fatherland*, Oxford University Press, 1987.
 Yakov Bergen, *New and Old Poets of Russia*, London, 1986.
 Ilia Papismedov, *What I Saw, Heard and Felt, Cavcasioni*, Tel Aviv, (in Georgian).
 Itzhac David, *Flovers in Winter*, 1985.
 E. Limonov, *His Buttler's Story*, Grove Press, N.Y. 1986.
 M. Kutuzov-Tolstoy, *The Story of My Life*, Blue Horns, 1986.
 Barrington Moore Jr., *Authority and Inequality under Capitalism and Socialism*, Clarendon Press, Oxford, 1987.
 G. Leggett, *Cheka, Lenin's Political Policy*, Oxford, 1987.

**В ближайшее время выходит из печати 3-й том
трилогии Р. Гуля**

«РОССИЯ В АМЕРИКЕ» Составители Ю. Кашкаров и К. Радыш.

Об эмиграции — Великий исход — На стекольной фабрике — У
мадам Пруст — Шато Нодэ — Мсье Ле Руа Дюпрэ — Сережа и
граф — Меринов-Шпейер из Тулузы — Ротмистр Рустанович —
Пайес — Париж — Мой уход из масонства — Совпатриоты и
коллаборанты — В. А. Лазаревский — С. П. Мельгунов — Виктор
Кравченко — Н. В. Вольский — Б. И. Николаевский — «Народ-
ная Правда» — Лига Борьбы за Народную Свободу — «Новый
Журнал» — Переписка через океан Георгия Иванова и Романа
Гуля — Томас Витни — Джордж Кеннан — Д. Шуб — Юлий
Марголин — Полет в Израиль — К вопросу об «автокефалии» —
С. Аллилуева — Переписка Р. Гуля и С. Аллилуевой.

заказы посылать по адресу:

**O. Radysh. P.O. Box 1843
Cathedral Station
New York, N.Y. 10025**

К О Н Т И Н Е Н Т

**Литературный, религиозный
и общественно-политический журнал**

Главный редактор журнала — Владимир Максимов.

«Континент» — ежеквартальный журнал, объемом около 400 стр

Цена отдельного номера — 12 ДМ

Стоимость годовой подписки (4 номера) — 40 ДМ (включая пересылку).

Пересылка за счет заказчика.

Требуйте бесплатно наш каталог 1987/1988

и бюллетени No.No. 20, 21, и 22.



A. Neimanis • Buchvertrieb ^{Gm}_{b H}
Bauerstr. 28 • 8000 München 40 • Germany

The NEW REVIEW (NOVY ZHURNAL) is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly in the free world. It requires the support of loyal friends:

Patron — \$1,000

Benefactor — \$ 500

Sponsor — \$ 250

Fellow — \$ 100

Friend — \$ 50

Checks may be made out to the NEW REVIEW; or to the Julia A. Whitney Foundation for the NEW REVIEW fund. Contributions to the Julia A. Whitney Foundation are tax deductible as provided under Federal law.

The NEW REVIEW
611 Broadway, Room 842
New York, New York 10012

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

Подписная цена на год 40 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 11 долларов



**ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»**

**THE NEW REVIEW, 611 BROADWAY, #842
NEW YORK, N.Y. 10012**

Телефон редакции (212) 353-1478

**Прием по делам редакции и конторы
— по понедельникам и средам
от 10-ти до 12-ти час. дня.**
